



Гениальный сыщик
приоткрывает завесу над тайнами
преступного мира

АЛЕКСАНДР КРАСНИЦКИЙ

ВОСКРЕСШАЯ ДУША

— Слово сыщика

Александр Красницкий Воскресшая душа //
ISBN: 978-5-17-108437-0
FB2: "cleed", 26.08.2018, version 1.0
UUID: dc1be913-1a1c-11e4-824d-0025905a06ea
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Иванович Красницкий

Воскресшая душа (сборник)

(Слово сыщика)

Знаменитые детективы А. И. Красницкого!

У молодой купеческой дочери таинственным образом один за другим умирают перед свадьбой шесть ее женихов. Седьмой бросает вызов судьбе, решив разгадать эту тайну.

В центре Петербурга, в собственной квартире, ночью зверски убит известный делец. Перед этим в гостях у него был таинственный незнакомец.

Приподнять таинственную завесу, раскрыть все эти преступления может только несравненный Мефодий Кобылкин – русский Шерлок Холмс, русский Мегрэ, русский Пуаро!

Содержание

#1	0007
Воскресшая душа	0008
#1	0008
I Минька Гусар	0008
II Последняя ценность	0017
III Босьяк граф	0026
IV Завидный сюрприз	0035
V Расчет и порыв	0043
VI Кровавое дело	0052
VII Кто убил?	0062
VIII На больничной койке	0071
IX Западня	0080
X В паутине	0089
XI В чаду любви	0099
XII Кошки и мышки	0108
XIII Объяснение	0116
XIV Роковой шаг	0123
XV На кобрановских огородах	0132
XVI Супружеское счастье	0142
XVII Игра с огнем	0152
XVIII Навстречу гибели	0160
XIX Под грохот поезда	0168
XX Зловещий гость	0178
XXI В когтях хищника	0186
XXII Коса и камень	0196

XXIII Переполох	0205
XXIV Зловещая встреча	0213
XXV У гроба	0221
XXVI Новый удар	0231
XXVII Решительные планы	0239
XXVIII Босяки	0248
XXIX На кладбище	0256
XXX Темный замысел	0265
XXXI Незадача	0274
XXXII Из огня да в полымя	0284
XXXIII Перед решительным ударом	0293
XXXIV Игра в открытую	0302
XXXV Удар за удар	0311
XXXVI Неожиданное разоблачение	0319
XXXVII Во власти сердца	0328
XXXVIII На краю бездны	0337
XXXIX У «дикого доктора»	0346
XL Вычеркнутый из жизни	0356
XLI Страсти накаляются	0366
XLII Подведенный итог	0377
XLIII Вместо эпилога	0388
Дочь Рагуила	0402
#1	0402
I Долгожданная свадьба	0402
II Ужасная развязка	0418
III Неожиданное предложение	0439
IV Пари	0466
V На панихиде	0479

VI Седьмой жених	0497
VII Новый Товий	0526
VIII Загадочное исчезновение	0545
IX Таинственное царство	0555
X В мире гармонии и красоты	0566
XI Раскрытая тайна	0580

Александр Красницкий

Воскресшая душа

Серия «Слово сыщика»
Выпуск 3

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Воскресшая душа

I

Минька Гусар

В грязной чайной вблизи огородов и пустырей за Обводным каналом хрипел граммофон. Его никто не слушал. Было слишком рано, только начинались сумерки морозного ноябрьского дня. Обычные посетители этой трущобы – мусорщики, поденные рабочие, босяки и вообще всякий люд неопределенных и темных профессий – еще отсутствовали. Пользуясь безлюдьем, за прилавком похрапывал буфетчик. В дальнем углу прикорнул на стуле его единственный слуга, парень крепкого сложения. Хрипенье граммофона было привычно для них и не мешало спать. Керосиновая лампа коптила и чадила, но и противный запах не будил спавших.

Однако их сон все-таки был чуток. Едва слышное бряцанье колокольчика на наружной входной двери вмиг пробудило обоих. Бу-

буфетчик уставился суровым взглядом на дверь. Слуга вскочил со стула. В этот момент внутренняя входная дверь распахнулась, в чайную ворвались с улицы клубы морозного воздуха, и в них обрисовалась человеческая фигура.

При взгляде на вошедшего суровое выражение сбежало с лица буфетчика.

Посетитель был маленького роста, подвижный старичок с мелкими чертами лица, крючковатым носом и гладко выбритым подбородком, его глаза были прикрыты очками в металлической оправе. Одет он был небогато, но чисто: в теплое пальто с барашковым воротником и такого же меха островерхую шапку. Старичок вошел в чайную с видом всегдашней, уверенной в хорошем приеме.

– Огня-то в лампе, Дмитрий, убавь! – закричал он еще с порога. – Ишь, как коптит! Эх, креста на вас нет: не бережете хозяйского добра. – Затем, обращаясь к буфетчику, добавил: – Сергею Федоровичу почет!

Буфетчик был уже около гостя и с заискивающей улыбкою лепетал:

– Евгению Николаевичу... Сколько лет,

сколько зим! Разоблачайтесь. Позвольте, помогу...

– Ничего, ничего, я сам, – запротестовал гость, впрочем, не особенно уклоняясь от любезных услуг буфетчика. – Мало привычен я к деликатностям-то... А вот насчет лет и зим, так это вы как будто того...

– Как же-с, помилуйте! – заегозил буфетчик. – Вы у нас, можно сказать, редчайший гость...

– Ну, уж и редчайший... Так, по знакомству, бываю... – Евгений Николаевич говорил и в-то же время протирал стекла своих очков. – Ты бы, Сергей Федорович, машине-то своей пасть заткнул. Беда от этих граммофонов: гудят, и слова из-за них сказать нельзя.

Это было сказано спокойно, даже шутливо, но Сергей Федорович бросился к граммофону. Евгений Николаевич между тем надел очки, достал из кармана сюртука платок, отер им лицо и направился к столику у окна.

Дойдя до столика, он сел на стоявший около него стул.

– Чайку? – подлетел к нему Дмитрий.

– Можно. Собери ка. Сергей Федорович, а,

Сергей Федорович!

Буфетчик, уже справившийся с граммофоном, очутился около гостя.

– Что прикажете, Евгений Николаевич?

– Да вот садись-ка, прежде всего. Одни мы?

– Одни с, Евгений Николаевич.

– А повар?

– Что же повар? Он – свой. Да и нет его в настоящую секунду.

– И прекрасно! Ну, что скажете хорошенького?

– Относительно чего, Евгений Николаевич?

– Ну вот, непонятливый! О чем же нам говорить то? О заказе спрашиваю...

В это время Дмитрий подлетел с подносом, на котором громыхали чайник и чашки.

– Скатерку, скатерку, Дмитрий, да почище! – засуетился Сергей Федорович. – Так вы, Евгений Николаевич, относительно заказа? Исполнено-с!

Лицо старика оживилось при этом сообщении.

– Да ну? – воскликнул он. – Нашли?

– Как же иначе? Сказано – сделано: у нас

все так.

– Где же он?

– Раненько пожаловали, Евгений Николаевич, – произнес буфетчик, усмехаясь. – Сами знаете, кто же из них в эту пору у нас бывает? Теперь все в разброде: кто где... Обождать придется.

– Ну что же, подожду. Так вы уверены, что это тот самый, который мне нужен?

– Еще бы! Уж я свое дело знаю... Все сходится, как вы указали. Да вот что: разве попытать счастья. Дмитрий! Сбегай-ка на огород Кобранова, туда сегодня народ сбивали парники рогожами покрывать, спроси Миньку Гусара. Ежели там – тащи сюда, скажи, я требую...

Схватив шапку и обернув горло какой-то тряпкой, Дмитрий выскочил за дверь.

Сергей Федорович и гость остались одни. Несколько секунд они молчали, меряя друг друга взглядами.

– Смею спросить, Евгений Николаевич, – заговорил первым буфетчик, – на что это вам так Минька Гусар зандобился? Пропащий ведь он совсем: никакого толка. Из отпетых отпетый.

– Вот его судьба теперь и выходит: хочу человека осчастливить.

– Та-ак... – протянул с заметным недоверием Сергей Федорович. – Только вряд ли что выйдет. Даром хлопотать будете... Позвольте налить чайку?

– Пожалуйста. А почему вы думаете, добрейший, что даром?..

– Докладывал я вам: человек отпетый. У него даже образа и подобия человеческого нет... Суцая грязь он – вот что. Никаких стараний не стоит.

Сергей Федорович, видимо, ожидал, что его сообщение произведет впечатление на собеседника, но тот сперва нахмурился, а потом вдруг засмеялся и воскликнул:

– Вот, добрейший, нам это самое и нужно!

– То есть что же? – не понял буфетчик.

– Да вот-то, что образа и подобия человеческого у этого вашего – ну, как его? – Миньки Гусара нет.

Тон Евгения Николаевича был игривый, Сергей Федорович хотел что-то сказать в ответ, но в это мгновение в чайную ворвался Дмитрий, крича:

– Идет! Минька Гусар идет! Нашел я его... на кобрановских огородах.

Евгений Николаевич при этом окрике вздрогнул.

– Трезвый Минька то? – спросил у Дмитрия буфетчик.

– Не-то чтоб первой трезвости, но как следует... Он, Сергей Федорович, спрашивал, какая в нем у вас надобность, я не сказал ничего. Требуют, да и все!

– Молодец! – похвалил его буфетчик и, обращаясь к гостю, сказал: – Если побеседовать думаете, так у меня, Евгений Николаевич, для этого каморочка найдется... как бы вроде отдельного кабинета.

– Прекрасно! – ответил гость. – А что, Митя, Гусар-то ваш, как по внешности? Хорош?

– Картина – да и все! – кинул Дмитрий, захохотав. – Хоть сейчас на выставку, ежели кого напугать нужно.

– Да я не про то... Как он? Очень оборван?

– Не только оборван – общипан весь!

– Ну, вот вот, я про это и спрашиваю. А что, Сергей Федорович, одежонки какой-нибудь для этого человека у вас не найдется?

– Одежонки? Так разве вы его с собой взять хотите?

– Именно взять.

– Не советую-с, хоть и не мое это дело, – проговорил буфетчик, отставляя в сторону стул. – С таким, можно сказать, субъектом в одной комнате быть противно, а не только что с собой его брать... а насчет одежонки, ежели вы, Евгений Николаевич, приказываете, похлопочу... Найдется для вас.

Евгений Николаевич раза два сердито сдвинул брови, но потом воскликнул:

– Вот и прекрасно, если найдется! Поторопитесь же, достойнейший. Знаете, это ничего, если ваш костюм не по последней моде будет, только бы мне вашего Гусара с собой вывезти... А за мной ваши хлопоты не пропадут...

– Знаю-с, – успокоил его Сергей Федорович. – Так я пойду, поищу... Да позвольте! – вдруг воскликнул он, взглядывая в полузамерзшее окно. – Вот и Гусар собственной персоной...

Действительно, двери с шумом распахнулись, и в чайную ворвался не человек, а, скорее, человеческая фигура, закутанная в нево-

образимой пестроты лохмотья. Последние были запорошены снегом, кое-где на них висели примерзшие ледяные сосульки. Голова фигуры была покрыта изорванным женским платком, подвязанным концами под подбородком. Сверху из-под платка выбивалась копна густых, черных, слипшихся и смерзшихся волос, а снизу во все стороны торчала густая, всклокоченная борода.

– Минька Гусар, полюбуйтесь, ежели не противно! – ироническим тоном провозгласил Сергей Федорович, указывая гостю на ворвавшегося босяка.

Последняя ценность

Ядовитое презрение, сквозившее в словах буфетчика, не обидело, а, наоборот, разве-селило Миньку Гусара. Он захохотал и стал выкрикивать отвратительно гнусавым голо-сом, обращаясь-то к буфетчику, – то к Дмитрию:

– Верно, любезнейший, верно! Любуйтесь, кому не противно. Вот я как есть, во всей моей неподражаемой красе. Монстр! Уника! Фу-рор! Этуаль особого рода! Перл мироздания и в-то же время последняя степень челове-ческого падения. Что, милостивый государь, как вы находите? Хорош? – вдруг обратился он к Евгению Николаевичу.

Тот не спускал с него пристального взгляда. Минька, очутившись в теплом помеще-нии, согрелся и успел развязать и сбросить платок, закутывавший его голову. Теперь можно было разглядеть его лицо. Оно было молодежливое, со следами былой красоты. Воло-сы на голове слиплись, перепутались и лежа-

ли копной, свисая редкими жесткими космами к плечам, а на щеках переходя в густую бороду. Лицо, опухшее, отекавшее, с багровым цветом кожи, резко выделялось на фоне волос. Под глазами темнели синяки, на правой щеке виднелась еще свежая царапина. Тело Миньки было завернуто в лохмотья, державшиеся на нем только потому, что он ухитрился обвязать их через плечи и вокруг туловища бечевками и мочалом. На одной ноге была стоптанная, рваная галоша, на другой лапоть.

– Хорош? – переспросил Минька, не дождавшись ответа Евгения Николаевича.

– Уж что и говорить, – картина, да и все тут, – вставил свое замечание Сергей Федорович, – свой брат Исаакий босяк и то брезгует.

– Совершенно справедливо, любезнейший, но зато в этом моя сила и гордость. Понимаете ли вы, какая гордость? Гордость падения! Ты кто? – вдруг подскочил Минька к буфетчику. – Ты – человек! А я кто? И я – человек! Но ты возвышен, а я унижен. Ты – верхняя ступень, я – подножка самой последней. Ты – красота, я – грязь, нечисть. Смотри же на меня со своей высоты и любуйся на-то, чем ты

можешь быть внизу. Но я выше тебя. Я совершенен в своем падении, а ты?..

– Поехал! Не раз мы эти твои представления видели. Надоело. Вот тут тебя по делу спрашивают, – указал буфетчик на Евгения Николаевича.

Минька в одно мгновение очутился около старичка.

– Так это вы, господин хороший, меня, Миньку Гусара, из тьмы кобрановских огородов на тусклый свет сего учреждения призвали?

Евгений Николаевич утвердительно кивнул головой.

– Вы? – тон Миньки ясно выражал его искреннее удивление и недоумение. – Вы? Позвольте же на вас посмотреть? Вы тоже в своем роде единственный! Ушам не верю. Вот не ожидал-то, что моя персона, которой, как вы изволили слышать, свой брат Исаакий брезгует, кому-нибудь на этом свете понадобится!.. Интересно знать, зачем? Впрочем, это праздное любопытство. Приказывайте, весь к вашим услугам, но, конечно, не даром. Вы понимаете, в наш век презренный металл – это

все. Итак, чем я могу быть вам полезен?

– Садитесь, – указал ему на стул Евгений Николаевич. – Вот стул, прошу присесть... Мне нужно сказать вам конфиденциально несколько слов. Да что же вы? Садитесь!

Но, несмотря на это настоятельное предложение, Минька продолжал стоять, переминаясь с ноги на ногу.

– Позвольте, это недоразумение, – лепетал он, беспомощно разводя руками, – мне говорят «вы» и даже просят садиться! Что же это такое? Может быть, я сплю и вижу сон? Ущипните меня, милостивый государь! Нет, не ущипните, а дайте мне хорошенько вот по этому месту, – указал Минька на затылок, – прошу вас, не стесняйтесь, тогда я проснусь, приду в себя. Но я вижу, что вы изволите хмурить брови! Вы гневаетесь? Пардон-с. Повинуюсь и сажусь. – Он присел на краешек стула, но тотчас же развалился на нем, положив ногу на ногу. – Итак, – сказал он, – насколько я сужу по предисловию, у нас должен быть деловой разговор.

– Да, – подтвердил Евгений Николаевич, – очень серьезный. Одну минуту! Сергей Федо-

рович, похлопочи, о чем я просил!

– Это для него то? – кивнул головой на Миньку буфетчик.

– Вот, вот... Пусть и Митя там с тобой побудет... Нам тут два слова по секрету сказать нужно...

– Понимаю. Пойдем-ка, Митька, поищем.

Евгений Николаевич и Минька остались одни.

– Вы меня пугаете, милостивый государь! – заговорил босяк. – Это ваше появление, эта таинственность, переговоры с глазу на глаз... Тут что-то кроется! Может быть, какой-нибудь криминал? Так предупреждаю заранее, что я на него не пойду! Прошу помнить: я беден, но честен!

– Верю, дорогой мой! – воскликнул Евгений Николаевич. – И можете быть спокойны: дело, которое я к вам имею, ничего криминального не содержит.

– Чего же вы от меня хотите?

– Экий человек! Да ведь сказал я вам, что жажду беседы с вами. Только и всего. Ежели вы насчет костюмчика своего стесняетесь, так не беспокойтесь. Он удобен лишь для пре-

бывания во тьме кобрановских огородов, но я это предусмотрел. В настоящее время Сергей Федорович подыскивает вам что-либо более подходящее для нашего предполагаемого путешествия.

Минька молчал, только его глаза так и бегали по фигуре собеседника, не перестававшего улыбаться.

– Ничего не понимаю, – сказал он, – кому я понадобился? Зачем понадобился? Хоть убей меня, не разберу... Вы видите, что это такое? – указал он на фонарь под глазом и царапину.

– Превосходно вижу: били вас недавно.

– Ага! И как еще били то! Смертным боем! Думал, живым не уйду... И меня часто бьют, бьет всякий, кто находит в этом удовольствии... Я, знаете с, даже не противлюсь. Пусть!.. Так видите, каков я?! И говорю я это к тому, что желаю знать, чего вы от меня хотите? Чего в вашем лице люди от меня хотят? У меня нет ничего, совсем ничего такого, что может иметь какую-нибудь ценность. Нет даже человеческого достоинства... Ничего! Ничего! Скажите, зачем вы пришли за мной? Зачем разыскивали меня?

– Именно, как иголку в стоге сена...

– Зачем? Скажите, без этого я не пойду с вами... Я не боюсь никого и ничего, но хочу знать, зачем иду. Это – мое право, мой каприз. Не я к вам пришел, а вы ко мне, я могу требовать и ставить условия.

– Эге, как вы заговорили-то! – засмеялся Евгений Николаевич. – А еще хвастается: «У меня и человеческого достоинства нет!» Да разве так поступают те, у кого оно отсутствует? Ну, да все равно. Признаю ваши права. Вы ошиблись, уверяя меня, будто у вас ничего нет. Есть кое-что, добрейший, есть! Так, по нынешним временам, пожалуй, и пустячок, да вот мне этот пустячок и понадобился. Я пришел за ним, и беседа наша об этом пустячке будет, и куплю я его, ежели мы с вами сторгуемся, а если не сторгуемся, ну что поделывать? Разойдемся – вот и все... Итак, в пустячке дело!

– О чем вы говорите? – забормотал ничего не понимавший Минька. – Что есть у меня ценного?

– Что? А вот, милостивый государь мой, что, – и, перегнувшись через стол, Евгений

Николаевич глухим шепотом бросил прямо в лицо Миньке: – Ваше имя!

Сказав это, он спокойно сел, наблюдая за реакцией собеседника. Минька сидел с побледневшим лицом, беспомощно опустив руки.

– Водки бы! – жалобно прохрипел он.

– Водочки? Можно! Только уж не здесь, а там, где наша приятная беседа продолжаться будет.

– Нет, теперь, сейчас! Жжет меня! Я с ума схожу!

– Охотно верю. Так тем более надо немедленно идти со мной... Сергей Федорович! – крикнул Евгений Николаевич, подойдя к двери за прилавком, куда ушел с Дмитрием буфетчик. – Готово там у тебя?

– Все готово, как по мерке подобрал, – раздалось из-за двери. – Пусть идет.

– Слышите? – обернулся к Миньке старик. – Идете? Если идете, так идите... Чего валандаться-то в самом деле? Ну!

Теперь Евгений Николаевич говорил уже грубо.

– Да, вы правы, – поднялся со своего стула

Минька. – Я похвастал, что у меня потеряно все... Вы правы. Пожалуй, кое-что и осталось. Так все равно: пусть ничего не будет! Иду. Одевайте меня, ведите куда хотите. Пропадай последнее! Куда идти? Сюда?

– Вот и хорошо! – потирая руки, воскликнул Евгений Николаевич. – Пойдемте, сейчас мы вас преобразим, и станете вы таким красавцем, что хоть под венец...

Минька смерил его с ног до головы презрительным взглядом и молча прошел в каморку.

Несколько минут чайная оставалась пустой. Потом из каморки вышли Сергей Федорович и Дмитрий. Первый презрительно усмехался, Дмитрий казался растерянным.

– Что же это, Сергей Федорович, – бормотал он, – нас как будто прогнали?

– Слышал? Сам с сокровищем захотел вонзиться! – усмехнулся буфетчик. – Неспроста это! Козодоев не такой человек, чтобы без выгоды что-нибудь делать. Ох, неспроста! Только, Митька, помни: наше дело – сторона. Обо всем молчок! В нашем положении Евгений Николаевич – сила!

III

Босяк граф

Прошло несколько минут.

– Ну, каков? – вдруг раздался возглас Евгения Николаевича.

Козодоев прошел из каморки на середину чайной и обернулся, любуясь вышедшим за ним Минькой.

В самом деле, босяк переменялся до неузнаваемости. На нем было надето довольно чистое пальто. Копна волос подобралась и укрылась под шапкой, борода и усы были приведены в порядок. Но изменила Миньку не одежда, в нем самом произошла заметная перемена. Он глядел гордо, даже высокомерно, от прежней забитости и беспомощности не осталось и следа.

– Ай да Минька! – воскликнул Сергей Федорович. – Да тебя ли я вижу?.. Евгений Николаевич, да вы – сущий маг и волшебник!

– Не будем терять времени, – обратился старик к Миньке, – пойдём! Дай-ка, Митя, мое пальтишко... Федорыч, сосчитаемся по-

том... Я еще забегу.

– Не извольте беспокоиться, Евгений Николаевич! Ну, Минька! Не ожидал! – Сергей Федорович даже прошел вперед и сам распахнул дверь перед уходившими Козодоевым и Минькой. – И дивные же дела! – воскликнул он. – Если бы своими глазами не видел, ни за что не поверил бы!.. Ты это, повар, откуда появился?

Вопрос относился к мужику, появившемуся в чайной, пока Сергей Федорович и Дмитрий провожали Козодоева и Миньку.

– Как это откуда? – удивленно произнес он. – Из кухни! Откуда же еще?

– Да ты разве дома был? А я-то сказал, что ты отлучился.

– Где там отлучился? На печке спал. Слышь-ка, Федорыч, ведь это Козодоев сейчас был? Да? И, никак, Минька Гусар с ним?..

– И Минька был... Ты к чему речь-то ведешь?

– А к тому, что кабинет наш от моей кухни всего-навсего перегородкой отделен, так с печки я кое-что слышал. Именно дивные дела! Слышь, твой Козодоев Миньку раза два

сиятельством называл, да не в шутку, а всерьез.

– Да ну? – присел от удивления буфетчик. – Не причудилось тебе спросонья?

– Какое там спросонья! Явственно слышал. Они там заговорили, я и проснулся, притих на печке-то и все от слова до слова слышал. Козодоев ему, Миньке то: «Ваше сиятельство», – а Минька дерзит: «Вы, мол, откуда про это дело разнюхали?»

– Ну, ну! Что же ему старик-то на это?

– Засмеялся и говорит: «Моя обязанность такая, чтобы все узнавать, вот я про ваше сиятельство все и знаю. А знаю я про вас затем, что хочу малую толику детишкам на молочишко заработать». Потом больше ничего такого не говорили, и старик только переоблачаться Митьку заставлял да торопил все, а затем к вам вышли.

– Сиятельство, сиятельство, – заговорил сам с собой Сергей Федорович, – стало быть, или граф, или князь... Может, так, может, не так. Вернее всего, что так... Эх, маху я дал. Кабы знать да ведать про это «сиятельство», можно было бы к Козодоеву приснаститься...

Эх!.. Чего там! Опять, молодцы, говорю, вы про себя держите все это дело. Никому ни гу-гу! Пусть оно и с «сиятельством» до поры до времени, как в могиле, будет похоронено, а там посмотрим, что будет... Иди-ка, повар, разводи свой куб.

Между тем Козодоев со своим спутником, оставив чайную, первое время шли молча. Так они миновали всю улицу, и вышли на другую, более оживленную. Здесь, на углу, стояла карета. Евгений Николаевич направился к ней.

– Федор, ты? – крикнул он кучеру.

– Я, я, Евгений Николаевич! – раздался голос.

– Замерз, поди? Ничего, скоро отогреешься! Прошу вас, садитесь, – обратился Козодоев к Миньке и раскрыл перед ним дверцу кареты.

– Послушайте, куда вы меня увозите? – прохрипел тот.

– Опять! Экий вы, право! – тихонько засмеялся старик. – Ведь кое-что уже обговорено между нами, а потом во время переодевания вы сами дали мне слово следовать за мной... Да садитесь же!

Он легонько подтолкнул своего спутника. Минька, решившись, вошел в карету, за ним вскочил и Козодоев.

Карета тронулась.

– Я не сомневаюсь, что вы, граф Михаил Андреевич, – начал Козодоев, – удивлены всем, что происходит с вами.

– Послушайте! Молчите об этом... Я сам давно забыл, кто я и что я... Слышите? Ни слова!

– Мы одни, нас никто не слышит.

– Все равно, прежнее давно похоронено... Нет никакого графа! Понимаете, нет прошлого, нет, и я не хочу, чтобы оно было!

– Полно, как это человеку быть без прошлого? Прошлое у каждого из нас есть. Будем откровенны: я пришел не к вам и не за вами, а к вашему титулу... – то есть к вашему прошлому. Мне нужен граф Михаил Андреевич Нейгоф, а вовсе не какой-то никому в мире, даже самому себе, не интересный Минька Гусар.

– Что вам нужно от меня?

– Что мне нужно, это я скажу потом, когда мы приедем туда, куда я вас везу, а везу я вас

в свою квартиру. Пока же я вам лучше расскажу кое-что про себя самого. Ведь вы не знаете, кто я?

– Нет, но подозреваю. Вы – какой-нибудь ловец рыбы в мутной воде, если не хуже.

Козодоев расхохотался.

– Благодарю! Одолжили! Спасибо за откровенность! Ничего, я тоже не обидчив и за откровенность отплачу вам откровенностью. Вы, ваше сиятельство, почти угадали, кто я такой. Рад вашей проницательности. Что поделать? Жизнь вертит нами, как ей угодно. Не мы, как вы говорили, «перлы мироздания», – господа над нею, а она, жизнь, – владычица наша. Вот и выходит, что не так живи, как хочется... Вы это на самом себе изволили испытать. Вряд ли кто желает попасть «из князи да в грязи», а с вами как раз это самое и случилось.

– Не смейте касаться меня! – злобно закричал недавний босяк. – Еще одно слово – и я выскочу из кареты!

– Не выскочите, граф, так как я вам могу пригодиться.

– На что?

– Мало ли на что. Да прежде всего хотя бы на-то, чтобы выпить водки, которой жаждет в настоящее время все ваше существо. Не правда? Вы, кажется, вздохнули. Эх, ваше сиятельство! Вам тридцать семь лет, из них одиннадцать вы провели среди мизераблей, сиречь отверженцев, а ваша житейская опытность осталась прежней... Первое впечатление, порыв – и вы уже пылаете, пышете огнем, словно вулкан. Да как же можно не знать, на что человек человеку пригодиться может! Если не я вам, так вы мне нужны. Кабы не это, разве стал бы я с вами нянчиться! А что, выпить-то, ваше сиятельство, очень хочется? – Козодоев подтолкнул локтем своего спутника. Тот молчал. – Сейчас мы должны приехать, – посмотрел Евгений Николаевич в стекло. – Знаете что, граф? Ведь вы на свои кобрановские огороды, пожалуй, не вернетесь. Что скажете?

– А вот что! – крикнул граф и быстрым движением распахнул дверцу со своей стороны.

Однако выскочить ему не удалось. С силой, которую трудно было предположить в тщедушном, старом теле, Козодоев схватил его

одной рукой за воротник пальто, а другой обхватил туловище.

Завязалась борьба.

– Пустите, я крикну! – отбивался Нейгоф.

– Не кричишь, ваше сиятельство! Мой ты! Куда тебе уходить? Или забыл, что у меня угощение приготовлено и хмельной влаги вдоволь будет: хочешь – пей, хочешь – обливайся!

Граф босяк бессильно опустился на свое место. Козодоев воспользовался этим и хлопнул отворенную дверцу.

– Измучил ты меня, старина! – сказал он. – Шебарша ты, шебарша! Бежать хотел, когда на место приехали! – И, открыв оконце к кучеру, крикнул: – Федор! Не к подъезду, а во двор!

Экипаж сделал крутой поворот и остановился.

– Вот и приехали, – объявил Евгений Николаевич. – Милости прошу в мою убогую хижину. Выпьем, закусим, побеседуем, а там, если не пожелаете остаться, можете уходить на свои огороды. Пожалуйста, выходите!

С этими словами Козодоев взял графа за

руку и с силой дернул к себе. Граф покорно, как пленник, последовал за Евгением Николаевичем.

Как только он вышел, карета отъехала, и Нейгоф увидел, что находится на обширном дворе большого дома. Было темно, и только фонарь у крыльца, перед которым они стояли, разгонял сумрак надвигавшегося вечера.

– Сюда, сюда! – повел графа Козодоев. – Подниматься невысоко, всего на второй этаж, да если бы и на пятый шагать пришлось, все равно вы, ваше сиятельство, об этом не пожалели бы, так как у меня для вас завидный сюрприз есть. Взгляните – сразу обо всех ваших трущобах позабудете.

IV

Завидный сюрприз

Лестница, по которой поднимались Козодоев и Нейгоф, была чиста и поднималась до второго этажа. Евгений Николаевич нашел нужным объяснить своему спутнику, почему так.

– Особнячок у меня надворный, – проговорил он, останавливаясь у обитой клеенкой двери, – живу не-то в крепости, не-то в монастыре. Нельзя иначе при такой профессии, как моя, – всякие дела случаются.

Он нажал кнопку звонка.

Горничная, отворившая дверь, должно быть, давно привыкла ко всякого рода посетителям. По крайней мере, на ее лице не отразилось ни малейшего удивления при виде опухшей физиономии гостя. Она приняла от него пальто. Под ним оказался просторный пиджак, из-под которого виднелась чистая синяя блуза. На ногах Нейгофа были сапоги. Козодоев осмотрел его и, видимо, остался доволен.

– Пойдемте, граф! – умышленно громко произнес он. – Я проведу вас в кабинет. Вот сюда, следуйте за мною! Маша, посветите нам!

Коридор был длинный и темный. На другом конце виднелась дверь. К ней и повел Козодоев своего гостя.

В кабинете Евгений Николаевич усадил гостя в темный угол, потом зажег лампы и поставил их так, что свет падал на переднюю часть комнаты, оставляя остальное в полумраке. Затем он сел спиною к двери и лицом к Нейгофу. Вообще во всех его хлопотах можно было подметить приготовление к чему-то такому, что вот-вот должно произойти.

– Итак, дорогой мой гость и несомненный будущий друг, – начал он вкрадчиво, – мы здесь потолкуем с вами по душам.

Позади него раздался шорох. Нейгоф вздрогнул и отодвинулся еще дальше в темноту своего угла. Евгений Николаевич встал и повернулся. На пороге стояла женщина. Она была молода и красива. Темные, пышные волосы оттеняли нежную белизну ее лица с гармоничными чертами. Большие черные глаза

лучились, розовые губки были капризно сжаты, что придавало еще больше прелести ее милому личику. Стояла она так, что свет от ламп падал прямо на нее и подчеркивал ее красоту.

– Софья Карловна! – кинулся к ней Козодоев. – Простите! Только что намеревался явиться к вам! – и он, почтительно склонившись, поцеловал протянутую ему руку.

– Это меня нужно бранить, – с чуть заметным акцентом ответила красавица. – Я думала, что вы одни... Я помешала?

– О, нет, нет! Как вы можете говорить? Но я знаю: ведь вы ко мне по делу? Прошу вас в гостиную. Граф, простите, я оставлю вас ненадолго одного!

При слове «граф» красавица прищурила свои лучистые глаза и бросила взгляд в угол, куда забился Нейгоф. Потом она перевела взор на Козодоева.

– В гостиную, в гостиную прошу, – засуетился тот. – Не место царице красоты в убогой келье старого отшельника.

Он подал ей руку и вывел из кабинета, откуда они молча прошли в гостиную.

– Этот? – спросила Софья Карловна, и на ее лице появилось злое выражение.

– Он самый, – кивнул головой Козодоев. – Не нравится?

– Нравится, не нравится – говорить нечего, вопрос решен. Но все-таки я ожидала увидеть что-нибудь более приличное. Фи! Он противен с этими своими синяками.

– Что же ты, Соня, хочешь от босяка? Но ты молодец у меня, твое появление произвело несомненный эффект! Ты сделала-то, что нам нужно, молодец!

– И неужели это – граф? – спросила Софья Карловна.

– Самый настоящий: граф Михаил Андреевич Нейгоф, один из представителей древнейшего аристократического рода.

– Тот, который нам нужен?

– Именно тот!.. Но знаешь что, Соня, прощай! Я вернусь к нему... Не следует упускать первое впечатление.

– Я более сегодня здесь не нужна? – холодно спросила Софья Карловна.

– Не нужна. Иди к себе. Ты, деточка, сегодня вполне достойна награды... Ну, давай,

птичка, свой мраморный лобик...

Козодоев притронулся губами ко лбу молодой женщины, а затем поспешил в свой кабинет к Нейгофу.

Софья Карловна некоторое время стояла в задумчивости, потом пришла в себя и так сильно стиснула свои пальцы, что даже слышался хруст.

– Что же, – проговорила она, – пусть, пусть! А все таки ужасно... Да, впрочем, мне-то какое дело?.. Я буду в стороне.

Она встряхнулась, гордо подняла свою красивую головку и вышла из гостиной.

Когда Евгений Николаевич вошел в свой кабинет, – то его слух поразили какие-то странные звуки, доносившиеся из того темного угла, куда забился граф босяк. Последний рыдал.

– Михаил Андреевич, голубчик! – склонился над ним Козодоев. – Что с вами? Что значат эти слезы?.. Поверьте, вы видите перед собой искреннего друга... Скажите, откройтесь!

– Всколыхнулось... прошлое все всколыхнулось! – залепетал Нейгоф. – Все воскресло, что я хотел потопить в проклятом дне... За-

чем вы показали мне эту женщину?

– Да успокойтесь, это случайность! Кто вам показывал ее? Видели, сама без зова зашла!

– Случайность! А эта случайность разбередила все прошлые раны... все, все! Сколько лет я не видал порядочной женщины... И вот внезапно... так близко...

Слезы струились по опухшим щекам графа, царапины стали сочиться кровью. Он вновь был отвратителен и страшен.

Козодоев, казалось, любовался этим видом человеческого унижения. По его губам проskalъзывала насмешливая улыбка, но стоило только его странному гостю пошевелиться, как лицо его принимало сочувствующее выражение.

– Стало быть, моя хорошая знакомая и клиентка произвела на вас впечатление? – спросил он. – Стало быть, она понравилась вам?

– Что вы, что вы! Да разве я смею даже помыслить об этом?

– Вот это вы напрасно! В чайной вы что-то замысловатое про свою гордость говорили, а теперь опять принялись унижать себя. Нет, нет, поддержитесь. Вы сейчас сказали, что

прошлое воскресло, воскресните и вы сами... Стойте! Вот Маша несет нам закусочку, мы и начнем с того, что утолим голод и жажду по-человечески – за столом, застланным скатертью, с приборами, словом, в чистоте и не в обиде. Ставьте, ставьте, Маша, скорее на стол все, что у нас имеется, – приказал Козодоев вошедшей с подносом горничной. – Расставляйте и уходите, а мы тут пировать будем. Граф, вот ваше место. Покиньте свой угол и вновь вступите в среду себе подобных. А хороша Софья-то Карловна! На что уж я старик, а и-то нет-нет, да и защитит ретивое. Ну, ваше сиятельство, подходите. За ваше здоровье, чокнемся!

Нейгоф выполз из своего угла, подошел к столу и уже жадно глядел на рюмки с водкой.

Они выпили, повторили и опять выпили.

– Ну, друг мой, – заговорил Козодоев, – теперь, несколько придя в радужное настроение, будем говорить откровенно. Поверьте, я не прочь устроить ваше счастье, если вообще счастье – не звук пустой. Будете говорить и отвечать?

– Спрашивайте, – ответил Нейгоф.

- Очень понравилась вам Софья Карловна?
- К чему такой вопрос?
- Нужен он... нужен и для вас, и для меня.

Буду откровенен. Я заметил, что она произвела на вас сильное впечатление. Так? Хотите стать ее мужем?

Козодоев произнес эту фразу и сам испугался того впечатления, которое она произвела. Нейгоф, с красным, перекосившимся от злобы лицом, с трясущимися губами, вскочил из-за стола и, стуча по нему, закричал:

– Да что же это, издевательство, что ли? Так нет! Довольно того, что было! Всему есть конец! Или вы сегодня хотите меня с ума свести? Да выпустите меня отсюда, иначе я стекла разобью и из окна выброшусь!..

Козодоев рассмеялся и сказал:

– К чему такие страсти? Ведь я же говорю совершенно серьезно. Я вас и привез сюда только затем, чтобы предложить руку этой молодой особы. Заметьте, руку, а не сердце. Сердце завоевать – это уже ваше дело. Пока ей нужна ваша рука. Понимаете вы меня, ваше сиятельство: рука, – то есть ваш графский титул. Вот зачем я вас разыскивал и разыскал.

Ну, решайте с места в карьер: да или нет?

V

Расчет и порыв

Красавица, которую предложил в супруги графу босяку Козодоев, жила в соседней квартире. Чтобы попасть к себе, Софье Карловне стоило только перейти по площадке парадной лестницы и отворить дверь особым ключом.

– Стасик! Ты? – воскликнула она радостно, очутившись у себя и увидев еще с порога стройного молодого человека, с красивым, но нагловатым лицом. – Как ты здесь?

– Спрашивает еще! Что, у меня своего ключа нет? – засмеялся молодой человек. – Я знал, что сегодня решается твоя судьба, и пришел...

– Да, ты прав... он там... Козодоев привел его... Как он ужасен!

– Кто? Жених, который должен сделать тебя графиней?

– Да, он, – прошептала красавица.

– Скоро же старый аспид провернул дело! Ну, полно! Не горюй! – и с этими словами Ста-

сик нежно привлек к себе Софью Карловну и поцеловал ее.

Красавица не сопротивлялась. Присутствие духа, холодность, которыми владела Софья Карловна при Козодоеве, теперь совершенно оставили ее.

– Стасик, милый мой, – заплакала она, – если бы ты знал, как все это ужасно...

– Что? Твое будущее замужество?

– Да... Евгений Николаевич говорит, что оно необходимо... Я согласилась с ним, дала слово, что выйду замуж за этого отщепенца, но теперь чувствую, что это выше моих сил.

– Откажись тогда!

– Не могу... не смею...

– Это почему же не смеешь? Что ты, раба этого Козодоева? Разве он может принудить тебя?

– Может, может! Ах, Стасик! Ты ведь ничего не знаешь...

– Все знаю, и даже больше, чем ты знаешь. Это говорю тебе я, Станислав Федорович Куделинский. Мы с тобой – старые друзья, и ты мне можешь поверить... Ведь Козодоев – во все не такой человек, чтобы заботиться о чу-

жом счастье. Он все делает только для себя. Если он выкопал этого босяка графа и назначил его тебе в мужья, – то вовсе не для того, чтобы увенчать твою голову графской короной. Нет! Тут он проделывает хитросплетенную махинацию, и ты, Соня, для него – лишь средство в достижении цели.

– К чему же ведет он это сватовство?

– К чему? Да вот к чему: этот граф босяк – завидный жених для такой бедной сиротки, как ты, моя птичка. Он – предпоследний представитель, хотя и по боковой линии, богатейшего, некогда рыцарского рода остзейских графов Нейгофов, и – представь себе! – сам ясно не знает этого. Что? Понимаешь, в чем тут суть?

– Смутно, милый...

– Какая ты несообразительная! Семья много лет тому назад отказалась от этого графчика, а он, чтобы выразить свой протест против отвергнувших его родственников, не нашел ничего лучшего, как удариться во все тяжкие. Со ступеньки на ступеньку он быстро опустился на дно, да и застрял там... Чу! Кто-то идет сюда... Не надо, чтобы нас видели так

близко друг к другу!

Куделинский отстранился от Софьи Карловны и принял вид ведущего светскую беседу молодого человека.

В гостиную вошла Маша, горничная Козодоева.

– Барышня, – сказала она, кланяясь Станиславу Федоровичу, – меня к вам Евгений Николаевич прислал. Велели сказать, чтобы вы подождали их у себя... Они придут к вам, как только кончат разговор с гостем.

– Чудное что-то такое, что и в толк не возьму! Барин всю смеется, а их гость так и заливается, плачет.

– Вот как? – воскликнул Станислав Федорович. – О чем же это?

– А этого, барин, я уже знать не могу, – чудно только... Да, барышня, Евгений Николаевич велели сказать, чтобы вы не беспокоились, к ним не приходили, они сами к вам пожалуют, меня же до утра отпустили.

– Как это до утра? – спросил Куделинский.

– А так, я накрыла на стол, подала все, что следует, а Евгений Николаевич вышли ко мне, целковый дали и говорят: «Ступай, Ма-

рья, гуляй до завтрашнего радостного утра, ты мне не нужна и помешать можешь». Только вот приказали к вам зайти и предупредить.

Глаза Куделинского вдруг блеснули зловещим огоньком.

– Ну, идите, Маша, – сказала Софья Карловна, – веселитесь.

– Покорнейше благодарим, – поклонилась Марья. – Только как же вы-то останетесь, барышня, одне?.. Ведь вашу Настю в больницу отправили. Прикажите, я останусь.

– Не нужно, не нужно! Зачем я буду лишать вас нескольких часов свободы? Я какнибудь устроюсь. Идите, не беспокойтесь обо мне.

Марья чуть подумала, потом, что-то сообразив, посмотрела лукавым взглядом на молодых людей, поклонилась и вышла.

Куделинский после ее ухода вскочил и забегал из угла в угол по комнате.

– Что с тобой, Стасик? – тревожно спросила Софья Карловна.

– Так, ничего, Соня... Мысль тут одна... понимаешь: мысль! Если ее осуществить, она

всю нашу жизнь по-иному повернет... Соня, ты любишь меня? Веришь мне?

– Что за вопросы, Стася! Разве ты не знаешь сам?

– Знаю, уверен! Давно уже мы не чужие друг другу. Соня, голубка, если ты веришь мне, – то должна исполнить-то, что я скажу тебе сейчас.

– Все, милый, исполню, все. Приказывай.

– Выйди замуж за этого графа.

На лице Софьи Карловны отразились и ужас, и удивление.

– И ты, как он!.. И ты желаешь этого?..

– Да, да! Желаю, прошу, требую... Так нужно, нужно для нашего будущего счастья: твоего и моего. Ведь ты же сказала, что веришь мне. Только мы этого Козодоева отшвырнем с нашей дороги, и будем правы: ведь Козодоев хлопочет о том, чтобы завладеть огромным наследством, которое не может миновать этого босяка графа, и через тебя он завладеет им. Ты будешь графиней Нейгоф, этот твой муж ровно ничего не стоит как человек, стало быть, распорядительницей его богатства будешь ты, а через тебя – Козодоев. Вот он куда

метит! Но если приносить такую жертву, так приносить ее для себя, а не ради алчного старикашки. Зачем же будущим богатствам этого босяка графа попадать к Козодоеву? Пусть они попадут к нам! Слушай, Соня... Ты меня любишь, а я – бедняк, нищий, без всякой возможности разбогатеть. Если твоя любовь – не ложь, – то ты принесешь эту жертву ради меня... Что, Соня? Что ты мне скажешь?

– Боюсь, – пролепетала Софья.

– Кого? Этого аспида Козодоева? Положись на меня – я все устрою. Все! Козодоев будет безопасен... Что такое там, за стеной? Ведь это у Козодоева!

До слуха Куделинского и Софьи Карловны из соседней квартиры донеслись приглушенные крики и шум борьбы.

– Да, да! – испугалась Софья Карловна. – Что там такое?

– Пусть их! – злобно засмеялся Куделинский. – Мы здесь – одни, они там – одни... Да чего ты испугалась? Ну вот, все там и стихло... видишь, как скоро. А, право, интересно бы знать, что у них вышло?

А в кабинете Козодоева произошла такая

сцена.

Предложение Евгения Николаевича произвело на Нейгофа вовсе не-то впечатление, какого ожидал старик.

– Так вы только за этим и привезли меня сюда? – неестественно спокойно спросил граф, когда Козодоев смолк.

– За этим, за этим. Разве плохо?

– И вы осмелились сделать мне подобное предложение?

– Вот удивительно! Отчего же мне его не сделать? Для вас тут может выйти очень выгодное предприятие.

Нейгоф стоял перед стариком, пронизывая его сверкающими взорами. Он уже не плакал, но был страшен в своем гневе и безобразии.

– Мои предки... – начал он.

– Оставьте эту музыку! – цинично-хладнокровно перебил его Козодоев. – Ваши предки, может быть, какой-нибудь там Рим спасли, а вы-то что такое? Ничтожество из ничтожеств! Грязь смрадная! А тоже... предки...

– Молчать! – загремел Нейгоф. – Не смей говорить о том, что тебе не дано... Да, я – грязь, ничтожество, но кто это «я»? Я – Минька Гу-

сар, с кобрановских огородов, а не граф Нейгоф. За одиннадцать лет ты первый осмелился назвать меня этим именем. А оно стоит так высоко, что я не позволю оскорблять его... Я, Минька Гусар, – весь твой. Бей меня, топчи, унижай как угодно, я все снесу, а графа Нейгофа оставь... Я стал грязью, но не запятнал этого имени, не запятнал и не запятнаю! Я не отдам его неизвестно кому... Не отдам ни за что!..

– А ведь хороша невеста-то? – опять перебил его Козодоев. – Коснись меня такой случай, я о всех предках бы позабыл... Да и кто же это тебе, ваше сиятельство, сказал, что она недостойна стать твоей супругой?

– Позорное предложение – вот кто!

– Какое там позорное! Садись-ка да опрокинь еще рюмочку.

Нейгоф с презрением посмотрел на Евгения Николаевича.

– Сейчас же выпустите меня! – грозно произнес он.

– Это еще куда? Ан не пущу, – преградил ему дорогу Козодоев, – ежели не лаской, так силой не пущу.

Граф с яростным воплем кинулся на него. Старик смело выдержал напор. Но бешенство удвоило силы Михаила Андреевича. Козодоев отлетел от двери, а граф торжествующе выбежал из кабинета.

VI

Кровавое дело

Маша вернулась домой рано утром. Дом, где жил Козодоев, был старой постройки особняк с двумя ходами и несколькими свободно размещенными флигелями.

Когда Маша вошла на двор, все в доме еще спали, только ворота конюшенного сарая, находившегося в боковом флигеле, были открыты.

– Федор, а, Федор! – крикнула Маша.

– Чего там? Кто спрашивает? – из конюшни вышел мужик в кожаном переднике, с молотком в руках. – Ты, Машутка? Ишь, она с гулянки только идет, а я уже за делом: экипаж мою. Чего тебе?

– Барин не выходил?

– Такую-то рань? Чего ему?

– Не бывало, что ли? Для него, что день, что ночь – все дела какие-то.

– Дел, видно, немало. У него в окнах недавно огонь светился. Видно, что дела. Без дела кто же всю ночь хороводиться будет.

– Как же это я попаду теперь? Поди, заперто, а на морозе ждать совсем неохота.

– Сходи, стукни, может, барин-то не спит. Говорю, огонь только что погас.

– И-то схожу, попытаю счастья.

Марья направилась к крыльцу черного хода и скрылась за дверью. Прошло две три минуты, и по всему двору разнесся отчаянный вопль.

– Машка вопит, чтой-то с нею? – кинулся на крик из своей комнатки Федор.

Девушка уже была на дворе и бессмысленно металась, неистово вопя:

– Убили, убили... барина убили!.. Люди добрые, помогите!.. Убийство!

Крики уже вызвали переполох. Из флигелей выскакивали полуодетые люди, от ворот бежал дежурный дворник.

– Кого убили? – раздались со всех сторон вопросы.

– Барина нашего, Евгения Николаевича! –
вопила Марья.

– Козодоева?

– Его, его! Да подите же вы туда кто-нибудь! Может, еще и жив он...

– А говоришь: «убили», – заметил старший дворник, – только народ мутишь! Ежели жив, так не убийство, а покушение... Ну, идем!

– Ой, нет! – взвизгнула Марья. – Не ведите меня туда! Лучше я здесь останусь.

– Врешь! Должна идти, ежели первая на такое дело наткнулась, – подтолкнул девушку к крыльцу старший. – Ребята, вы посторонних и любопытствующих посдержите! Чего тоже лезут?.. Антоха! – крикнул он одному из подручных. – Беги на пост к городовому, сообщи: так, мол, и так – происшествие.

Постанывающая от внезапного потрясения Марья, дворники, Федор и несколько наиболее энергичных любопытных поднялись по лестнице к дверям в козодоевскую квартиру.

– Ой, отпустите меня лучше! – взвизгнула уже на площадке Марья. – Увижу его – чувства лишусь!

– Полно кобениться-то! Отворяй скорее! –

прикрикнул на нее старший и вошел в квартиру.

К этому времени рассвело настолько, что все можно было ясно рассмотреть.

На полу, недалеко от входной двери, в луже уже запекшейся крови лежала темная масса, напоминая человеческую фигуру.

– Н-да, дело, – проговорил старший, обнажая голову. – Какое тут жив.

– Вся голова вдребезги, – проговорил Федор, наклоняясь над трупом. – Эка! Каша кашей стала!

– И в самом деле! Вот так поработали! – согласился с ним один из дворников. – Даже лица не признать...

Действительно, голова трупа была вся разможжена. Черепная чашка превратилась в осколки, мозг вперемешку со сгустившейся черною кровью покрывали, как маской, всю нижнюю часть лица.

– Царство Небесное! – проговорил старший. – И кто же этакое дело натворить мог?!

– Он, он, проклятуций! – воскликнула Марья. – Гость вчерашний! Барин покойник вчера его с Федькой неведомо откуда привез. Он

и убил. Больше никому, как ему, окаянному. Барышня-то, барышня наша, Софья Карловна, ничего, поди, не знает. Спит теперь, голубушка, крепким сном, а тут такая беда стряслась. Пойти побудить ее!

Марья выбежала из квартиры и через двор кинулась к парадному ходу.

– И нам, ребята, здесь оставаться нечего, – объявил старший. – Сейчас полиция явится, выйдем-ка на лесенку. Никто ничего трогать не смей! Ну уж и дело стряслось!.. Федор! Слышал, что Машутка сказала? Ты это какого же убивца к нам в дом привез?

– Я что же, Панкратий Иванович? Мое дело – сторона. Разве я могу в хозяйские дела мешаться?

– То-то «сторона»! Вот посмотрим, с которой стороны тебя к этому делу пришьют? Эх, сколько народа набилось!.. Хоть бы полиция скорей приходила!

Вся лестница была запружена людьми, со двора доносился шум голосов.

– Панкратий Иванович! – крикнул снизу посланный старшим за полицией Антон. – На парадный вас требуют... Сам господин по-

мощник туда пришли!

– Иду, иду! – и Панкратий Иванович, расталкивая народ, кинулся к парадному ходу.

– Что у вас тут случилось? Убийство? – встретил его грозным окриком помощник пристава, ожидавший старшего с двумя околоточными и несколькими городовыми. – Простите, сударыня, – с любезным полупоклоном обратился он к стоявшей около него Софье Карловне, за которой видна была дрожащая Марья. – Евгения Николаевича ухлопали?

– Его, ваше высокоблагородие. Только мы тут ни при чем.

– А это видно будет... Не смотрите за порядком, каналы! Дежурные у ворот спят, вместо того чтобы обывателя оберегать... Дверь открыть!

– Покойник-то около черного хода лежит, ваше высокоблагородие, – пробормотал Панкратий.

– А ведете сюда! Ба-ба-ба! Мефодий Кириллович! Так скоро? – воскликнул полицейский офицер, увидав взбегавшего на площадку старичка. – Никак не ожидал! Право, вы вездесу-

щи!

Софья Карловна вскрикнула, увидав этого старичка. Он был очень похож на Козодоева: такой же низенький, так же гладко выбрит и такой же подвижный. Разница между ними была лишь в том, что Козодоев был худощав, а этот старик имел округлую фигуру, да не носил очков, благодаря чему видны были его умные, пронизательные глаза.

Он слышал, как вскрикнула Софья Карловна, и внимательно поглядел на нее.

– Уж и вездесущ! – воскликнул он, здороваясь с полицейским. – Знаете, облава за Обводным была, так я из любопытства присутствовал. А тут вдруг слышу, по телефону сообщают, ну вот и поспешил. Что тут такое? Убийство?

– Козодоева некоего убили...

– Знал его. Дельный парень! Голова замечательная! Насмерть?

– Кажется, так... Так что же мы стоим? Здесь дверь заперта, с другого хода проникнем. Сударыня, – обратился помощник пристава к Софье Карловне, – вы, конечно, с нами?

– Нет, нет! Увольте меня, – дрожащим голосом ответила та. – Это так ужасно! Я не могу, совсем не могу... Еще вчера вечером я видела его живым, а теперь... – и она залилась слезами.

– Не смею настаивать, – опять полупоклонился полицейский. – Я думаю, что ваше присутствие при первом осмотре не обязательно. Ваше мнение, господин Кобылкин? – обратился он к Мефодию Кирилловичу.

– Конечно, – согласился тот. – Я вижу, молодая особа потрясена...

Софья Карловна уже не просто рыдала, у нее началась истерика. Марья поспешила увести ее в квартиру.

– Это кто же такая будет? – спросил Кобылкин у полицейского. – Родственница, дочь?

– Тут какое-то темное, частное дело, – ответил тот, – не-то родственница, не-то приемыш, не то... – и полицейский офицер что-то прошептал на ухо Мефодию Кирилловичу.

– Ага, понимаю, неопределенные взаимоотношения... а надо признаться, что если последнее, – то у старичка вкус был хороший: очень недурна!

Когда они вошли на черное крыльцо, почтительно расступившаяся перед ними толпа сейчас же сомкнулась.

– Это кто же такой в штатском и бритый? – раздались вопросы.

– Как кто? Сам Кобылкин!

– Кобылкин! Знаменитый? Да разве он не в отставке?

– Что ж, что в отставке! По старой памяти ни одного такого дела не пропускает. Чуть где-нибудь преступление, он уже тут как тут, его любят, всюду пускают...

Имя Мефодия Кирилловича Кобылкина в самом деле пользовалось популярностью. Это был человек, одаренный проницательностью, наблюдательностью и сообразительностью, так сказать, ищейка по призванию. Не было такого запутанного дела, которого он не раскрыл бы за время своей долгой службы. Не было преступной тайны, в которую он не проник бы. Даже оставив службу, он продолжал заниматься любимым делом и частенько указывал путь к раскрытию преступления там, где его молодые преемники становились в тупик.

Увидав труп, он не задержался около него, а прошел в комнаты. Там он заглянул во все уголки, простучал все стены и вернулся к помощнику пристава, который составлял уже протокол первоначального дознания.

– Уведомление следователю уже послано, – сообщил ему полицейский, – а вот интересно, что вы, Мефодий Кириллович, обо всем этом думаете?

– А ничего еще, батенька мой, не думаю, – откровенно сознался Кобылкин. – Интересный случай произошел сегодня при облаве-то нашей. За Обводным каналом на пустырях субъектика задержали в числе прочих. С виду поглядеть – босяк форменный, а оказался титулованной особой: граф Михаил Андреевич Нейгоф, и это его сиятельное происхождение несомненными документами подтверждено.

VII

Кто убил?

Рассказ Кобылкина не произвел впечатления на полицейского.

– А, старый знакомый: Минька Гусар с кобрановских огородов! – усмехнулся он. – Как же, как же, прекрасно знаю я этого графчика. Частый он у нас в участке гость. Как за Обводным каналом на пустырях облава – он тут как тут. Только он смирный; не тронь его графства – воды не замутит, а только вспомни – беда, буянить начнет, его и не держат, а всегда после наставления на путь истинный отпускают на все четыре стороны. Поди, и теперь выпустили?

– Нет, совсем не-то, – произнес Кобылкин.

– Что же? Буянил, что ли?

– Какое! Его в будке на огородах без памяти подобрали. Пришлось в больницу отправить. Жаль, если не выживет! Личность, на мой взгляд, оригинальная.

Больше разговор к графу босяку не возвращался. Прибыли товарищ прокурора и следо-

ватель. Начались осмотры, опросы. Первой была допрошена Марья, потом Федор. Они рассказали все, что им было известно о событиях вчерашнего дня. Допросить Софью Карловну, фамилия которой была Шульц, не удалось. Ужасное событие так подействовало на молодую женщину, что она не могла отвечать на следствии, и ее допрос пришлось отложить.

Первые данные выяснили лишь-то, что покойный Козодоев привез к себе какого-то сносно одетого, но со следами побоев на лице человека. Кто он, откуда его взял Евгений Николаевич, осталось неизвестным. Марья показала, что между ее убитым барином и гостем происходил странный разговор: барин смеялся, гость плакал. На этом пока все и останавливалось. Как ушел этот гость, тоже не выяснилось. Удалось доказать лишь одно, что грабежа не было, и убит Козодоев каким-то тяжелым тупым орудием.

Следствие на месте затянулось до вечера. Труп Евгения Николаевича увезли в покойницкую больницы для судебно-медицинского вскрытия. Судебный следователь отправился

туда же, пригласив с собой и Мефодия Кирилловича.

– Мы старые знакомые, – сказал он старику, помогая ему сесть в извозчичью пролетку, – и мне интересно ваше мнение.

– Да удобно ли это будет?

– Что такое?

– Да беседа эта самая... Не повлияет ли она на следствие? Я ведь теперь официального значения не имею.

– Ну вот еще! – рассмеялся следователь. – Будем говорить как частные люди и хорошие знакомые, – вот и все. Ну, батенька, не томите! Кто, по вашему, убил?

– Тот, кому нужна эта смерть.

– А кому она была нужна?

– Вот этого я еще не знаю. И не спрашивайте: все равно ответа не будет. Лучше я вот что вам скажу. Знаете ли вы, что за штука – Козодоев?

– Вероятно, какой-нибудь делец... Скорее всего, из темных.

– Из темных-то он из темных, а только перед всеми статьями «Уложения о наказаниях» он был чист, как новорожденный младенец.

Уж я-то его хорошо знал! Это был так называемый «ходатай по чужим делам», только не по судебным – ни за одно судебное дело он никогда не брался. Всяких там зданий, где преступников ждут наказания, а должников – взыскания, он терпеть не мог.

– Может быть, там ему самому пришлось когда-либо щедрое награждение за темные подвиги получать?

– Нет. Я уже сказал, что в отношении всякой уголовщины он чист.

– Так почему же вы его темным дельцом назвали?

– А он, так сказать, сам создал себе профессию. Он вам и наследство разыщет, о котором вы даже не подозреваете, он вам и под вексель деньжонок найдет; он, если вас тяготят цепи Гименея, снять их поможет. Но главное-то его занятие было в том, чтобы не снимать эти цепи, а надевать их, и притом с выгодой для себя.

– Это как же так? Сватовством, что ли, он занимался?

– Именно. Богатой дурочке женишка подставить, а богатому олуху – невесту, чтобы по-

том с обеих сторон сорвать по солидному кушу, – вот в чем его дело было. Понимаете?

– Да, да, – ответил следователь. – Но что же из всего этого выходит?

– Только-то, что и тут вся суть в каком-то брачном деле кроется.

– Полно! Ведь клиенты вашего Козодоева должны бы беречь его как зеницу ока. Какое же тут брачное дело, когда его убили? Вы сами себе противоречите.

– Нисколько не противоречу. На такое дело прямо указывает существование при покойном Козодоеве этой Софьи Карловны Шульц. Вот где завязка! Вы эту особу видели? Красавица... писаная красавица! Уверен, она Козодоевым кому-то в невесты предназначалась. Только вот кому?

– А не фантазируете ли вы, Мефодий Кириллович? – засмеялся следователь.

– Не фантазирую, а комбинации строю, и не для вас вовсе, а так, для себя самого, только из одной любви к делу. Комбинации же мои строятся на основании данных. Как увидел я эту красотку, сразу же у меня вопрос появился: «Что она для Козодоева и кто она такая са-

ма по себе?» Навел справочки и узнал, что происхождение этой особы низменное – мещаночка, но все-таки не без некоторого образования. Ей теперь двадцать два года, а у Козодоева она появилась, когда ей всего семнадцать было. Пять лет покойничек сети свои раскидывал. Эту девицу Шульц он, можно сказать, облагодетельствовал, как приемную дочь при себе держал. Он ее и нарядил и воспитал, словом, в современный восхитительный вид привел. И вовсе не для себя старался.

– Это-то вы, дорогой друг, откуда знаете? – удивился следователь.

– Умозаключение одно делаю. Изволили вы заметить, что наша молодая особа в другой квартире живет? Нет? А я любопытствовал узнать, всегда ли так было. И узнал, что только с месяц тому назад Софья Карловна Шульц отдельное от своего благодетеля помещение заняла. Какой же из этого следует вывод? Да тот, что в ближайшее время должен был предназначенный ей жених появиться, и вдруг катастрофа!

– Послушайте, что вы говорите! – воскликнул следователь. – Ведь не этот же предпола-

гаемый вами жених убил несчастного Козодоева?

– Разумеется, не он, если он только появился, – засмеялся Кобылкин.

– И не Шульц же это сделала?

– Тоже пока не думаю.

– Кто же тогда?

– А вот если бы мы это знали, так и тайны никакой бы не было... Да постойте, мы, кажется, приехали.

Экипаж действительно остановился около ворот длинного больничного здания. Следователя ждали. Ворота растворились, и экипаж направился к стоявшему в отдалении домику, над крыльцом которого мерцала лампадка перед иконой. Это была больничная покойница и прозекторская.

Следователь и Кобылкин хорошо знали сюда дорогу. При входе в прозекторскую их встретил судебный врач. Труп Козодоева лежал уже на операционном столе, и около него суетился фельдшер. У столика в уголке сидел околочный.

– Работы много, – встретил вошедших врач. – Внешний осмотр я произвел. Посмотр-

рим теперь, что покажет вскрытие, можно приступить?

– Пожалуйста, – ответил следователь и отошел с Кобылкиным.

Врач и фельдшер принялись за дело.

– Знаете что, – задумчиво сказал Кобылкину следователь, раскуривая сигару. – Все наши комбинации очень остроумны...

– Но никуда не годны?

– Нет, не-то, а вот что. Ведь вы ни одним словом не обмолвились о том странном госте, пребывание которого у Козодоева в последний вечер его жизни удостоверено показаниями двух свидетелей. Разве он не мог быть убийцей?

– Все может быть, – развел руками Кобылкин, – пусть он убил...

– Но, я вижу, вы так не думаете.

– Сущую правду изволили сказать, – добродушно согласился Кобылкин, – не думаю. Думал я об этом, а потом перестал думать.

– Стало быть, и на этот счет свои умозаключения вывели?

– Вывел-с. Как же иначе? Этот гость был кто? Свидетельские показания я слушал вни-

мательно и понял из них, что посетитель был простого звания человек. Помните, горничная говорила, что у него фонари под глазами сияли, а такое освещение на физиономиях интеллигентов редко бывает. Отсюда я делаю вывод, что этот гость покойного Козодоева – простец. Простецы же себе подобных ради чего убивают? Да в девяноста девяти случаях из ста ради того, чтобы воспользоваться достоянием своей жертвы. Отсутствие же всякого намека на грабеж вы удостоверили сами; притом сохранились следы самого мирного времяпрепровождения: водочка, закуска... Сообразив все это, я перестал думать, что он – убийца.

– Я думаю наоборот, можно и не ограбить, преступник может перед преступлением со своей жертвой и водку пить, а в конце концов все-таки убить. Нет, как хотите, а я уверен, что убийца – именно этот исчезнувший гость.

– А я вам сообщу вот что, – Кобылкин приподнялся на цыпочки и, дотянувшись до уха рослого следователя, прошептал: – Убийц было трое. Слышите: не один, не двое, а трое.

VIII

На больничной койке

Бросив свою загадочную фразу, Кобылкин отступил от следователя, и его лицо приняло обычное добродушное выражение.

– Мефодий Кириллович! – бросился к нему следователь. – Что вы сказали? Какие трое? Откуда?

– Не знаю-с... Я ничего не знаю, мое дело здесь сторона, – ответил старик.

– Да вы сами сейчас мне сказали...

– По глупости... простите великодушно... сболтнул, что в старую голову пришло.

– Постойте, бросьте увиливать! Ведь вы что-то уже знаете, в чем-то убедились...

– Может быть, так, а может быть, и не так... Вон доктор вас зовет, а я имею честь кланяться...

– Куда же вы? А вскрытие?

– Зачем мне ждать его конца? Доктор, оревуар! Хотел бы пожать вашу руку, но она в крови ближнего, посему оставляю это до следующего раза...

Кобылкин выскочил из прозекторской, но на пороге остановился и громко продекламировал:

*Даль туманная видна.
Трое, трое и одна.*

– Странный старик! – произнес вслед ему доктор. – Мне пришлось начинать свою деятельность при нем. Он огорошивал своими выходками. Бывало, не знаешь, что и подумать о нем... Гаер какой-то!

– А между тем под этим шутовством скрываются величайший ум и тончайшая наблюдательность, – задумчиво ответил следователь. – Вот и теперь... такую, батенька, этот сфинкс загадку загадал, что никакому Эдипу не разгадать. Но будем продолжать наше дело.

Между тем Мефодий Кириллович перебежал через усаженный деревьями дворик и поднялся в приемный покой больницы, где была также комната дежурных врачей.

Дежурных было двое, и они встретили Кобылкина как старого знакомого.

– Справочку, родименькие, сведеньице! –

тараторил Мефодий Кириллович, здороваясь с ними.

– О ком прикажете, наш доморощенный и притом квадратный Лекок? – засмеялся один из врачей.

– Спасибо за честь, а справочку-то дайте... Тут к вам некий граф Нейгоф поступил.

– Верно, поступил. Это вот у Анфима Гавриловича, – указал врач на товарища. – Коллега, что вы определили?

Тот произнес латинское название болезни и прибавил только одно слово:

– Плох!

– Да неужто? – опечалился Кобылкин. – Выживет? Умрет?

– Кто его знает! Истощен крайне...

– А взглянуть на него можно?

– Не знаю, Барановского спрашивайте, – указал на Анфима Гавриловича врач-остряк.

– Голубчик, покажите! – закланялся ему Кобылкин. – Уж очень мне этот граф босяк интересен.

– Зачем он вам? – насупился Барановский.

– Черты его графские хочу навек в своей памяти запечатлеть.

– А не для расспросов до допросов? Этого я не позволю: больница – не сыскное. Пойдемте, но если обеспокоите больного, пеняйте на себя, чиниться с вами не буду: выгоню из палаты...

Тон и слова Барановского были грубы, но Мефодий Кириллович не обиделся. Он знал несколько лет этого молодого врача, прозванного товарищами «диким доктором», и ему было известно, что под его суровой и грубой внешностью кроется доброе сердце.

Они вошли в палату.

Длинные ряды коек, занятых больными, тяжкие стоны, хрипенье, запах лекарств, атмосфера, как бы пропитанная страданиями, – все это представляло собой такую картину, что даже Мефодий Кириллович стал серьезным.

– Вот он, – подвел его Барановский к поставленной в стороне койке.

На ней, вытянувшись во весь свой длинный рост, лежал Минька Гусар. Его отвратительно красное лицо было теперь бледно, почти бело, вследствие чего на нем еще резче выделялись потемневшие синяки и багровая

царапина на щеке. Копна волос на голове и борода исчезли под ножницами больничного парикмахера. Глаза больного были полуоткрыты и между веками виднелись неестественно расширившиеся зрачки. Он тихо и надрывно стонал, вздрагивая всем телом.

– Без памяти? – спросил у Барановского Мефодий Кириллович. – Что у него?

– Пока не определилось... Кажется, *huregaemia miningei*... Длительное беспамятство, бред... Завтра его посмотрит старший врач.

Больной заметался на койке, его губы зашевелились, с них стали срываться непонятные слова.

– Бредит, – пояснил Барановский.

Кобылкин склонился над несчастным и стал жадно вслушиваться.

– Бей, бббей Гусара! – услышал он. – Графа нне троннь... Нет граафа... Не-то убббью... Сттарик...

– Послушайте, вы обещали! – попробовал оттолкнуть Кобылкина врач.

– Сейчас, голубчик, сейчас, – умоляюще зашептал тот. – Ради бога, позвольте еще...

– Жжениться мне... – бредил Нейгоф, – мне на этой крас... це? Никогда! Прочь, старрик, убббью!

Кобылкин выпрямился и, серьезно взглянув на Барановского, произнес:

– Спасибо. Больше не надо.

– Выведали-таки? – усмехнулся тот.

– Да, все, что мне нужно.

– Так и уходите, если вам здесь больше делать нечего!

– А вы не обидитесь, когда я вас покину? – прежним шутливым тоном спросил Кобылкин.

– Не беспокойтесь обо мне. Я побуду здесь, благо пришел. Видите! – указал Барановский на палату.

Появление врача в неурочный час переполошило больных. Десятки пар глаз умоляюще смотрели на Анфима Гавриловича. Кто был посмелее, шепотом звал его к себе. Сиделки, которых и в помине не было, когда пришли Барановский с Кобылкиным, все очутились на своих местах. Явилась даже сестра милосердия, с испугом поглядывавшая на сердитого доктора.

Кобылкин вышел из больницы, но на больничном дворе остановился.

– Не может быть, чтоб я ошибся, – заговорил он сам с собой. – Или я от старости чутье потерял? Ведь их было там, у Козодоева, трое – трое мужчин, и еще одна женщина. Тогда что же значит это: «Старик, убью!»? Не понимаю... Уж не был ли Нейгоф в числе этих троих? Да нет! Зачем ему убивать Козодоева? А все таки он у него был, и теперь я знаю, что его Козодоев прочил в женихи этой Шульц... Его! Я не ошибся в том, что Козодоев затеял какую-то авантюру. Но этот Нейгоф! – Мефодий Кириллович снял шапку и по привычке почесал затылок. – А, все равно! – почти во весь голос произнес он. – Надо мной не каплет. Буду ждать и посмотрю, что дальше. Только больше никому ни гугу. А то я, старый пес, раньше времени болтать стал... Впрочем, ничего. Ведь кто был гостем у Козодоева, пока только я один знаю, да и то сейчас узнал. Прекрасно! Буду ждать! – И он поспешил с больничного двора.

Барановский, как только Кобылкин ушел из палаты, еще раз внимательно осмотрел

Нейгофа и предупредил сестру милосердия:

– Будьте повнимательнее к этому больному.

– Конечно, – ответила та, – как же может быть иначе? Ведь он – титулованный.

– Он прежде всего – больной, и больной трудный, а до прочего нам дела нет. Возни с ним будет немало.

Барановский оказался прав. Болезнь графа до такой степени обострилась, что несколько дней Михаил Андреевич находился между жизнью и смертью. Наконец сознание понемногу стало возвращаться к нему.

– Сестра, скажите, – однажды спросил Нейгоф, – я давно болен?

– Порядочно, граф. Но вы лучше молчите...

– Нет, еще один вопрос... Я как сквозь сон помню чье-то женское лицо... видение, призрак... Раза два оно было предо мной... я видел его совсем близко. Скажите, что это было? Бред? Галлюцинация?

– Вас навещали, – ответила сестра. – Какая-то молодая дама... Она очень интересовалась вами...

– Но кто, кто? Сестра, скажите!

– Да право же, ваше сиятельство, не знаю... Вот послезавтра будет приемный день, может быть, эта особа явится; а я откуда могу знать, кто она? Она мне не сообщила своего имени. Лежите и не разговаривайте, вы еще очень слабы.

Нейгоф повиновался, но его мучила загадка: «Кто эта женщина? Почему она интересуется мной?.. У меня нет никого, совсем никого... А этот старик? – вспомнил он о Козодоеве. – Бедный! Я, кажется, ударил его».

В томительном ожидании провел Нейгоф время, остававшееся до приемных часов в больнице.

Наконец этот день наступил. Граф волновался еще с утра, прислушивался к бою часов. Он даже занялся своей внешностью и попросил у сиделки зеркало.

Взглянув в него, Нейгоф не узнал себя – так он изменился. Его лицо было чисто: синяки и отеки исчезли, и царапина зажила; исчезла одутловатость.

«Пожалуй, никто теперь во мне не узнает Миньки Гусара с кобрановских огородов», – с горечью подумал Нейгоф, улыбнулся и

вздогнул.

Часы в палате пробили два, и коридоры больницы наполнились шумом, говором. Это впустили посетителей.

«Придет эта незнакомка или не придет?» – с тоскою думал Нейгоф.

– Ваше сиятельство, к вам! – крикнула ему через всю палату сиделка.

Нейгоф с волнением приподнялся на своей койке, напряженно глядя в сторону входа.

В дверях палаты стояла Софья Карловна.

IX

Западня

Нейгоф откинулся на подушки и отвел взгляд, решив, что эта посетительница пришла не к нему. Однако Софья Карловна направлялась прямо к его койке.

– Слава богу, граф! – заговорила она. – Я с радостью вижу, что вы поправляетесь!

Михаил Андреевич испуганно и в-то же время восторженно смотрел на свою гостью.

– Вы удивлены моим посещением, граф? – улыбнулась она. – Или вы не узнаете меня?

– Узнаю, – прошептал Нейгоф, – у Козодоева...

– Да, да! Впрочем, та встреча была мимо-летна... мой покойный отец даже не представил мне вас.

– Покойный! – воскликнул граф. – Разве этот Козодоев умер?

– Увы, да! Вы еще не знаете, какое несчастье постигло меня.

– Вы – дочь Козодоева?

– Да, приемная... Он воспитал меня, дал образование... Какой это был чудный человек, граф! Но не будем говорить о печальных вещах. Вернемся к прежнему. Итак, вы удивлены?..

– Очень! – откровенно сознался Нейгоф.

– И я была бы очень удивлена на вашем месте. Мы незнакомы, видели друг друга всего один раз мельком, и вдруг эти мои посещения... Но на все в нашей жизни есть причины. Простите за откровенность, граф, но тогда вы мне показались очень несчастным, удрученным всякими бедствиями человеком... Я пожалела вас, граф...

– Благодарю, – пробормотал Нейгоф, – я

действительно очень несчастлив...

– Я стала думать о вас, граф, и чем больше думала, тем больше мне становилось вас жалко. А потом знаете, что случилось?

Голос Софьи Карловны звучал искренностью. Граф жадно слушал не слова, а именно эти звуки, и напряженно смотрел в лучистые глаза красавицы, боясь, что она замолчит, и он не услышит больше этого чарующего голоса.

– Что же случилось? – тревожно спросил он.

– А-то, что я вас возненавидела.

– Вы! Меня! За что? Я теряюсь в догадках. Пожалели сперва, потом возненавидели, а теперь...

– А теперь я, как видите, незваная, незнакомая, пришла к вам, когда вы стали еще более несчастны, когда вы умирали... Лежите, лежите спокойно! – остановила она Нейгофа, намеревавшегося подняться. – Иначе я уйду, и вы никогда не узнаете, за что я вас возненавидела...

– Нет, нет, не уходите! – запротестовал Нейгоф. – Даже ваше имя я только сейчас при-

помнил. Ваш отец назвал мне его... Я не думал, что вы – его дочь... Помните – он назвал вас царицей красоты и еще как-то... Как – не могу припомнить, но сохранилось впечатление, что так к близким людям не обращаются; вообще вы тогда не произвели на меня впечатления дочери Козодоева, а скорее его клиентки.

Глаза красавицы на мгновение погасли, губы дрогнули. Она как будто смутилась, но быстро овладела собой и сказала:

– Сейчас я объясню поведение покойного.

– Как странно слышать это: «покойного»! – перебил ее Нейгоф. – Мне кажется, я только вчера видел вашего отца.

– А для меня не странно, а ужасно звучит это слово. Ах, если бы вы знали, какой человек был Евгений Николаевич! Как он был добр ко мне!.. Только это был человек не без странностей. Он все старался возвысить меня перед посторонними и ради этого всячески унижал себя, как будто не хотел, чтобы думали, что я – благодетельствованная им, бедная, нет, не только бедная – нищая девочка, подобранная им на улице. Он все силы упо-

треблял, чтобы я позабыла свое печальное детство. С вами он не говорил обо мне?

– Говорил, – покраснел Нейгоф.

– И я знаю, о чем он говорил. Он задумал поставить меня, бывшую босоножку, в ряды аристократии и для этого...

Софья Карловна не договорила и потупилась.

– Не вспоминайте! – воскликнул Нейгоф. – Я вижу, вам тяжело...

– Да, – прошептала красавица, – но поверьте, что в ту нашу встречу я еще ничего не знала о замыслах Евгения Николаевича, а когда узнала, – то возненавидела вас...

Заведомую ложь Шульц говорила так правдиво, что у графа не появилось никакого сомнения. Он верил в искренность своей собеседницы и любовался ею.

Всемогущее прошлое вдруг всплыло в его памяти, нахлынуло на графа при виде красивого женского личика, и этот несчастный человек почувствовал, что босяк Минька Гусар уходит далеко-далеко, а его место занимает граф Михаил Андреевич Нейгоф.

– Я понимаю вас, – прошептал он, – я знаю,

что был противен...

– Да, не скрою и этого. Но отец рассказал мне, как вы обиделись, когда он предложил вам недостойную сделку... Я тогда почувствовала к вам уважение... Ваш поступок был благороден, в нем отразилась ваша душа – душа рыцаря. Потом, – вздохнула Софья, – произошла трагедия: умер мой несчастный отец. У меня не было времени думать о вас, я совсем было вас позабыла, но вдруг судьба напомнила мне и о вашем существовании, и о том, что вы несчастны.

– Судьба, вы говорите?! – воскликнул Нейгоф.

– Да, судьба! На похоронах Евгения Николаевича присутствовала полиция. Один из полицейских, наш хороший знакомый, вероятно, чтобы развлечь меня, рассказал о случае с вами, о том, как вас нашли без памяти, как отвезли сюда. Он назвал и ваше имя. Я поняла, что это были вы... Мне опять стало жалко вас. Я не могла противиться голосу сердца и решила вас навестить. Вы были в беспомощности, но теперь я вижу вас выздоравливающим.

– И больше не придете?! – воскликнул Нейгоф.

– Я думаю, что теперь мои посещения могут быть лишними, – уклончиво ответила красавица.

– Не говорите, умоляю, не говорите так! – прерывисто заговорил граф, привставая с койки. – Вы сказали, что пожалели меня; не лишайте же несчастного вашего сострадания... О, если бы вы только знали, как оно дорого мне! Ваша жалость и сострадание воскрешают меня, воскрешают мой дух, который я сам похоронил... Продлите же свою милость – не покидайте меня теперь, хотя эти дни, пока не окрепнет мое тело... Вы добры, я это вижу! Пусть же ваша доброта подскажет вам, вашему сердцу, что благодеяние должно закончить, что нельзя останавливаться на полпути... милостыни я прошу, милостыни! Подайте же несчастному!

– Тише, граф, – остановила его Софья, – не волнуйтесь, это вам вредно. Вы хотите, чтобы я навещала вас? Да? Хорошо, пусть будет по-вашему... Но только если случится что-либо, пеняйте на себя...

– Что может случиться? Но вы уходите! – испугался Нейгоф, увидав, что Софья поднялась с табурета.

– Я вернусь... Да свиданья, граф, – и она протянула Михаилу Андреевичу руку.

Нейгоф не взял, а схватил ее и, повинувшись непреодолимому порыву, припал к ней с долгим поцелуем.

Софья не отняла руки.

– Ну, будет, будет! Какой вы! – наконец проговорила она. – Смотрите же, поправляйтесь! Я хочу видеть вас бодрым, здоровым... иначе... иначе не ждите меня... До свиданья, – и, вдруг склонившись над Нейгофом, она поцеловала его в лоб.

Голова графа закружилась, свет померк в его глазах.

Он беспомощно откинулся на подушки.

Когда сознание вернулось к нему, Софьи уже не было.

– Ушла! – воскликнул он.

– Поцеловала и ушла, – подтвердил больной, лежавший на соседней койке. – Родственница, что ли, или невеста? – продолжал любопытный сосед.

– Родственница, – ответил граф и потер рукой лоб.

Поцелуй Софьи так и жег его. Кровь кипела, сердце стучало. Сиделка, заметив, что больной волнуется, поспешила вызвать сестру милосердия.

– Что с вами, граф? – тревожно спросила та. – Не позвать ли врача? Вы возбуждены... это вредно для вас... болезнь может вернуться, и вы...

– И я умру? Нет, сестра, нет, дорогая! Я не умру, от счастья не умирают...

– А вы счастливы? – с любопытством посмотрела на него сестра милосердия.

– Счастлив, счастлив... бесконечно счастлив! – ответил ей Михаил Андреевич и закрыл глаза. – Я теперь жить хочу!

– Тогда поздравляю вас... Доктора, конечно, не нужно: счастье – лучшее лекарство от всех недугов.

Она отошла. Нейгоф продолжал лежать с закрытыми глазами. Образ Софьи не покидал его, а еще не изведенное им чувство любви все разрасталось и разрасталось...

Х

В паутине

Здоровье графа Нейгофа быстро поправлялось. Его молодой организм одолел недуг.

– Совсем вы молодцом становитесь, ваше сиятельство! – подшучивал над ним Анфим Гаврилович. – Вас теперь и не узнаешь... Ой-ой! Подозреваю я, что тут не наша латинская кухня виновата... Тут что-то более могущественное, чем вся ее стряпня, подействовало.

Граф смущался. Он и сам чувствовал, как возвращалась к нему сила, крепчал его организм.

Однако хотя тело выздоравливало, душа страдала. Произошел перелом, столь мощный, что в нем исчезал, бесследно поглощался им весь последний одиннадцатилетний период его жизни. Как прежде глубоко похоронен был в Миньке Гусаре граф Нейгоф, так теперь Минька Гусар растворился в воскресшем вновь для жизни графе Нейгофе.

И все это свершило внезапно вспыхнувшее чувство.

«Что со мной?» – спрашивал иногда сам себя Михаил Андреевич, и какой-то голос, исходивший из сокровеннейших тайников его души, отвечал ему: «Ты любишь!»

Так проходили дни.

Софья появлялась у выздоравливающего Нейгофа в каждый приемный день.

– Поднимайтесь, выздоравливайте скорее, граф! – сказала она однажды Нейгофу.

– Зачем? Я желал бы умереть, – ответил он.

– Умереть? Странное желание! Зачем вам понадобилась смерть?

– Тогда со мной навсегда осталась бы чудная греза, в которой я живу.

– О чем же вы грезите?

– О чем? А разве вы, пришедшая навестить меня, Миньку Гусара с кобрановских огородов, вы, чистая, светлая, радостная, разве это не греза? Разве я смел в последние одиннадцать лет своей жизни мечтать о чем-либо подобном? Никогда, слышите, Софья Карловна, никогда ничего подобного не рисовало мне мое воображение даже тогда, когда оно было раздражено... Я пал так низко, что всякое человеческое участие казалось мне

несбыточной мечтой.

– Не будем говорить об этом, – кротко оставила его Софья.

– Как не будем?! – горячо воскликнул граф. – Да разве можно не говорить о том, что теперь составляет сущность моей жизни? Я сам ни за что не поверил бы, если бы кто-нибудь сказал, что для меня возможен возврат к прошлому. И вот это свершается, это свершилось, и виновница этого – вы!

– Я? – как будто удивилась Софья.

– Да, вы! Ваша ласка, ваше участие воскрешают меня. Я со страхом думаю о будущем, тогда как еще недавно для меня не существовало настоящего: ведь я уничтожал и свое настоящее, как уничтожил прошлое и будущее. Теперь они воскресли вместе со мной, и этим я обязан вам.

Софья терпеливо слушала Нейгофа, давая ему возможность высказаться, и, когда он умолк, сказала:

– Знаете, что я вам скажу обо всем этом? Я – простушка и не привыкла скрывать. Мне кажется, я понимаю вас.

– Что вы хотите этим сказать? – удивился

Нейгоф.

– Видите ли, я знаю кое-что из вашего прошлого, да и вы сами его не скрывали: вы только что называли себя Минькой Гусаром с каких-то кобрановских огородов... Так?

– Да, – прошептал граф.

– Итак, вы – с кобрановских огородов, а я? Я даже не знаю, откуда я... прямо с улицы... Вы несчастны, несчастна была и я... Мы соединены несчастьем, и я понимаю, как дорого вам всякое внешнее участие. Мне уже пришлось испытать это, когда покойный Евгений Николаевич подал мне руку помощи, вырвал меня из грязи... Вот поэтому-то я пожалела вас. Поверьте, я никогда не разделяла планов Козодоева, и мне казались отвратительными его расчеты на вас, это казалось мне постыдной куплей продажей. Я уже говорила, что возненавидела вас; но жалость к вам, как к такому же несчастному существу, каким была и я, пересилила ненависть. Вы были несчастны, жалки, больны; я тоже несчастна, тоже жалка, потому что после смерти своего приемного отца я осталась одинокой, беспомощной. Но я была все-таки здорова, и пото-

му – выше вас. Мне показалось, что мой долг прийти к вам и утешить вас... Я пришла и прихожу... и... и еще приду...

Голос Софьи при этих словах зазвучал таким страданием, что Нейгоф с краскою на лице схватил ее руку.

– Что с вами?! – воскликнул он.

– Ничего... так... Это пройдет... Детство вспомнилось... Эта проклятая улица... Никому не нужная, всеми брошенная девчонка, голодная, незащищенная... Знаете ли, граф Михаил Андреевич, – с чувством воскликнула Софья, – знаете ли вы, что мне в то страшное время не раз приходилось, чтобы утолить голод, отнять у таких же, как я, никому не нужных существ – уличных собак – добытые ими корки хлеба?!

– Бедная, несчастная! – вырвалось у графа.

– Да, да... потому-то я и понимаю несчастье другого... Что вам, милая? – вдруг заметила Софья подходившую к ней с конвертом в руках сиделку.

– Вам, барышня, приказано передать, – подала та конверт.

Софья вскрыла его, и лицо ее изменилось

при одном взгляде на содержание записки.

– Простите, граф, я должна уйти, – поспешно поднялась она с табурета.

– Уже! Так скоро? – с грустью проговорил Нейгоф.

– За мной прислали... прощайте, я еще приду, и мы dokonчим наш разговор...

Она торопливо направилась к выходу. Нейгоф, никогда не видевший ее такой взволнованной, даже испуганной, тревожным взглядом следил за нею.

В дверях она встретила с незнакомым Нейгофу человеком. Это был Кобылкин. Граф видел, как Софья отшатнулась при этой встрече, видел, что входивший старик, улыбаясь, поклонился красавице. И вдруг неприятное чувство к этому совершенно незнакомому ему человеку овладело графом.

«Кто это? – подумал он. – И как похож на того... Козодоева...»

Мефодий Кириллович, пропустив Софью, задержался на пороге. Он даже голову приподнял и наморщил нос, будто обнюхивая палату, а потом направился прямо к койке Нейгофа и, остановившись около него, громко

произнес:

– Мое почтение, ваше сиятельство!

– Здравствуйте! Но я вас не знаю! – удивился Нейгоф.

– Будто бы? А впрочем, все может быть... Тогда позвольте представиться. Кобылкин я. Что-с? Вам решительно ничего не говорит эта неблагозвучная фамилия?

Нейгоф много раз во время своего босячества слышал это страшное для всех стоявших «вне закона» имя, но сталкиваться им никогда не приходилось.

– Да, понаслышке я знаю вас, – смущенно пробормотал он. – Что же вам от меня угодно?

– Если хотите – ничего, а то и очень многое-с. Но прежде всего я пришел справиться о состоянии вашего здоровья. С удовольствием вижу, что вы изволите поправляться.

– А почему это вас интересует?

– Много к тому поводов есть, а наипервейший тот, что я вас с кобрановских огородов вот в это телу полезное учреждение направил.

– Очень вам благодарен, – холодно произнес Нейгоф, – но все-таки не вижу причин...

– К знакомству со мной? Напрасно!.. Еще баснописец сказал: «Хорошие знакомства в прибыль нам». Да вы, ваше сиятельство, совсем молодцом стали! Красавец красавцем! Радуетя душа моя о вас. Неужели отсюда опять на кобрановские огороды? Это было бы обидно... Поддержитесь, ваше сиятельство!.. Ну что хорошего на огородах? Не отрицаю, жизнь и в той среде имеет свою прелесть, но побаловались, и довольно...

– Помилуйте, да вам-то что за дело до меня?

– Есть дело, ваше сиятельство, есть! Я уже имел честь докладывать вам...

– Так говорите скорее, в чем оно... Извините, я прилягу.

– Пожалуйста, не стесняйтесь! С больного какой же спрос? А ведь Козодоев-то умер! – вдруг выпалил он и впился глазами в Нейгофа.

– Да, я знаю об этом, – совершенно равнодушно ответил граф. – Что же из того?

– Ничего... Я это к тому, что покойный, кажется, вашим хорошим знакомым был.

– Я видел этого человека лишь один раз в

жизни, – произнес граф.

– Вот как? А я-то совсем другое думал. Умер он, умер!.. Так, может быть, вы знаете, как он умер?

– Я знаю только, что этого малоизвестного мне человека нет более на свете, – резко проговорил Нейгоф, – а как он умер и от чего – это меня совершенно не интересует.

Кобылкин глядел на него с удивлением.

– Однако, если не ошибаюсь, приемная-то дочка его, эта госпожа Шульц, навещает вас здесь?

– Да, навещает.

– И она ничего не говорила вам о смерти своего приемного батюшки?

– Она сказала только, что он умер и она теперь одинока.

– И больше ничего? – Мефодий Кириллович тихо свистнул. – Те-те-те-те! Вот оно дело-то какое! Та-ак! А вы, граф, видели паука? Да, конечно, видели. А видели, как он плетет свою паутину? Плетет он ее, а как сплетет, так в серединочку и засядет, и ждет, когда глупая муха пролетит и в его паутине запутается. Тут он на нее разом насядет, и давай на-

слаждаться... высасывать из мухи всю ее внутреннюю сущность. Высосет и бросит.

– К чему все это? – нетерпеливо сказал Нейгоф.

– А так, ни к чему... Бывает, что паук, помоложе да пошустрее, сам не работает, сетей не плетет, а просто выгоняет из паутины другого... Да и мало ли что еще на свете бывает... Однако вы дремлете... Не смею мешать... Спасибо вам большое...

– За что? – удивился Нейгоф.

– За просветление. Насчет многого вы меня просветили... на путь истинный, так сказать, направили. Прощения прошу за беспокойство. Имею честь кланяться. – Кобылкин почти насильно пожал руку Нейгофу и петушком побежал по проходу между койками. Отбежав несколько шагов, он возвратился и, наклоняясь к графу, шепнул: – А про паучка моего не забывайте... Знание этой – ну, как ее? – инсектологии, что ли, часто для нас, людей, не бесполезно... А за всем тем до свиданья.

Он ушел.

– Надоедливый старик! – чуть не крикнул

ему вдогонку Нейгоф. – Что ему было нужно от меня?.. А Софья, Софья! Милая, несравненная, – шептал он, – такая же несчастная и отверженная, как и я... Только бы мне выздороветь!.. Уж я знаю, что мне делать...

XI

В чадy любви

С этого дня выздоровление графа быстро пошло вперед. Нейгоф чувствовал это и радовался.

«Скоро я снова буду на свободе! – мечтал он. – О, как хочу я теперь жить, как манит меня жизнь!.. Как хороша она!»

– Граф, да чего вы так рветесь на волю? – спрашивал его Барановский. – Полежали бы у нас подольше.

– Как чего? – вспыхивал Нейгоф. – Разве там, на воле, плохо? А у вас – та же тюрьма.

– Уж и тюрьма! Нет, граф, больница – не тюрьма!.. Поглядите на себя, что она с вами сделала, какой вы пришли и каким уйдете.

– Я понимаю, что вы хотите сказать... Да, пожалуй, вы правы, – с горечью в голосе ска-

зал Нейгоф. – Чем я был в эти одиннадцать лет? Когда я оглядываюсь назад, на это свое прошлое, меня охватывает ужас. Одиннадцать лет жил на дне! Брр...

– Я боюсь, как бы вы опять не опустились на него.

– Никогда! Доктор, голубчик, если бы вы только могли заглянуть мне в душу, вы увидели бы, что я действительно стал совсем другим!

– Да, перемена в вас очень заметна. Только тут, думается мне, наша больница совершенно ни при чем... Тут виновник кто-то другой.

– Что вы хотите этим сказать? – смутился Нейгоф.

– Ну-ну, – ласково потрепал его по плечу Барановский. – Не буду, не буду. Ведь я, кажется, в самую деликатную жилку попал? Простите тогда. А все таки это хорошо, я искренне рад за вас! Тело ваше воскресло с нашей помощью, дух же воскрес с помощью чего-то другого, более нежного, более возвышенного. Теперь вам остается, воскреснув, не умирать снова... Но что это? Вы плачете?

Глаза Нейгофа действительно наполни-

лись слезами.

– Да, я плачу! – воскликнул он. – Плачу и несколько не стыжусь своих слез! Скажите, зачем вы, чужие люди, так добры ко мне?

– Да зачем нам быть к вам злыми?

– Не то... Ведь, знаете ли, семья меня отвергла... От меня отказались из-за сущих пустяков кровные родные; чтобы отомстить им, я стал бродягой, отребьем человеческим.

– Фу, какая глупость эта ваша месть! Видно, вы были тогда очень молоды.

– Мне было тогда двадцать пять лет. Но не в том дело, пусть это было глупо, пусть так. Дело в том, что никто из тех, кого называли когда-то моими родными, пальцем не шевельнул, чтобы заставить меня вынырнуть на поверхность. А между тем вот совсем чужие, как вы, и...

Он оборвал фразу и смолк.

– И эта молодая особа, которая навещает вас здесь? – сказал Барановский.

– Да, и она... Она – чужая мне... А между тем, если я не вернусь туда, где был доселе, этим я обязан ей.

– И дай вам Бог всего хорошего! – с чув-

ством произнес доктор. – Я до сих пор не верил в подобного рода лекарства, а теперь вижу воочию, что любовь – радикальное средство для тяжелейших болезней духа.

За все время разговора слово «любовь» было упомянуто впервые.

– Доктор! – страстно заговорил Нейгоф. – Вы добры ко мне... вы поймете меня... Я, право, не знаю, что со мной... Последнее время я живу как в тумане. Он все застилает, и сквозь него я вижу ее, только ее одну... Вы говорите, это – любовь? Не знаю. Прежде со мной ничего подобного не было. Я не жил, а теперь чувствую, что живу, хочу жить... жить не так, как я жил раньше, а как живут другие... Если это – любовь, да будет она благословенна во веки! Но я не верю ни настоящему, ни будущему... Мне все это кажется сном, не может быть того, что есть...

– А чего именно?

– Вы знаете, она зовет меня... меня! Вот читайте!.. – и Нейгоф, вынув из-под подушки изящный маленький конверт, подал его доктору: – Читайте!

Барановский открыл конверт и вынул из

него надушенную записку. Она была от Софьи.

В ней ничего такого, что могло бы говорить о каком-то нежном чувстве, не было. Софья просто уведомляла Нейгофа, что по некоторым обстоятельствам она больше навещать его в больнице не может, а просит его, когда он выйдет, сразу навестить ее. Далее следовала приписка. Красавица просила графа никогда ни с кем не говорить о ней, и в особенности хранить в секрете получение этого письма.

– Что же вы тут находите особенного? – сказал Барановский, возвращая письмо. – Все естественно. А вот вы неделикатны. Вас просят хранить секрет, а вы выдаете его первому встречному.

– Как первому встречному? Кому?

– Да вот хотя бы мне.

– Доктор, грех вам! Какой же вы первый встречный? Разве я не обязан вам жизнью?

– Ничем не обязаны! Что же вы намерены делать? Конечно, пойдете?

– Пойду! Не могу не пойти. Если бы меня цепями приковали вот к этим стенам, я и-то

пошел бы!

– Ого, как вы! Смотрите, не только с цепями, а даже и с чем-либо более легким поосторожнее. Помните, ваше сердце далеко не в порядке, а сердце – такая нежная штучка, что неделикатного обращения не выносит. Случись что – и замрет, тут вам и капут! Берегитесь! Сильного нервного волнения ваше сердце не вынесет... вот и теперь... ишь, ведь как разволновался! Ну-ка, дайте пульс... – Лицо Барановского стало серьезным. – Так, так, – прощупал он пульсацию. – Теперь давайте сердце послушаю. Ничего опасного, а только я выпишу вам успокоительное и уйду. Так нельзя! Ложитесь и постарайтесь заснуть. Ну, до свиданья! Я ухожу!

Нейгоф попытался заснуть, но не мог. Воображение рисовало ему дивный мираж и делало его счастливым... Мечты и грезы, одна другой краше, овладели им.

«Чем я был и чем стал! – думал он. – Да, мое прошлое – тяжелый сон, будущее тоже сон, но сон восхитительный... Она зовет меня... она! Да разве же это – не сон?»

Он вынул письмо Софьи и осыпал поцелуя-

ми дорогие строки.

Наконец Барановский нашел возможным выписать Нейгофа из больницы.

Граф, узнав это от доктора, поспешил написать об этом Софье и просил разрешения навестить ее, чтобы выразить свою благодарность за ее участие.

В ответ на свое письмо он получил короткую записку:

«Приходите, буду очень ждать. С.»

В день выписки графа вызвали в контору, и там оказалось, что чья-то неведомая рука приготовила ему необходимую одежду: приличное платье, теплое пальто. В одном из карманов Нейгоф нашел кошелек с достаточной для первого времени суммой.

Слезы благодарности выступили у него на глазах. Он понял, что это Барановский, сам живший на одно жалованье, позаботился о нем. И он не мог поблагодарить его! На все расспросы о Барановском ему отвечали, что «дикий доктор», поручив своих больных коллегам, ушел рано утром из больницы.

Зато, как только Нейгоф с удовольствием переделался из больничного халата в передан-

ное ему платье, перед ним появился Кобылкин.

– Честь имею поздравить, ваше сиятельство, с благополучным выздоровлением, – раскланялся он, – рад, бесконечно рад.

– Да вам-то что до этого? – сухо спросил его граф.

– То есть как это что? По-человечески рад. Приветствую! Счастья желаю! Уж вы, конечно, ваше сиятельство, на кобрановские огороды не вернетесь?

– Нет, не вернусь!

– И я думаю, что не вернетесь. Помилуйте, зачем же теперь кобрановские огороды? Фи! Грязь, склизь и босяки... – то ли дело маленькое, уютное гнездышко!.. И тепло в нем, и светло... А тут еще нежная голубка, с нетерпением ожидающая своего сизокрылого голубя... Какие уже тут огороды? Ну их!

– Послушайте, – разозлился Нейгоф, – что вам от меня надо?

– Вы сердитесь, ваше сиятельство, но как идет к вам этот гнев! А мне от вас ничего не надобно, как есть ничего! Это прежде, когда я, так сказать, на действительной службе состо-

ял, вы мне ох как понадобились бы, а теперь – был конь, да уездился... Посему не желаю вас гневить и спешу избавить от своего присутствия. Честь имею кланяться... Еще раз свидетельствую, что рад вашему выздоровлению, хотя вы как будто другой, более опасной, хворью заболели. Да это ничего, скоро пройдет! Только не позабудьте, ваше сиятельство, при сказки моей о паучке и паутинке. Не забывайте, что иной раз в жизни паучком-то и нежная голубка быть может... да еще каким паучищем-то! До свиданья! Заметьте, я не говорю «прощайте»...

Кобылкин еще раз поклонился Нейгофу и петушком отбежал от него.

ХII

КОШКИ И МЫШКИ

Нейгоф уходил из больницы с испорченным настроением.

«Почему я не осадил этого нахала? – думал он, выходя за ворота. – Что ему нужно?.. Какими-то загадками говорит!»

Однако это чувство изгладилось, как только граф оказался на улице. Городская жизнь сразу же захватила его. Людские волны струились вокруг неудержимым потоком. Шум, говор, стук экипажей, звонки конок сразу же оглушили графа, закружили его слабую голову.

«Всего, всего этого я был лишен столько лет!.. – с горечью думал он. – Зачем? Что я доказал? Ничего! А ведь думал напугать, устрашить, мечтал, что придут ко мне, будут умолять возвратиться. Никто не пришел! А мне понадобилась чуть ли не могила, чтобы снова стать похожим на человека».

Граф взял извозчика, приказал ехать по тому адресу, который был указан в письме Со-

фьи, и через несколько минут уже был у квартиры Шульц.

После похорон Козодоева Софья переехала на другую квартиру, даже на другой край города, так что ничто не могло напомнить Нейгофу об обстоятельствах, при которых они впервые встретились.

– Софья Карловна дома? – спросил он у отворившей ему на звонок горничной.

– Пожалуйста, – с улыбкой ответила горничная, – барышня ожидают.

– Софья Карловна одна? – с тревогой спросил Нейгоф, опасавшийся, что кто-нибудь посторонний помешает ему высказать-то, что он надумал, лежа на больничной койке.

– В настоящее время одна, – последовал ответ, – да и в другое время у них никто не бывает.

– Граф, граф! – раздался из прихожей голос Софьи. – Ведь это – вы? Входите же!

Точно что-то бросило вперед Нейгофа. Он услышал ее голос, он сейчас увидит ее!

– Входите! – еще раз позвала Софья, издали протягивая Михаилу Андреевичу обе руки. – Какой вы добрый, не забыли!

– Я? Забыл вас! Это невозможно! – возразил Нейгоф и припал с поцелуем к руке красавицы.

Они прошли в уютную гостиную, скромно, но со вкусом обставленную.

– Садитесь, – предложила Софья. – Дайте мне поглядеть на вас. Батюшки, да вас узнать нельзя!

– Переменился? – улыбнулся Нейгоф.

– Просто до неузнаваемости!

– Да, Софья Карловна, да! – проговорил Михаил Андреевич, присаживаясь в кресло у преддиванного столика. – Я действительно переменился, и переменился к лучшему... к безмерно лучшему... Я сам вижу, какая пропасть легла между тем, чем я был до свидания с вами, и тем, чем я стал теперь, благодаря вам!

– Граф! – остановила его Софья. – Ведь мы же условились не вспоминать этого.

– Я не могу молчать... мне сердце подсказывает слова...

– Оставим это. Вы поправились, покинули больницу. Не будет с моей стороны нескромностью, если я спрошу, что вы теперь

намерены делать?

– Не знаю, – сознался граф.

– Как же это так не знаете? Право, я не могу поверить. Неужели вы вернетесь в ту среду, откуда вас только что вырвала судьба?

Граф грустно поглядел на Софью и с горькой улыбкой произнес:

– Может быть! Все зависит...

– От чего? – быстро спросила Софья.

– От того, какой оборот примет дело, которое я задумал в дни своего выздоровления.

– Какое же это дело? – Софья даже наклонилась к Нейгофу, с нетерпением ожидая его ответа. – Вероятно, какая-нибудь новая фантазия? Полно, Михаил Андреевич, бросьте свои замыслы!..

– Нет, Софья Карловна, нет! – то, что я задумал, действительно – фантазия, несбыточные грезы, красивые мечты... Но я вот уже столько времени сплю наяву, Софья Карловна! И хочу, чтобы этот сон длился без конца, всю мою жизнь, или оборвался, и чтобы страшная действительность вновь поглотила меня... поглотила на этот раз без возврата...

– Вот вы какой?! – протяжно произнесла

Софья. – Но что же нужно, чтобы этот ваш сон продолжался?

– Многое нужно! – ответил граф.

Глаза Софьи загорелись. Ее красивое лицо на миг приняло хищническое выражение, но тут же она стала прежней и спокойно спросила:

– Что?

– Софья Карловна! – воскликнул Нейгоф. – Я...

Резкий звонок в передней заставил его смолкнуть.

– Кто это там? – вздрогнула Софья. – Я приказала никого не принимать... Настя!

– Барышня, – вбежала горничная, – там вот их, кажется, – указала она на Нейгофа, – спрашивают. Старик какой-то... строгий такой!

– Какой старик? – поднялась с дивана Софья. – Кто?

– А это я! – появилась в гостиной округлая фигура Кобылкина. – Я! Имею честь кланяться! Простите, мадемуазель Шульц, что я так неделикатно! Ничего не поделаешь: экстренно нужно... Ба, ваше сиятельство! Я так и знал, что вы меня обгоните. Вероятно, на ли-

хаче изволили примчаться?

– Как вы смели ворваться сюда! – воскликнула Софья. – Кто вы такой?!

– Я-то? Да ведь кто я – это вам, мадемуазель Шульц, хорошо известно... да и его сиятельство тоже меня знает, так что всякие представления и тому подобное считаю излишними церемониями.

– Граф, да защитите же меня! Вы видите! – кинулась к Нейгофу Софья.

Граф и без ее просьбы со сверкающими глазами и сжатыми кулаками подходил к Мефодию Кирилловичу.

– Если вы не уйдете сами, – хриплым от негодования голосом крикнул он, – я вышвырну вас за дверь!

– Это меня-то? Совсем, ваше сиятельство, этого не нужно. Пожалейте вы мои старые кости... Вышвырнете – их после и не соберешь.

– Вон! – с еще большим гневом крикнул граф.

– Уйду-с... уйду-с... Сам знаю, что незваный гость хуже татарина... Только я, собственно говоря, не к этой прелестной дамочке явился, – кивнул Кобылкин на Софью, – а к вам...

Вопросец один не успел я вам предложить, когда в больнице встретились... Больно уж вы там величественны были!

– Что за вопрос? Или вы не понимаете всего неприличия своего поведения?.. Имеете вопрос ко мне и врываетесь в чужую квартиру!..

– Неприлично-с это, что и говорить! Да где же бы иначе я вас застал? Определенного места жительства вы пока не имеете, а что здесь я вас найду, это я прекрасно знал... Так вот, ваше сиятельство, будьте милостивы, ответьте мне, и я оставлю вас в покое.

– Софья Карловна, – обратился Нейгоф к хозяйке, – вы позволите? Мой ответ, кажется, единственный способ отделаться от этого господина.

– Верно изволили сказать. Вот и мадемуазель Шульц так же думает: головочкой кивнула, стало быть, вам, ваше сиятельство, можно мне ответить. Скажите, не были ли вы в гостях у Евгения Николаевича Козодоева вечером, перед тем как вас отправили в больницу? Мадемуазель Шульц, что это с вами?

Софья вскрикнула, как только Кобылкин задал свой вопрос.

Граф бросился к ней, но Кобылкин удержал его.

– С этой успеется, – властным голосом сказал он. – Были или не были?

– Прочь! – отмахнулся Нейгоф.

– Был или не был? – совсем грозно наступил на него Кобылкин.

– Был! Пустите!

– И водочку пили, и разговоры по душам разговаривали?

– Да, да! Пустите же, иначе я ни за что не ручаюсь! – Нейгоф, наконец, вырвался от Кобылкина и бросился к Софье. – Дорогая, успокойтесь! – растерянно произнес он. – Вы все еще здесь? – обернулся он в сторону стоявшего у дверей Кобылкина.

– Исчезаю-с! В момент исчезаю-с! Совет да любовь! Имею честь кланяться, желаю провести время с пользой и, главное, не забывать моей сказочки! – и Мефодий Кириллович вышел, оставив графа около плачущей Софьи.

XIII

Объяснение

Выходя, Кобылкин на минуту задержался у порога с вышедшей запереть за ним двери миловидной горничной.

– Цветик лазоревый, свет Настенька, – шепнул он ей, – от женишка вашего Афанасия Дмитриевича нижайший поклон вам!

– А вы, господин, откуда моего Афоньку знаете? – зарделась девушка.

– Знаю уж! Помалкивайте только... Велел он спросить, когда навестить его, купидона вашего, думаете?

– Ах, какой срам! – заволновалась Настя. – Чужие люди про нашу любовь говорят!.. Скажите, завтра к вечеру забегу.

– Ладно, так и передам. А теперь к барышне спешите.

Дверь захлопнулась.

Мефодий Кириллович с минуту постоял на площадке, почесывая в задумчивости переносицу.

«Пригодится девчурка-то, – думал он. – Ладно»

но я сделал, что Афанасия этого успел к рукам прибрать. Теперь свой верный человек при Шульчихе будет. А граф-то, граф! Хорош! Со- всем опутан, попался в тенета. Только теперь я убедился, что Козодоева убил не он, и что Шульц с товарищами к оному делу ручки свои приложила. Она, она! Это ясно как божий день... Только кто эти товарищи? Ловко дело ведут: ни с какой стороны комар носа не подточит... А я вот возьму и подточу! Только придется этого графа предать на волю его собственной участи... пусть в паутине запутается... Вот тогда-то все наружу и выплывет».

Рассуждая так сам с собою, Кобылкин спустился с лестницы, но со двора не ушел, а скрылся под находившимся напротив крыльцом. Там он поднялся по лестнице на третий этаж и позвонил у дверей одной из квартир. Его впустили туда после звонка, как человека, хорошо известного и даже пользующегося уважением.

Нейгоф, как только ушел Кобылкин, сейчас же позабыл о его существовании.

– Софья Карловна, милая, бесценная! Да успокойтесь же, – бормотал он, опустившись

на колени около судорожно рыдавшей Софьи.

– Тяжело! Ох, как тяжело! – судорожно вздрагивала она. – За что это? Что я сделала?

– Забудьте! Ну, стоит ли, родная, так расстраиваться из-за всякого...

– Не из-за всякого, граф. Вы знаете, кто это? Он ворвался, ворвался смело... Этому человеку известно, кто я, и он не считает нужным даже скрывать свое презрение.

– Голубушка, да что вы говорите? Что может знать этот человек? Что?

– То, что я одинока, беззащитна... Одна, одна... безродная... за меня заступиться никому... Одна я, одна на этом свете! Ни отца, ни брата, никого...

– Софья Карловна, дорогая моя, позвольте мне...

– Нет, погодите, граф, – остановила графа Софья, – дайте мне говорить... Да, граф, никого!.. Умер Евгений Николаевич, и опять я – всеми покинутая, никому не нужная босоножка... Как в детстве... прошлое вернулось! Пршлое все-то же, только в другом виде... Тогда, в детстве, меня бил, трепал, щипал всякий, кому было не лень, теперь-то же: прихо-

дят, оскорбляют кто хочет, когда хочет... Ох, как тяжело!..

– Полно, не смотрите на жизнь так мрачно! – пробовал утешить ее Нейгоф. – Не создадите ли вы сами себе ужасов?

– Нет, граф! Ах, если бы вы только знали!.. Ведь этот ужасный человек не первый раз преследует меня... Вы слышали: он говорит мне дерзости, когда я их ничем не заслужила; он делает какие-то пошлые намеки, когда вся моя жизнь чиста, если не вспоминать моего несчастного детства... Да и в нем нет ничего, что могло бы опорочить меня. Голод, нищета – разве была я в них виновата? А между тем я расплачиваюсь за свои прежние беды... И нет для меня выхода из страшного заколдованного круга, созданного моим несчастным прошлым.

Она опять заплакала. Нейгоф почувствовал, что и у него на глазах выступили слезы. Он взял руку Софьи и поцеловал ее. Софья не сопротивилась.

– Граф! – вдруг воскликнула она, услышав, что часы пробили три. – Вы не обидитесь... у меня просьба к вам...

– Приказывайте! – встрепенулся Нейгоф.

– Оставьте меня, уйдите...

– Вы меня гоните! – упавшим голосом произнес граф.

– Нет, нет! Приходите после... вечером... прошу вас! Я хочу успокоиться... побыть одна. Вечером, вечером, граф! Я жду вас, непременно явитесь! Вы не сердитесь на меня? Да?

– Я понимаю вас, – кротко ответил Нейгоф, вставая и беря шляпу, – я сам глубоко несчастен, меня тоже оскорбляли люди... Я понимаю все.

Он поклонился и пошел к дверям.

– Пойдите, – остановила его Софья. – Дайте слово, вы не сердитесь? Придете?

– Да, приду.

– Смотрите же, я буду ждать... Я расстроюсь, если вы не придете. А теперь ступайте и... возвращайтесь.

Граф ушел.

Сразу же после этого Софья подошла к зеркалу, внимательно осмотрела себя и вдруг рассмеялась.

– Однако! – сказала она себе. – Я и не знала, что у меня такой драматический талант. Бра-

во, bravo! Стасик будет доволен... Настя, Настя!

– Что прикажете, барышня? – появилась горничная.

– У меня сегодня должен быть Станислав Федорович... Чего это вы улыбаетесь?

– Обрадовалась, барышня, столько времени их не видеть было.

– Станислав Федорович уезжал... Так вот, вы больше никого не принимайте, в особенности этого сегодняшнего старика. Как он меня расстроил!.. Чу, звонок! Это – Куделинский. Бегите, Настя, откройте!

Настя поспешила в переднюю.

Как только Станислав вошел, Софья бросилась к нему на шею.

– Стасик, милый! – радостно воскликнула она. – Наконец-то! Как я скучала!

– Уж будто и скучала! Думаю, на скуку у тебя и времени не было.

– Как же не было! Эти противные Квель и Марич покоя мне не давали со своими наставлениями, репетициями...

– Верю, – сказал Куделинский, входя с Софьей в гостиную. – Ну, птичка, чем ты меня

порадуешь? Как наше дело?

– Великолепно! Поверишь ли, он у меня вот тут, – сжала Софья в кулачок руку.

– Ого, какая ты у меня! Значит, еще немножко – и ты сиятельная особа.

– Не знаю.

– Как не знаешь?

– Так... Боюсь, помешают.

– Кто? Чего же смотрят Квель и Марич. Почему они не уберут помехи?

– Но ты знаешь, вмешался этот Кобылкин.

– Расскажи! – с досадою произнес Станислав.

Софья сообщила ему, что Кобылкин уже не раз оказывался на ее дороге. Она рассказала, как должна была уйти из больницы от Нейгофа и прекратить свои посещения из боязни встретиться с Мефодием Кирилловичем, о появлении которого в палате ее уведомили. Подала она и о том, как своим появлением Кобылкин помешал Нейгофу высказаться до конца.

– Я боюсь его, Стася! – закончила свой рассказ Софья. – Понимаешь, этот человек везде... Он глаз не спускает с этого графа.

– Вполне понятно, – заметил Куделинский. – Этот негодник пронюхал, что Нейгоф был у Козодоева, и подозревает его... Но ведь он бессилён! А все-таки нужно поскорее привести это дело к концу... Скорее, Софья, скорей, надевай на себя графскую корону... Спешь! Это главное; что будет после – увидим...

XIV

Роковой шаг

Слова Куделинского подействовали на Софью успокоительно.

– Милый, так ты не боишься? – воскликнула она.

– Чего? Кого? Уж не Кобылкина ли этого? Пустые страхи! Если я боюсь, так за тебя! Боюсь, что ты не выдержишь до конца своей роли.

Софья рассмеялась.

– Если бы ты, Стасик, посмотрел, – проговорила она сквозь смех, – как я играю эту роль!

– Хорошо?

– Без сомнения, могу сказать: бесподобно!.. Я вполне естественна.

– Или, может быть, чересчур естественна? – подозрительно посмотрел на Софью Куделинский. – Ты сказала: «вполне»? Ой, Сонька, смотри! Ты знаешь, что нас связывает? Берегись! Я не из тех, кто согласен на дележ!

– Милый, что ты хочешь сказать? Какой еще дележ ты выдумал? Уж не ревнуешь ли ты? Нашел к кому ревновать. Этот Нейгоф – мразь, слюнтяй! Он только и умеет плакать, а ты... – Она рассмеялась. – Ты пойми, – продолжала она, целуя Куделинского, – мы, женщины, ценим в вас силу, энергию. Мы любим того, кто силен, а этот трущобный граф... Тогда, босяком, он был отвратителен, теперь – жалок...

– Но тем не менее ты должна довести свою роль до конца!

– И доведу! Потому что люблю тебя... Неподражаемо сыграю ее, потому что ты этого хочешь... Но помни и ты: я хочу быть свободной. Вас трое, я одна; я для всех приношу себя в жертву, так и вы должны потом освободить меня...

– Не бойся! Ты, кажется, имела случай убедиться в способностях Квеля и Марича.

– Не вспоминай! – глухо произнесла Софья. – Ах, зачем вы меня тогда позвали!

– Ну, ну, – обнял ее Станислав, – это что же? «Зачем? К чему?» – все эти вопросы теперь излишни. Пойдем! Ведь Квель и Марич ждут меня не дождутся.

– Ах, да! Ведь ты только что приехал. Я и Нейгофа нарочно прогнала, когда пробило три часа.

– Умно сделала! Зачем нам теперь встречаться? Еще успеем познакомиться. Вот только как ты его прогнала?

– Прямо попросила уйти.

– Смотри, не испортила ли ты дела?

– Не бойся, прибежит, – небрежно сказала Софья. – Я ведь сказала, что держу его крепко... Ну, ехать так ехать! До вечера немного остается.

– А вечером что?

– Как что? Граф!

– Так! Скорее, Соня, скорее, птичка!.. Я съездил, узнал все. Недаром мы начали это дело! Еще немного – и мы будем богаты... понимаешь: богаты! Но путь к богатству лежит через графскую корону, которую ты должна надеть

во что бы-то ни стало.

– И надену! – задорно воскликнула Софья. –
Который раз я это говорю тебе!

Она была хороша в эти мгновения. Воодушевление придало блеска ее глазам, щеки разрумянились, тонкие ноздри раздувались, грудь вздымалась. Куделинский смотрел на нее с восторгом.

Через несколько минут Софья и Куделинский выходили из квартиры.

– Вы, Настя, – приказала Софья горничной, – когда придет этот господин, высокий, бледный, впустите его и попросите подождать... Только вот что... Пожалуйста, не вздумайте рассказывать ему о Станиславе Федоровиче; скажите, что я одна уехала.

– Помилуйте, барышня, – обиделась Настя, – будто я махонькая, не понимаю!

– То-то! Предупредить все-таки лучше... Больше никого не принимайте. Идем.

Они стали спускаться по лестнице.

– Нехорошо, Соня, что квартира с одним входом, да притом еще на двор, – заметил Куделинский.

– А что?

– Да мало ли на что второй ход может понадобиться? Впрочем, все равно: недолго осталось.

Куделинский был прав: квартира с одним надворным ходом имела свои неудобства.

Как только они пошли к воротам, во втором этаже флигеля напротив захлопнулась форточка, а минуты две спустя на дворе уже появился Кобылкин. Когда он выбежал на улицу, – то увидел, что Софья и Куделинский уже отъехали на порядочное расстояние на извозчике.

– Это что же за барин с барышней, жиличкой вашей, вышел? – спросил он у дежурившего у ворот дворника.

– А не знаю я, – ответил тот, – верно, знакомый какой... В первый раз его вижу... Расходились чего-то к барышне Шульц кавалеры сегодня!

– Да разве так много?

– Чего много! Второй! Допрежь этого не бывало. Барышня скромная, мужчинским духом и не пахло даже, а вот, поди...

Мефодий Кириллович слушал его, как говорится, в одно ухо.

«Никак, “злодей номер первый” на сцену выступил, – размышлял он. – Клубочек-то как будто разматывается. Что теперь делать? К Настюшке пойти? Нет, испугаешь девчонку и все испортишь, а я все равно через Афоньку, жениха ее, все, что нужно, выведаю и вернее узнаю, что за птица этот новый кавалер и как ему наименование. Интересно знать, как она вернется: одна или с ним же? Пойду займу свой наблюдательный пост, может, что и высижу».

Кобылкин вернулся в квартиру, где нарочно для того, чтобы следить за Софьей, снял комнату с окнами, находившимися как раз напротив окон Шульц.

В сумерки со своего наблюдательного поста он увидел, как прошел по двору к Шульц граф Нейгоф.

Михаил Андреевич весь этот день провел на улице. Он упивался кипевшей вокруг него жизнью, на которую до этого смотрел совсем другими глазами – глазами отверженца, видящего в каждом прилично одетом прохожем своего заклятого врага.

Впрочем, он успел подыскать себе сносное

помещение, и это обрадовало его, как радуется ребенка желанная игрушка. Но, несмотря на всю свою радость, он не мог дожидаться вечера и, как только стало смеркаться, поспешил к Софье.

Ее отсутствие показалось ему зловещим предзнаменованием; он хотел было уйти, но Настя решительно остановила его.

– Барышня прокатиться поехали, – объявила она и сейчас же солгала: – Плакали они очень, как вы ушли.

– Плакала?! – воскликнул Нейгоф.

– Да, очень! Так вот проветриться пожела-ли. А вас просили дожидаться их. Так и сказа-ли: «Пусть барин непременно ждет, я скоро буду!»

Однако Софья не особенно торопилась. Нейгофу довольно долго пришлось просидеть у нее в гостиной одному.

Было уже совсем темно, когда у входа раздавался звонок, и тотчас после него в гостиную впорхнула Софья, румяная, веселая, жизнерадостная.

– Граф, простите! – воскликнула она. – Я за-ставила вас скучать.

– Я не скучал, Софья Карловна, – пошел ей навстречу Нейгоф.

– Вот как! Вы, однако, не любезны, и я жалею, что вернулась домой так рано... Но, простите, сейчас! – Она скрылась из гостиной и вернулась уже переодетая в домашнее платье. – Настя, подайте нам чай, – распорядилась она. – Итак, граф, вы не скучали? Позвольте узнать, кто или что услаждало ваше одиночество?

– Мечты, Софья Карловна.

– Мечты! Всегда мечты! Я начинаю завидовать вам и жалеть о том, что не родилась мечтательницей... Тогда бы мое одиночество не тяготило меня... Научите меня, граф, как это мечтают?

– Софья Карловна, научить мечтать невозможно, но-то, что человеку кажется мечтой, иногда сбывается и наяву. Софья Карловна, сегодня вы уже не в первый раз вспоминаете о своем одиночестве...

– Да, да, и оно тяготит меня, – прервала его Софья. – Но вот чай, граф, прошу вас. Настя, кто бы ни спрашивал, меня нет дома... Понимаете? А теперь, граф, возвратимся к нашему

разговору. Уж не беретесь ли вы научить меня, как легче снести мне мое сиротство?

– Софья Карловна, – голос Нейгофа дрожал от волнения, – простите меня, я должен, наконец, высказаться. Вы знаете, какую жизнь я вел до сих пор, знаете, что теперь я беден, но, Софья Карловна, пока...

– Ах, граф, что такое бедность! – опять перебила его красавица, обжигая взглядом своих лучистых глаз. – Я с вами была достаточно откровенна, и вам известно, какую жизнь я вела в детстве.

– Потому-то я и осмеливаюсь говорить теперь... Я уверен, что вы поймете меня... Софья Карловна! Вот теперь, сейчас у меня есть единственное достояние – честное, ничем не запятнанное имя моих предков; я сохранил его даже в той страшной грязи, где был... Софья Карловна, позвольте мне отдать вам эту драгоценность, будьте моей женой!

Бледный стоял Нейгоф перед красавицей, протягивая ей дрожащие руки.

Софья молчала.

XV

На кобрановских огородах

Несмотря на то что зима уже установилась, на кобрановских огородах, среди пустырей за Обводным каналом, ежедневно производились работы. С утра появлялись толпы босяков, сторожа раздавали им метлы, лопаты, иные получали вороха рогож, и, запасшись всем этим, они шли к парникам, которые в мороз нужно было тщательно закрывать, а в солнечные, ясные дни освобождать от прикрытий.

Работа была не трудная, заработок ничтожный, но босяки шли на кобрановские огороды охотно, потому что здесь в сторожках и пустых парниках они всегда могли найти себе приют, укрыться от бдительного ока полиции, нередко появлявшейся здесь в целях поимки еще более темных, чем босяки, личностей.

В одно пасмурное утро на огородах кипела работа. Работники разбились на кучки по три четыре человека и работали живо, перекиды-

ваясь шутками и бранью.

– Эх, братцы мои, нет нашего Гусара, – вспомнил об отсутствовавшем товарище один из босяков, которого все называли Васькой Зуем.

– Нет, да и не будет, – отозвался другой. – Был Гусар, да вышел.

– Как не будет? Куда ему деться, кроме наших огородов?

– Постой, ребята, – остановил всех Зуй. – Ты почему это, Метла, знаешь, что Гусара больше не будет?

– А потому, что знаю, – огрызнулся Метла.

– Выслали его, что ли? – полюбопытствовал другой.

– Кабы выслали, так мы знали бы, – заметил Зуй, – слух бы прошел. Ну, Метла, куда Минька Гусар делся?

– А я почем знаю! – опять огрызнулся угрюмый босяк.

– Зря, стало быть, болтаешь... Вот намнем бока, так будешь знать!

– Было бы за что мять! А не за что, так я и сдачи дать могу!.. У меня... во! – поднял Метла вверх увесистый кулачище.

– Эй, вы там, «золотая рота»! – раздался окрик сторожа. – Чего пасти разинули? Живо за дело, а не то...

Видимо, «золотая рота» хорошо знала, что должно последовать за этим «не то». Несколько минут работа у босяков продолжалась.

– А все же любопытно, – вполголоса сказал Зуй, – где наш Минька теперь?

– В больницу его тогда отправили, – ответил сосед, – вишь, хворать вздумал; какие нежности при нашей бедности!

– В больнице его нет, – буркнул Метла, – я навещать бегал... Сказали, выписался и ушел.

– Да где же он тогда? – опять остановился Зуй.

– Черт его знает где! – отозвался Метла. – Только на Выборгской у огородников его тоже нет.

– Да пусть его пропадает совсем, чтоб ему пусто было! – проворчал Метла.

– И-то правда, – поддержал его Зуй, – ежели жив только, никуда не денется: сюда прибежит.

Разговор стих, но тем не менее любопытство было возбуждено. Товарищи вспомнили

о Миньке, и теперь казалось, что без него на кобрановских огородах чего-то недостает.

– Метла, – пристал к угрюмому товарищу Зуи, – а почему это ты выдумал, что Гусара больше не будет?

– Да его с дамой видели.

– Кого? Миньку Гусара?

Зуй даже лопату из рук выронил.

– Его самого! С чего это тебя вдруг прорвало?

Зуй раскатисто хохотал, схватившись руками за бока:

– Ох, уморил, до смерти уморил, сивый леший! Ребята! Слушай-ка!

Время близилось к первому утреннему перерыву работ, а потому сторожа не были страшны босякам. Услышав хохот Зуи, они быстро собрались вокруг него и Метлы.

– Чего гогочешь, рвань этакая? – раздавались удивленные голоса.

– Да Метла со смеху морит: слышь, говорит он, будто нашего Миньку Гусара с дамой видели.

– И с раскрасавицей... А сам-то он – что твой барин разодет: шляпа цилиндр и при

перчатках.

– Это Минька-то? Гусар наш?

Шум и крики, пронесшиеся по огородам, прервали этот разговор. От всех парников и гряд к сторожке, стоявшей у входных ворот, бежали люди. Сторожа громкими криками сзывали их сюда.

У сторожки уже собралась толпа босяков. Все стояли без шапок, и на лицах было написано крайнее удивление.

За воротами была видна карета, а среди толпы, резко выделяясь своим изысканно приличным видом, стояли мужчина и женщина.

– Батюшки! – заорал во все горло Зуй при виде посетителя. – Да ведь это Минька Гусар наш!.. Как взглянул я – сразу признал!

Нейгоф – это был он – услышал восклицание и, склоняясь к своей спутнице, тихо сказал:

– Видишь, Соня, помнят, узнают... А ты еще говорила, что я изменился до неузнаваемости. Братцы! – возвысив голос, обратился он к толпе. – Ухожу я от вас... совсем ухожу! Да, одиннадцать лет я с вами прожил и решил,

что проститься необходимо. Вот и явился сюда.

– Что же? Милости просим! – слышались восклицания одних.

– За честь спасибо! – выкрикнули другие.

– Вот она, босяцкая натура! – умилились некоторые. – Сейчас видно, что свой брат Исакий... Не вытерпел и прибег.

– Теперь пусть отвальную ставит! – перекричал один голос все остальные.

– Будет, будет! – добродушно рассмеялся Нейгоф. – Только погодите, братцы, хочу я слово сказать...

– Скорее, Михаил, – сквозь зубы проговорила Софья, – я уже достаточно налюбовалась этими типами, да и к тому же холодно!

– Сейчас, дорогая, сейчас, – нежно ответил ей Нейгоф. – Так вот что, братцы! Есть пословица у нас: «От тюрьмы да сумы не отказывайся»; так к этой пословице добавить нужно, что и от босяческого звания ни один человек не должен отказываться... Пути к нему ведут разные – и долгие, и короткие, а главный путь, идя по которому никогда в босяческое звание не попадешь, хотя и широк, да прохо-

жих много на нем, тесно очень. Чуть кто споткнется, соседи уже столкнуть норовят, не поддержать, а столкнуть; упавшим же людям только и пути, что в босяки. По себе это знаю. И редко кто, вот как я теперь, на прежнюю дорогу попадает. Трудно это... ой как трудно!.. Чудом разве назад выкарабкаешься. А для меня добрые люди нашлись. И воскрес человек, из мертвых встал! Это я воскрес. И вы можете воскреснуть, поддержитесь только.

– Куда уж нам! – вывернулся вперед Зуй. – Не про нас калачи горячи, масло масляно... А ежели с вами такое случилось, господин, так позвольте вас поздравить.

Он раскланялся, растопыривая свои красные ручищи.

– Спасибо!.. Есть, братцы, с чем меня поздравить! – ласково ответил Нейгоф. – Прежде всего, с тем, что ушел я от вас и никогда более не вернусь.

– Врешь! – проворчал Метла. – Теперь и я скажу: вернешься! Больно высоко залетел, как бы в лужу с высоты не сверзиться.

– А потом, братцы, поздравить меня нужно еще вот с чем. Через свое босячество я и сча-

стве себе великое нашел. Кабы не оно, босячество-то, так не видать бы мне счастья и радости как своих ушей. А счастье мое – вот оно! – указал Нейгоф на Софью. – Это – невеста моя, братцы, она-то меня на путь истинный ласковой, участием да словом добрым вернула.

– Урра! – заревели десятки голосов. – С наступающим законным браком честь имеем поздравить!

– Михаил, – заметила графу Софья, – кончай скорей эту сцену... я озябла. Мне, наконец, скучно!..

– Милая, еще одно слово. Зуй, Метла, подите-ка сюда!

Веселый и угрюмый босяки выступили вперед.

– Вот на отвальную, – высыпал им в пригоршни несколько золотых монет Нейгоф. – Это всем, братцы; веселитесь! Зуй и Метла должны на всех поровну разделить.

– Чего делить! – воскликнул Зуй. – Пропьем все... все до копейки у твоего же приятеля, Сергея Федоровича, вот тебе и дележ!

– Ваше дело! – засмеялся Нейгоф. – Только лихом не поминайте.

– А ты что же? Не пьешь? – любопытствовал Метла.

Нейгоф отрицательно покачал головой.

– Неужто бросил? Так-таки маковой росинки не пропускаешь? Ведь куда как жаден до зелья был.

– Был, да! – согласился Нейгоф. – А что было, – то прошло и вновь не возвратится. Прощайте, братцы! – вдруг поклонился он в пояс всей толпе оборванцев. – Виноват чем пред вами – простите великодушно. Прощайте! – Он поклонился снова и, выпрямившись, сказал: – Пойдем, Соня!

На глазах Михаила Андреевича блестели слезинки. Софья заметила их и с досадой отвернулась. Они пошли к карете.

Толпа оборванцев, к которым присоединились и огородные сторожа, двинулась за ними. Когда карета тронулась, все эти люди побежали за нею, и их «ура» не смолкало, пока экипаж не скрылся из виду.

– Теперь, братцы ребята, – заорал Зуй, – марш все к Сергею Федоровичу в чайную! Вот они, капиталчики-то сердечные! – забрякал он монетами. – Пропьем все во здравие друга

разлюбезного, Миньки Гусара... А работа, ну ее! Все идем, всем дано, все и пропивать будем! Веселись, душа босяцкая.

Через несколько минут чайная Сергея Федоровича уже была полна народом, и в ней появилось разливное море водки. Босяки все более хмелели.

– А как теперь Миньку Гусара по-новому зовут? – спросил у веселого Зуя Сергей Федорович, узнавший о всем происшедшем на кобрановских огородах.

– А кто его там знает, – легкомысленно ответил Зуй. – Как-нибудь да зовут.

Сергей Федорович отошел от него довольный и зашептался в уголке со своим подручным Дмитрием:

– Видно, повар-то не врал. Минька Гусар и в самом деле граф выходит. Эх! Жив не буду, а его настоящую имя-фамилию узнаю!.. Тогда и все дело, которое я задумал, в шляпе будет! Можно здорово будет руки погреть!

XVI

Супружеское счастье

Нейгоф и Софья обвенчались втихомолку. В том доме, где жила невеста, о свадьбе даже и не подозревали, хотя посещения Нейгофа были замечены и вызвали немало толков.

Молодожены после венца сразу же отправились на Николаевский вокзал и умчались со скорым поездом в Москву, как это заранее было условлено.

В их отсутствие Настя должна была переменить квартиру, обставиться, устроиться так, чтобы «молодые» могли явиться в свое никому не известное новое гнездышко и зажить мирной, полной покоя жизнью.

И Софья, и Нейгоф не знали, не видели, не чувствовали, что за ними постоянно следит недреманное око Мефодия Кирилловича.

Они были еще в церкви, где шел обряд венчания, а Кобылкин уже угодничал перед лицом, выдающим брачные записи.

– Осведомиться нельзя ли? – раскланялся он. – Кто шаферами у брачащихся графа Ней-

гофа и девицы Шульц?

– А вам зачем?

– Очень нужно-с! Ах, если бы вы знали, как нужно!

Книга, куда только что была внесена брачная запись, оставалась раскрытой, и Кобылкин не спускал с не просохших еще строк своего упорного взгляда.

– Да вы-то родственник, что ли, будете? – последовал новый вопрос.

– Мм-да! – протянул Мефодий Кириллович. – Конечно, родственник, если считать родство по линии праотца Адама.

– Чужой, стало быть, и даже, как водится, брачащимся незнакомый! Тогда нельзя!

Книга была захлопнута.

– Жаль-с! Очень жаль, но делать нечего... Прощения прошу за беспокойство, – откланялся Кобылкин и вышел в садик ограды. Там он подошел к фонарю и, вытянув манжету, при свете его сделал на ней карандашом пометки. – Шаферов трое, трое, трое, – шептал он. – Дворянин Владимир Васильевич Марич, еще дворянин Станислав Федорович Куделинский и мещанин Антон Антонович Квель.

Трое... Трое! Куделинского я знаю – старый знакомый!.. Настюшка – молодец девка, ничего не скрывает!.. Трое – Шульц четвертая... Трое, трое и одна, – промурлыкал он вполголоса. – Так... Я как будто на следу!

Он на улице дождался выхода новобрачных и наблюдал за ними и за их шаферами до того момента, когда они сели в московский скорый поезд.

Нейгоф был бесконечно счастлив, но к его счастью примешивалось чувство некоторого душевного беспокойства.

Софья заметила это.

– Что с тобой, Миша? – спросила она, когда они остались одни в купе.

– Ничего как будто, дорогая, кроме того, что я бесконечно счастлив.

– Нет, я вижу другое. Тебя что-то беспокоит.

– Устал, – попробовал отговориться Нейгоф.

– Не верю! Михаил, теперь я твоя жена... Между нами отныне не должно быть никаких тайн, секретов.

Граф не отвечал.

– Ну же, Михаил, не порти мне этого дня своей неискренностью! Говори прямо, откровенно, что с тобой? Или ты раскаиваешься, что женился на мне?

– Раскаиваюсь, – чуть слышно произнес граф.

– Несколько позднее раскаяние! – со смехом произнесла Софья. – Об этом вам, граф Михаил Андреевич, следовало подумать раньше... Но все-таки можно узнать причину вашего раскаяния?

– Соня, милая! – воскликнул Нейгоф. – Если бы ты только знала, что у меня на душе!..

– Что же именно?

– Ах, Соня, ад крошечный!

– Удивляюсь, что вы за человек! – пожалала плечами Софья. – Вас нельзя понять... – то рай, – то ад... Не разберешь даже, который из них когда в вас пребывает.

– Ты жестока! – простонал Нейгоф.

– Кажется, скоро будут слезы? – перебила его графиня. – И это в первые часы после венца! Право, теперь и я начинаю раскаиваться, что вышла за вас... Итак, двое кающихся налицо... Недурно для начала!..

– Пойми меня, Соня! – взволнованно заговорил граф. – Ты чуткая, добрая, ты все сейчас поймешь...

– Но пока ничего не понимаю, а только вижу, что вы плачете! Пожалуйста, вот мой платок! Потом, у меня с собой валерьянка, спирт... Я как будто предвидела подобную сцену.

– Не надо, Соня, таких слов, умоляю, не надо!

– Но вы все-таки должны сказать, чем я вам не угодила?

– Не ты, дорогая, бесценная, вовсе не ты! Я сам себе не угодил... Войди в мое положение, погляди на меня со стороны. Ведь не мы вместе, а я при тебе... Понимаешь, что я хочу сказать: я при тебе-то же самое, что твоя Настя, кучер...

– Не понимаю, ничего не понимаю!

– Ну как же не понимаешь? Ты взяла меня. Вспомни, я живу на твой счет с того дня, как вышел из больницы. Все – твое! Ты тратишь на меня свои деньги, тратишь щедро... Даже тогда, на огороде, я этим несчастным людям дал твои деньги. А я... я по-прежнему – нищий

И... И...

– Ах, вот ты про что! – воскликнула ласковым голосом Софья. – А я-то думала!.. Ах ты, дурашка милый!.. И это тебя могло взволновать? Да разве все, что есть у меня, не твое? А мне покойный Козодоев по завещанию оставил все свое состояние. Тебе это известно?

– Нет!

– Так вот теперь знай! Ты – мой, мой навеки... Мы крепко связаны и нашим грустным прошлым, и сегодняшним днем. Не смей беспокоить меня своими глупыми бреднями!

– Соня! – воскликнул граф. – Так вот ты какая добрая!

– Нет, ваше сиятельство, нет, злая я, страшная, свирепая! Вот я вас накажу сейчас, строго накажу, чтобы вы не смели обижать меня в будущем! – воскликнула Софья, и ее руки обвились вокруг шеи мужа, а на его лоб, щеки, губы посыпались горячие поцелуи.

Нейгоф чувствовал, что все купе кружится перед его глазами. Стук колес звучал где-то совсем далеко; восторг, невыразимое блаженство широкой волной вливались в его душу.

– Ну, довольно! – отпустила его Софья. –

Что, милостивый государь? Видите, какая я злая?

Михаил Андреевич опустился перед ней на колени и с благоговением прильнул губами к ее руке.

– Ненаглядная, счастье мое, – задыхаясь от волнения, шептал Нейгоф.

– Что теперь: рай? ад? – засмеялась Софья.

– Рай! Восхитительный рай!

– Прекрасно, очень рада! А теперь, ваше сиятельство, нет ли еще вопросов, которые могли бы мне грозить повторением устроенной сцены? Лучше сразу разрешить все.

– Есть, Соня, – ответил граф. – Ты только не сердись... Ответь мне прямо, как это достойно твоего сердца.

– Без предисловий, я жду!

Голос Софьи теперь был резок и даже груб.

– Видишь ли, Соня... Ты не подумай, что у меня на уме что-нибудь дурное... Нет, нет! Но все-таки мне хотелось бы знать, кто эти молодые люди – Куделинский, Марич, шафера... в особенности Куделинский...

Софья опять рассмеялась, но на этот раз не так искренно.

– Это мне нравится! – воскликнула она. – Мой супруг уже ревнует!..

– Соня! – попробовал остановить ее Нейгоф.

– Да что тут! Ты спроси, сколько раз я видела этих господ? Марича я вижу всего второй раз в жизни, а Куделинского видела чаще... Это клиенты моего покойного благодетеля... Они бывали у него, так как же я могла не видеть их? Я никогда не говорила с ними иначе, чем с гостями. Если я пригласила их быть нашими шаферами, – то лишь потому, что ничего более не знаю. А эти люди мне хоть по фамилиям известны... Третьего, Квеля, я совершенно не знаю... А ты... ты... ревнуешь меня, свою молодую, маленькую женушку, к первым встречным... Грех тебе!

И вдруг Софья заплакала.

– Милая, да я не хотел обидеть тебя! – воскликнул граф и заплакал сам, стоя на коленях и смотря на жену снизу вверх влюбленными глазами.

– Станция Любань! – раздался у дверей купе окрик кондуктора, сразу нарушивший идиллическое настроение супругов. – Поезд

стоит двадцать минут!

– Мы выйдем, – встрепенулась Софья. – Право, ты обидел меня, Михаил.

– Дорогая, разве я хотел...

– Все равно!.. Я прощаю тебе, потому что ты не знаешь меня. Но в будущем воздержись. Мне... очень больны твои подозрения.

Замигали фонари станционной платформы. Задрезжали свистки. Поезд стал. Михаил Андреевич и Софья вышли из вагона, и тут же Нейгофу бросилась в глаза красивая, самоуверенная физиономия Куделинского, разговаривавшего с начальником станции.

Станислав Федорович увидел их.

– Верный дружка все-таки проконвоировал молодого князя и княгиню! – воскликнул он, бросаясь с объятиями к Нейгофу. – Хорошо доехали?

– Вы как здесь? – удивился граф.

– С этим же поездом... вскочил в вагон после третьего звонка... Двойная плата и прочие пустяки. Зато убежден, что все благополучно... Софья Карловна, ручку!

Нейгоф невольно устремил взгляд на Софью. На ее лице было недовольное, даже

брезгливое выражение.

– Михаил, вернемся в вагон, – произнесла она, беря под руку мужа.

– Но ты хотела прогуляться?

– Нет, холодно! Прошу тебя. Мое почтение, месть Куделинский!

Она первая вошла в вагон. Граф, холодно простившись со Станиславом Федоровичем, последовал за ней.

Куделинский остался на платформе.

– Ай да Сонька! – проговорил он вполголоса. – Ну и молодец! Какое самообладание! Посмотрим, что это она мне в руку сунула?

Он разжал ладонь. Там был клочок бумаги.

«Больше не показывайся. Опасно. Теленок брыкается. Справлюсь одна!» – было написано на нем.

XVII

Игра с огнем

Поезд уже скрылся в ночной мгле, а Куделинский все еще стоял на платформе и смотрел ему вслед.

«Да, – думал он, – игра заканчивается... выигрыш почти в наших руках... в наших, в наших... Но почему не в одних моих?»

Неожиданное прикосновение к плечу заставило его вздрогнуть.

– Не вы ли господин Куделинский, Станислав Федорович, будете? – раздался позади него мужской голос.

Станислав обернулся и увидел станционного телеграфиста.

– Да, я Куделинский, – объявил он.

– Из Петербурга? – последовал новый вопрос.

– Да? Вам – телеграмма... вслед отправлена. Пожалуйста в контору.

Телеграфист и Куделинский прошли в вокзал.

В телеграфной конторе Станиславу Федо-

ровичу была передана телеграмма. Взглянув на нее, он побледнел.

– Не хотите ли воды? – любезно предложил начальник телеграфа, заметив перемену в лице адресата.

– Нет, благодарю вас, – приходя в себя, ответил Куделинский. – Скажите, когда проходит курьерский?

– В Москву?

– Да.

– В двенадцать ночи.

– А ближайший поезд в Петербург?

– Чудовский, в четыре утра с минутами...

– Благодарю вас. Кажется, здесь я могу на воздух выйти? – указал Станислав Федорович на дверь, противоположную той, через которую он вошел в контору.

– Можно и здесь, хотя это, так сказать, служебный ход... Но все равно... Павел, отвори господину!

Куделинский очутился на морозном воздухе.

– Проклятый, проклятый! – гневно шептал он, шагая по платформе. – Ведь так все может погибнуть... Он следит не за нами, а за этим

кисляем, но может наткнуться и на нас. Тогда все пропало! Э, да ничего! Смелее, Станислав, игра стоит того, чтобы из-за нее сжечь еще одну свечу... Смелей! Но как лучше действовать? Этот Кобылкин – продувная бестия...

Куделинский задумался.

Не он один в скором поезде провожал чету новобрачных. Когда поезд тронулся, на платформу заднего вагона с противоположной стороны вскочил Кобылкин.

– Куда? – кинулся к нему тормозной кондуктор. – Нельзя так!

– Те-те-те! Как же это, милый человек, нельзя? – возразил Мефодий Кириллович. – Если я здесь, стало быть, можно!

– По правилам не полагается... Непорядок-с! – заговорил тормозной. – К старшему пожалуйте!

– Зачем, друг сердечный?

– Представить вас необходимо... Не сталкивать же!

– Зачем сталкивать? Я законный пассажир, не «заяц» какой-нибудь... Удостоверение на проезд до Любани от начальника станции имею.

– Так зачем же прыгать-то?

– А так нужно было. Ведь при этом вагоне есть служебное отделение?

– Есть.

– Так проведи ты меня в него так, чтобы ни одна живая душа запаха моего не почувствовала... Можно?

– Отчего нельзя? – смягчился тормозной, почувствовав в своей руке серебряную монету. – Можно. Вот только как старший да контроль...

– Все на себя принимаю. Ничего тебе за это не будет, разве похвалят.

Вторая монетка быстро рассеяла все страхи кондуктора.

– Ин, будь по-вашему, – согласился он, – пойдете; служебное у самых дверей. Пройдите – никто не увидит.

Вскоре тормозной убедился, что так озадачивший его своим появлением пассажир – птица не из мелких. Контрольный чиновник и старший поездной кондуктор, после разговора с ним, относились к нему почтительно. Контролер любезно улыбался и пожимал старику руку, старший говорил с ним, по-воен-

ному прикладывая пальцы к тулье своей фуражки.

В Любани Кобылкин сошел с поезда.

«Те-те-те! – воскликнул он про себя, наблюдая из дальнего угла перрона за встречей Нейгофа и Софьи с Куделинским. – Что за актеры! Какое самообладание!.. На такую мастерскую игру не только графа можно словить... Чужие, совсем чужие, а на самом деле...»

Однако Кобылкин все-таки был озадачен.

«Зачем эти проводы понадобились? – размышлял он. – Что не без цели они – это ясно, но зачем, зачем?»

Как ни работала мысль старика в этом направлении, ни к какому выводу он не приходил.

«Поживем – увидим, – решил он, – не здесь, так в поезде, когда “зверек”-то мой в Питер возвращаться будет... Как-нибудь заговорю и всего прощупаю... Он-то меня не знает, значит, и таиться не будет...»

Размышляя так, Мефодий Кириллович обошел вокзал и со стороны московских поездов пробрался через комнаты первого класса в бу-

фетный зал. Там он уселся в дальнем углу, откуда было видно все, что делалось в зале. Прошло немного времени, входная дверь с московской стороны распахнулась, и в зал вошел Куделинский.

«Посмотрим, – насторожился Кобылкин, которому в это время слуга подал чай. – Ишь ведь, к буфету идет... вина ему подали – пьет-то как! Будто на совести ни единого пятнышка нет... Теперь куда?»

Станислав Федорович с равнодушным видом прошелся по залу, а потом направился прямо к столу, за которым сидел Кобылкин.

– Вы позволите? – приподнимая шапку, произнес он и указал на место напротив Кобылкина.

– Пожалуйста, пожалуйста! – растерялся тот, ошеломленный таким поворотом событий.

Куделинский сел.

– Откройте, – показал он слуге на одну из стоявших на столе бутылок с вином. – Положительно ничего не может быть тоскливее, – обратился он вдруг к Кобылкину, – этого ожидания поездов!

– А вы далеко изволите ехать?

– Н-да, порядочно... Много еще впереди вот таких буфетов; страх берет просто! – засмеялся Куделинский.

– Действительно, эти буфеты, доложу я вам, дадут себя знать... А вы здешний изволите быть? – вдруг спросил Кобылкин.

– Нет! Разве здесь можно жить?

– Отчего же-с! Местоположение чудесное... простота... воздух...

– Может быть, может быть, а только не для нас, столичных жителей, все эти деревенские прелести.

– Так вы из Петербурга?

– Да, а разве это вас удивило?

– Нет-с, чему же удивляться?.. К слову я. Простите за любопытство, ведь вы, кажется, от скорого отстали?

– Да, – спокойно подтвердил Куделинский.

– То-то я вас как будто приметил, когда вы из вагона выходили. Изволили провожать кого?

– Да и нет. Тут новобрачные в свадебное путешествие отправились, я у них шафером был... И представьте себе такой случай! Они,

молодые, на скором, а на курьерском отправляются почти вслед за ними двое моих приятелей. Разница всего два с половиной часа, но они ни за что не хотели ехать на скором, а мы условились отправиться все трое вместе...

– И вы выбрали золотую середину? – улыбаясь, перебил его Кобылкин.

– Вот именно! – воскликнул Куделинский. – Я проводил молодых и остался здесь поджидать добрых друзей.

– Значит, вы не в Петербург?

– Ни-ни! На курьерский – и в благословенные края нашего юга.

Пока он говорил, в голове Мефодия Кирилловича вдруг созрел рискованный план.

– А позвольте спросить, – вдруг серьезно произнес он, – ведь вы будете Куделинский Станислав Федорович?

Как ни велико было самообладание Куделинского, он вздрогнул и побледнел.

– Да, это мое имя... – пробормотал он. – А вы откуда его знаете?

– Я-то? – засмеялся собеседник. – Я многое знаю.

– Но кто же вы такой? Я предполагал, что

разговариваю с одним из здешних жителей.

– Нет... изволили ошибиться. Я не из Любани... Я – Кобылкин, Мефодий Кириллович Кобылкин; может быть, слышали?

XVIII

Навстречу гибели

Назвав свое имя, Мефодий Кириллович устоял на собеседника, ожидая, какое впечатление произведет оно на него.

– Да, слышал!.. – беспечно ответил Станислав. – Еще бы не слышать, если только вы – тот, чью фамилию и имя назвали. Кобылкин – всероссийская знаменитость, русский Лекок, гроза всех темных сил... Приветствую вас... очень рад познакомиться!

– Благодарю. А Козодоева, Евгения Николаевича, вы не знали?

– Козодоева? Евгения Николаевича? Как же! Даже был его клиентом!

– А не знаете, кто его убил?

– Откуда же мне знать? – просто ответил Куделинский. – Слышал я, что у него был какой-то подозрительный субъект в вечер пе-

ред его смертью. По всей вероятности, он и... и виновник злодеяния.

– Ну, нет! Убийц-то было трое... и еще одна женщина.

– Вот как? Чего же тогда дремлют власти? Скажите, известны имена убийц?

– Известны.

– Не секрет, кто они?

– Ну, это, положим, интереса не представляет.

– Нет, как же... я надеюсь, что по возвращении найду в газетах подробный рассказ о поимке этих злодеев... Но как мне ни жалко, а я должен прервать наш разговор, – поезд! Позвольте откланяться, господин Кобылкин!

Станислав Федорович вежливо поклонился и пошел к билетной кассе, помещающейся в том же буфетном зале.

– Ой, ой, ой, – шептал ему вслед Кобылкин, – я перестаю что-либо понимать... Разве можно так играть с огнем? Непостижимо! Ведь всякому актерству есть мера...

Он проследил, как Куделинский взял билет и вошел в вагон.

Когда поезд ушел по направлению к

Москве, Кобылкин руками развел и почти вслух произнес:

– Ничего, хоть убей, ничего не понимаю. Сбит, со всякого панталыку сбит! Ах, старая кляча! Шел как будто верным путем, и вдруг тупик... стена выросла! Однако нет ли в этой стене лазеечки? А ну-ка, старина, попробуем поискать! – Он подошел к билетной кассе. – Куда брал билет последний пассажир на курьерский? – спросил он у подсчитывавшего деньги кассира.

– Этот молодой-то, красивый такой?.. Куда? Сейчас этот вопрос решим. У нас для курьерских пассажиры редки... вот запись проданных билетов. Куда? В Москву белокаменную, – и кассир простер свою любезность до того, что даже сообщил номер взятого Куделинским билета.

Кобылкин поспешил записать его.

– А вы интересуетесь этим пассажиром? – продолжал болтать кассир.

– Должник он моему хозяину, – соврал Кобылкин, – так от исполнительного листика удирает.

– Ага! Вот оно что! А какой с виду обстоя-

тельный! – То-то был я на телеграфе, когда ему телеграмму вслед из Петербурга подали...

– Какую телеграмму? – воскликнул почуявший что-то Мефодий Кириллович. – Из Петербурга?

– Какую – не знаю, – ответил словоохотливый кассир, – а только как получил он ее, в лице переменялся: побледнел и на воздух запросился.

– Так, так, на воздух... А вы, почтеннейший, чайку со мной не разделите? – вдруг свернул в сторону Кобылкин.

– Уж и не знаю как.

– Беленького? – подмигнул Мефодий Кириллович.

– Приду! – решил кассир.

Минут через пять он уже сидел за занятым Кобылкиным столом. Перед ними стоял объемистый графинчик, слуга расставлял пирожки, бутерброды и прочую снедь.

– Так вы, милостивый государь, интересуетесь содержанием телеграммы, посланной вслед этому пассажиру? – спросил кассир.

– Уж так интересуюсь! – признался Кобылкин. – Может, московский адресок там.

– Узнать, конечно, никак нельзя: строжайшая тайна, – ответил уже захмелевший кассир, – но если вам так желательно, можно...

– Нельзя ли, драгоценнейший? Прямо обяжете!

– А вот попробуем! Павлуша, – обратился он к слуге, – подь-ка, милый, в контору... вызови оттуда к нам Слесарева Якова с телеграфа. Скажи, на пару минут... да так шепни, чтобы начальник не заметил.

– На чаек будет! – поддержал своего собеседника Кобылкин. – Постарайся, сердечный!

Павел ушел и вскоре вернулся с молодым, чернявым, нагловатого вида телеграфистом.

– Это вы меня? – спросил он у кассира.

– Я, я! Присаживайся, Яша, выпей рюмочку, дело есть...

– Не откажите... будем наперед знакомы, – протянул ему руку Мефодий Кириллович, придерживая что-то большим пальцем в согнутой ладони.

Это «что-то» произвело на телеграфиста магическое действие.

– Рад служить, – пробормотал он, пряча после пожатия руку в карман, – готов служить...

Кассир наклонился к его уху, прошептал несколько слов и уже громко спросил:

– Можно?

– Отчего нельзя! Это которая вслед шла? На память помню...

– Ну, ну... Дыши, Яша!

Телеграфист нерешительно посмотрел на Кобылкина.

– Уж и не знаю как... – проговорил он. – Оно, положим, по секрету можно...

– Не откажите! – опять протянул руку с пригнутым к ладони пальцем Кобылкин.

– Была не была! – решил Слесарев. – Только, чур, меня не выдавать, если что выйдет... В телеграмме вот что было, слово в слово помню: «Грозит немедленное взыскание, кредитор тем же поездом за вами. Сбей его, поезжай дальше Москву. Мы едем курьерским, уговорим его прекратить иск». Вот вам, господин, и телеграмма. А вы, стало быть, этот кредитор и будете? – любопытствовал кассир. – то-то гляжу я на вас, физиономия совсем купеческая.

– Так, так, так, – несколько раз проговорил Мефодий Кириллович, – вы, любезнейший,

про кредитора спрашиваете?

– Именно, господин.

– Так я – не кредитор, – лицо Кобылкина вдруг расплылось в умиленную улыбку, – не кредитор я... Кредитор в этом деле другой... грозный, всемогущий.

– Кто же такой господин-то этот? – осведомился кассир.

– Разно его зовут, други мои, разно! Кто Правдой его величает, кто Правосудием, а кто поученее – Феמידой... Ни одного пустяшного векселька оный кредитор без оплаты не оставляет, хотя всегда терпеливо ждет, не придет ли должник сам и не возместит ли добровольно своего долга. Только редко бывает это... Я же, сырый и убогий, – отставной лакей этого кредитора...

– Так! – согласился, очевидно, ничего не поняв из речи Мефодия Кирилловича, кассир. – Это вы про коммерческий суд изволите? Преполезное учреждение, если взыскать по векселю надо!

– Справедливо, любезнейший, справедливо, про коммерческий суд я... Куда же вы? – спросил Кобылкин, видя, что кассир и теле-

графист поднялись.

– Нельзя-с, – ответил первый, – новгородский поезд из Питера подходит, звонки были. Теперь посыпятся один за другим, как горох, из столицы до четвертого часа... Прощенья просим!

Кобылкин не особенно уговаривал их остаться. Теперь он весь был охвачен думами и соображениями.

«Да как же это мне сразу в глаза не бросилось? – размышлял он, забиваясь в свой угол. – Из курьерского никто к моему “зверьку” не вышел... Где же его товарищи? А смело, тонко, молодец! – восхищался Кобылкин Куделинским. – Но судьба за меня! Не узнай я этой телеграммы – врасплох застали бы... Ведь понимаю я, что значит это «мы его уговорим прекратить иск». Не много нужно, чтобы догадаться... Но только и я-то – волк старого леса... Не скоро меня “уговоришь”... Пусть попробуют, пусть... Чья возьмет – если доживем, увидим! А если не удастся дожить? Если сумеют “уговорить”? Э, пусть попробуют!..»

– Кто на Петербург? – раздался зычный голос вокзального сторожа. – Бери билеты! Чу-

довской подходит!

– Ага, – чуть не вслух произнес Мефодий Кириллович, – вот оно... близится... гибель-то!.. Ну-ка, кто кого!

Громыхая колесами, шипя и тяжело вздыхая исполинской грудью локомотива, к платформе подошел поезд.

Мефодий Кириллович был бледен, но улыбка не сходила с его губ.

– Кто кого? – шептал он, выходя к вагонам. – А что, если не я?.. Да все равно! Нужно идти – иду!

XIX

Под грохот поезда

Чудовский поезд был почти пуст. Немногие пассажиры разместились далеко не в каждом вагоне. Поездная прислуга, как только поезд остановился, разбрелась кто куда по станции, оставив открытые вагоны без всякого присмотра.

– Пустовато сегодня, Исполатов, – заметил дежурный станционный агент старшему кондуктору.

– Да, немного, – согласился тот. – По ведомости кассира всего четыре билета продано.

– Четыре? – удивился агент. – Я тут только одного старикашку в буфете видел... Чудовский ваш поджидал.

– Видно, со стороны подошли. Эх, летом-то! Так на каждой платформе и подсыпаются, а теперь что!.. Из Вишеры всего с одним пассажиром второго класса вышли, а в Чудове совсем мало с новгородского пересело. Давали бы отправку! Чего ждать напрасно?

– И-то, – произнес агент. – Звонок! – приказал он сторожу у колокола.

– Имею честь кланяться! – по-военному приложил руку к фуражке Исполатов. – К себе пойти... ведомостями заняться. Гребнев! – приказал он своему помощнику. – Ты поезд отправишь.

– Слушаю, Федор Логвинович, – ответил тот. – А проверять билеты сами будете?

– Нет, проверь их ты, а я позаймусь! Иди, отправляй, третий звонок!

Гребнев рванулся вперед, и по всей платформе задребезжал его переливчатый свисток. Машинист ответил ему с паровоза и по

второму свистку двинул поезд вперед.

Гребнев пошел в старой конструкции, низенький и грязноватый вагон с открытыми площадками. Там было только двое пассажиров. Один, согнувшись в три погибели, лежал ничком на коротенькой лавке, другой – низкорослый, с длинной бородой, одетый в полукрестьянское платье, стоял у противоположного окна.

– Ваш билет? – наклонился Гребнев к лежавшему пассажиру.

– А у меня билеты, – повернулся к нему пассажир, стоявший у окна. – Не трожь его, на! – и он подал Гребневу два билета.

– Товарищи? – спросил кондуктор.

– Выходит, мил человек, что так.

– То-то с Любани и до Ушаков оба... – простриг Гребнев билеты. – Ишь, как напроважался-то, – кивнул он на лежавшего. – Совсем намок.

– Есть малость, – последовал ответ.

– Чего там малость, когда не добудишься. Верно, у Егорушкина в гостинице угощались? – задал он вопрос и шагнул дальше. – У Егорушкина хорошо! Фу-фу-фу, – вдруг остано-

вился он и сильно потянул носом воздух, – пахнет тут чем-то таким...

– Чем?

– Лекарством каким-то.

Легкий, едва уловимый аромат какого-то вещества действительно чувствовался в вагоне.

– Лекарством? Так это от него попахивает, – указал бородатый на лежащего.

– От него?

– Ревматизм у него... так натирается. Нешто чувствительно?

– Не-то чтобы очень, а заметно.

– А это ты со свежего воздуха пришел, а нашему брату хоть бы что, приняхались.

– И-то бывает, – согласился Гребнев и, успокоившись, пошел дальше.

Когда он, покончив с обходом поезда, возвратился в вагон, бородатый пассажир тормошил своего товарища, но тот продолжал крепко спать.

– Чего ты? – остановился около них Гребнев. – Пусть бы пока себе спал.

– Нехорошо так-то, – ответил бородатый, – чего, как колода, лежит? На воздух его – живо

прочухался бы.

– Это ты на площадку, что ли, задумал? И думать не моги! Свалится еще.

– Зачем валиться? Я не допущу.

– Сам-то ты чуть потрезвее его!.. Слышь, на площадку не смей выходить! Вагон старый, площадка открытая, долго ли до греха? Увижу если, скажу старшему, чтобы на первой платформе ссадил.

– Ну, ну, ладно!..

Гребнев ушел и, явившись к Исполатову, объявил:

– С Любани трое.

– Как трое? – возразил тот. – Четверо должно быть. У меня так в ведомости отмечено.

– Весь поезд обошел, – сказал Гребнев, – трое только... Разве еще раз пройти?

– Брось! Все равно никуда не денутся, а после Ушаков я сам обойду. Садись-ка! Займемся подсчетом.

Гребнев уселся и взялся за билеты.

– А барин-то этот, что с Вишеры сел, – заговорил он между делом, – как забился в угол, так и сидит.

– Это во втором классе?

– Да, я его и тревожить не стал... Ребята на том конце дремлют, – сообщил он про товарищей.

– Вот я их в Ушаках разбужу, – погрозил Исполатов. – Ну, брось болтать, займемся делом: в Ушаках контроль может сесть!

Они углубились в работу.

Пассажир бородач, едва только Гребнев вышел, принялся за спавшего.

– Тяжел, проклятый, – бормотал он, поднимая его, – только мне и впору.

Однако хлопанье двери в другом конце вагона остановило его и заставило выглянуть в узкий проход между сиденьями.

Прямо к ним шел невысокого роста мужчина.

– Скорее, Володька! – крикнул бородач, увидав его.

– Готово разве? – проговорил тот, подходя.

– Готово, все почти! Как только он вошел, я ему губку с хлороформом... поезд еще на станции был, а он уже, пьяный от хлороформа, спал... И судорог почти не было. Вот как у нас!.. Тебе бы, Марич, не управиться...

– Где уж мне против Квеля! – усмехнулся

подошедший. – Бедный Кобылкин! Вот тебе и всероссийская знаменитость...

– Ну, не философствуй. Как только я его выволоку на площадку, а оттуда...

Квель не договорил, но выразительным жестом показал, что произойдет на площадке.

– Зачем это? – произнес Марич, поморщившись.

– Как зачем? На полуделе, что ли, останавливаться? В случае чего все на несчастный случай свалить можно. Ты помнишь, что нужно делать? Сядь, уткнись носом в угол и не дыши, пока я не приду. Так ты за него для кондукторов и сойдешь...

– Знаю я, говорили ведь!.. А если кондуктор?

– Если оттуда, – кивнул Квель в противоположную сторону вагона, – удержи... Ну, закуражься, что ли.

– А если с той? – указал Марич на двери с их конца.

– Не твоя беда! Я уже сказал, что подготовил почву. Если там кто войдет, так подумает, что я пьяного товарища на воздух вывожу.

Понял?..

Квель подхватил несчастного Кобылкина за талию и поволок к дверям.

Очутившись на площадке, злодей не сразу принялся за свое страшное дело.

– Сядь-ка, посиди напоследок, – бормотал он, усаживая бесчувственного Кобылкина на откидную скамейку.

Оставив свою жертву, Квель перепрыгнул на площадку соседнего вагона и, приоткрыв дверь, заглянул вовнутрь. В вагоне никого не было.

– Ну, теперь раз-два, и все будет благополучно, – прошептал он, возвращаясь назад. – Полезай-ка, братец! – приподнял он Кобылкина. – Сам виноват, зачем в чужие дела нос суешь.

Квель рукой откинул подвижной барьер площадки.

Поезд мчался, и в грохоте его тонули все звуки: и свист ветра, и шум деревьев, и, наконец, слабый страдальческий стон, вдруг вырвавшийся из груди несчастного.

– А, просыпаться на морозе начинаешь! – фыркнул убийца. – Тогда поспешим... Нет, не

сюда, не сбоку, а под колеса прямо... так вернее будет!

Квель присел и поднял свою жертву, но в это мгновение сильный толчок в спину сбил его самого с площадки. Он выпустил Кобылкина, так что тот отлетел далеко в сторону, но сам при падении сумел ухватиться за ступеньку и повис в воздухе.

– На помощь, помогите! – раздался его отчаянный вопль.

На площадке всего лишь на мгновение вспыхнул огонек спички, но, как ни слаб он был, Квель ясно увидел склонившееся над ним бледное лицо Куделинского.

– Станислав!.. Ты... меня! – в ужасе, не веря своим глазам, закричал он. – Станислав! Спаси... руку!..

Никто ему не ответил.

– А, ты так! – крикнул Квель. – Хорошо же!

Он сделал нечеловеческое усилие, чуть-чуть приподнялся и стал коленом на нижнюю ступеньку вагона.

Теперь он почувствовал себя спасенным, так как, пользуясь точкой опоры, легко мог взобраться на площадку. Но несколько пере-

житых им страшных секунд истощили его силы, и он не мог без отдыха сделать последнее спасительное для себя движение. Когда же он захотел подняться, что-то со страшной силой ударило и сорвало его с подножки. Поезд вихрем пролетел мимо одной из станций, на которой по расписанию не назначено было остановки, и Квеля сшибло краем платформы.

Как раз в это время на площадке заблестел огонек. Это неугомонный Гребнев, беспокоившийся, как бы чего не случилось с замеченными им нетрезвыми пассажирами, пошел взглянуть на них.

Он сразу успокоился, увидав приткнувшегося в углу пьяненького.

– Эй, земляк, – ткнул он его в плечо.

– Пошел прочь! – прорычал тот.

– Прочухался? – засмеялся Гребнев. – А товарищ твой где?

– Тут где-нибудь... никуда не делся...

– То-то «тут»! К Ушкам идем; там вам слезать.

– Без тебя знаем, – последовал ответ, – слезем, когда нужно будет...

– Ну, смотри же, не проворонь станции, не-то вдвое до Тосны заплатишь!..

Успокоенный Гребнев пошел дальше.

XX

Зловещий гость

Дерзко задуманный план устранения Кобылкина, как чаще всего бывает в жизни, удался, по крайней мере с внешней стороны, именно потому, что он был неимоверно дерзок. Драма, разыгравшаяся под грохот поезда, осталась известной лишь тем, кто принимал в ней участие.

Кондуктор Гребнев и не заметил даже, что в Ушаках сошел с поезда только один из любанских пассажиров, другого же – бородача – нигде не было видно. Он придал всей этой истории столь малое значение, что даже не сообщил о «пьяненьких» старшему.

Да и немудрено было. Ни от одного из дорожных сторожей не было получено донесения о каких бы-то ни было происшествиях на их дистанциях. Двое сброшенных с поезда людей канули без следа, и даже слуха не было о

том, что найдены их трупы.

Так промелькнули дни, недели, прошел целый месяц.

Граф и графиня Нейгоф вернулись в Петербург.

– Однако Настя выказала вкус! – сказала вскоре после приезда графиня, любуясь новой, изящно обставленной квартирой.

– Тебе нравится? – спросил Михаил Андреевич.

– Ну не совсем. Я, конечно, все это переделаю по-своему, но пока все-таки недурно.

Настя сияла, слушая похвалы своей госпожи.

– Да я уж, ваше сиятельство, старалась, как могла, – рассыпалась она.

– Спасибо, Настя! – ответила Софья. – Скажи, никто нас не спрашивал?

– Никто, ваше сиятельство.

– За все время, пока нас не было?

– Так точно... Станислав Федорович, господин Куделинский, были, но только один раз.

– Ах, этот Куделинский! – с досадой протянула Софья, заметив, что муж сморщился при упоминании этой фамилии. – Настя, окажите

мне услугу!

– Прикажите, ваше сиятел...

– Не называйте меня сиятельством... Это так чопорно для тихой семейной обстановки... Так вот моя просьба: говорите всегда, когда только можно, этому господину Куделинскому, что ни меня, ни графа нет дома... Да, Миша? Ты не имеешь ничего против?

– Радость моя! – воскликнул Нейгоф. – Зачем ты спрашиваешь меня об этом?

Софья обворожительно улыбнулась.

– Разве вы – не повелитель мой!

– Повелитель, повелитель! – забывая о присутствии Насти, горячо заговорил Нейгоф. – Ты повелеваешь всем, ты – владычица, светлая, чистая, вечно сияющая!

Он опустился перед женой на колени и припал губами к ее руке.

– Ах ты, поэт мой!! – засмеялась Софья. – Настя, уйдите, нам с графом нужно поговорить, – обратилась она к горничной и, когда та вышла, продолжала: – Всегда в мечтах, всегда в грезах...

– Мечты, грезы так сладки, так восхитительны!..

– Но все-таки действительность к нам ближе... Встань, Миша, сядь, милый! Поговорим серьезно.

Нейгоф поднялся с колен и сел на скамеечку у ног Софьи.

– Говори серьезно, дорогая, – произнес он.

– Новое место – новые песни! – засмеялась Софья. – Я, Михаил, честолюбива!

– Вот как? – удивился тот. – Не верю. Откуда оно взялось? Ты в этот наш медовый месяц никаких подобных наклонностей не проявляла.

– Мало ли что! Зато проявлю теперь!

– Но в чем это твое честолюбие? Чего ты желаешь?

– Многого, Михаил, очень многого! Видишь ли, я хочу, чтобы навсегда исчезло твое прошлое... Ты понимаешь, о каком прошлом я говорю? Ты должен заставить общество позабыть о несчастной полосе твоей жизни. Мы богаты настолько, что тебе нет надобности трудиться ради куска хлеба, но ты должен трудиться, чтобы ярким светом засияло твое имя среди тебе подобных... Миша, милый, сделай это для меня... для... для... нашего буду-

щего... ребенка...

– Софья! – вскочил на ноги Нейгоф. – Да разве?..

– Милый! – торжественно произнесла графиня. – Это еще не скоро...

– Но ты... ты... не ошиблась?

– Мы, женщины, не ошибаемся в таких случаях, – тихо сказала Софья.

Нейгоф глядел на нее, и по его болезненно-му лицу катились слезы.

– Освобождение! Проклятие с меня снято! – возбужденно заговорил он. – Я прощен отныне и небом, и землей! Софья, Софья! Да что же это? За что мне такое счастье?..

Рыдания вдруг хлынули из его груди.

– Ну, милый, успокойся, – ласково заговорила графиня. – Сядь! Я хочу поделиться с тобой своими планами. Ты знатен, ты помирился со своими родственниками. Что за милый, добрый старик – этот московский граф! – воскликнула она, отвлекаясь от темы. – Какая светлая душа! Как я счастлива, что вы, наконец, примирились... Ведь ты – его наследник?

– Титула – да, – ответил граф.

– А прочее?.. Впрочем, это все равно. Важен

титул – он перейдет к нашему ребенку. Ты должен трудиться. Иди на службу, служи! Помни, мы почти богаты, а это – верный залог твоего служебного успеха. Напиши своему московскому родственнику, проси протекции. В этом он тебе не откажет. Будешь писать?

– Буду, родная! Буду, счастье мое! Все сделаю, что ты прикажешь!

Жгучий поцелуй был наградой за его согласие.

– А теперьпусти, Миша, я устала, – вырвалась от мужа Софья. – Пойду, прилягу, а ты садись, пиши в Москву сейчас же; потом покажешь мне, и мы все обсудим.

Она ушла в свой будуар.

Как ни старался граф после ее ухода приняться за письмо – это ему не удалось.

«Какая радость, какое счастье! Ребенок, мой ребенок! – ликовал он. – Мой род не погиб! Софья, Софья! Какое небо послало мне тебя! За что мне, недостойному!.. Она все сделала – вытащила меня с проклятого дна, помирила меня с единственным моим дядей, вернула меня в мою прежнюю семью... все она...

Теперь я буду отцом! О, вот когда я хочу жить!.. Вот когда смерть была бы ужасна! Нет, нет! Прочь черные мысли! Я живу, я хочу жить не для себя, а для нее, чтобы отблагодарить ее за ее благодеяния...»

Нейгоф замер. Он вдруг почувствовал, что его дыхание стало коротким. словно что-то застряло в его груди и не пропускало в легкие воздух.

– Что это со мной? – прошептал он, приподнимаясь с кресла. – И это уже не в первый раз. Да! Сердце! – вспомнил он. – Барановский в больнице говорил, что оно непрочно... Все равно! Немного поживу, и того довольно. Скорее за письмо к дяде, прочь всякую слабость!

Он сел в кресло и принялся лихорадочно писать.

Софья из своего будуара вышла поздно.

– Отдохнула, родная? – нежно спросил ее Нейгоф.

– Выспалась прекрасно... После тряски в вагоне всегда хорошо спится, – ответила Софья. – А ты, Миша?

– Я исполнял твое приказание, – ответил граф, – писал в Москву письмо. Послушай-ка!

Граф прочел жене письмо к своему московскому родственнику. Оно было и трогательно, и убедительно. В нем сообщалось, что ожидается появление на свет, ожий нового представителя или представительницы рода Нейгофов, и потому московский граф Нейгоф должен помочь своему петербургскому родственнику в стремлении трудовым путем загладить былые промахи.

– Прекрасно! – одобрила Софья. – Положи в конверт и запечатай. Я отвезу письмо на Николаевский вокзал и отправлю с курьерским; завтра оно уже будет в Москве.

– Ты сказала «я» – отчего не «мы»?

– Я проедусь одна, ты отдохай.

– Но я нисколько не устал; отчего мне не прокатиться с тобой?

– Да ведь тебе нужен отдых. Ты обидишь меня, если будешь настаивать.

Нейгоф покорно согласился. Софья уехала, захватив с собой письмо.

Прошло около получаса. Михаил Андреевич чувствовал, что не может заснуть. У него покалывало в груди, трудно было дышать, и, как следствие этого, появилась тос-

ка. Но все-таки он чувствовал себя счастливым.

– Ваше сиятельство, спрашивают вас, – вошла к нему в кабинет Настя.

– Кто там, Настя? – поморщился Нейгоф.

– Не знаю, ваше сиятельство, человек какой-то. Говорит, что хорошо известен вашему сиятельству, с каких-то кобрановских огородов... Сергеем Федоровичем зовут.

XXI

В когтях хищника

Это имя говорило графу о многом. В одно мгновение вся прежняя жизнь нахлынула на него. Воскресло-то, что он так страстно хотел позабыть. Кобрановские огороды, людское отребье, чайная этого человека, как единственное место, куда стремились в течение многих лет все его помыслы, постоянные побои, толчки, пинки, голод, непробудное пьянство и, наконец, как итог этого человеческого разложения, встал, словно живой, перед Нейгофом отвратительный Минька Гусар.

Граф, бледный, с трясущимися губами,

молчал, чувствуя, что задыхается, что его больное сердце перестает биться.

Настя с удивлением и испугом смотрела на него.

– Прикажете, ваше сиятельство, отказать? – спросила она.

– Да, да, пожалуйста... и сделайте так, чтобы этот человек никогда не приходил.

Горничная скрылась. Из передней донесся громкий разговор, потом хлопнула дверь, и все стихло.

– Настя, Настя! – позвал граф. – Ну, что там?

– Ушел, ваше сиятельство! – вбежала Настя. – Ах, какой грубиян! Ваше сиятельство он осмелился называть старым знакомым... – Настя оборвала фразу, испытующе посмотрела на графа и прибавила: – И даже закадычным другом приятелем...

Нейгоф молчал, опустив голову.

– А еще он сказал, – продолжала Настя, – что будет ее сиятельство графиню у подъезда поджидать... Говорит, ежели вы его к себе не допускаете, так он графине скажет, кто их благодетеля, Евгения Николаевича, господина Козодоева, ухлопал.

Михаил Андреевич поднял голову, его мертвенно-бледное лицо выражало страдание.

– Настя, милая, – застонал он, – бегите... бегите скорее... верните этого человека. Пусть он идет, пусть терзает меня, пусть, пусть!

– Ваше сиятельство! – испугалась Настя. – Что с вами? На вас лица нет...

– Ничего, Настя, скорее, скорее! Пока Софья не вернулась... Скажите ему... нет, я сам скажу... Скорее, Настя!

Удивленная, испуганная девушка бросилась за дверь.

– Конец... всему конец! – шептал Нейгоф. – Болото всколыхнулось... зыбучий песок подошел!.. Но что это значит: «Кто ухлопал Козодоева»? Да разве он убит? Странно! Софья никогда не говорила мне об этом. Умер внезапно – вот все, что я знаю, но убит... убит!.. Кто мог убить? Не я же! Я толкнул его тогда, он упал... Я рассказывал об этом Софье, и она не возражала мне. Не возражала – стало быть, верила... Кто убил? Или мой толчок так подействовал на этого несчастного? Не может быть!.. Не может, не может!.. – глухой голос

Нейгофа перешел в крик. – Идут!.. Дверь хлопнула... сейчас, сейчас...

– Вот так давно бы! – гремел в передней голос Сергея Федоровича. – А то ишь ты, какие нежности: «Не принимают»!

– Пальто ваше позвольте! – раздался голос Насти.

– И так хорошо! Не привычны мы к этому барству.

Сергей Федорович в пальто и галошах, только сняв с головы картуз, ввалился в гостиную и сразу наполнил ее отвратительным запахом пота, прели, трущобной кухни и водки.

– Вашему сиятельству – почет! – возгласил он, протягивая Нейгофу красную руку.

Граф с ужасом смотрел на него, инстинктивно пряча руки за спину.

– Не хотите – не надобно! – заметил это гость. – Оно всегда так: старая хлеб-соль забывается! А я-то спешил... Вот, думаю, друга милого обрадую, а он вон как теперь. Уж я сяду, в ногах-то, говорят, правды нет!

Он плюхнулся в кресло, чуть не продавив его своей массивной фигурой.

– Что вам угодно от меня, господин Коноплянкин? – едва нашел в себе силы выговорить Нейгоф.

– Ага! – засмеялся гость. – И фамилию мою, ваше сиятельство, вспомнить изволили? Думал я, позабыл ты, как и зовут меня... Грех это, грех – старых друзей не помнить! Попал в честь, так и из головы вон. Нет, у нас так не делается...

– Что вам от меня нужно, господин Коноплянкин? – повторил уже более решительно граф.

– Что мне нужно? – переспросил, нагло хихикая, Коноплянкин. – Ой, как много нужно мне, ваше сиятельство! Столько нужно, что в целый ртестрик не уместится... Беднота ведь мы, голь перекатная. Что мне нужно от тебя, ваше сиятельство, спрашиваешь? Так, видишь, на деревне, откуда я родом, избенку хочу новую завести, да не развалюху, а в два яруса, и чтобы крыша железная была. А это, по-твоему, денег не стоит? Потом чайную-то на пустырях побоку хочу. Пора уже! Надоело с вашим братом возиться... грех один!.. Так я уже и ресторацию одну на Обводном, от Ново-

го моста недалеко, присмотрел; сдается, так взять хочу... Понимаешь, ваше сиятельство, какие такие горизонты у меня?..

Он остановился и выразительно поглядел на Нейгофа.

Тот смущенно молчал.

– Неужто не понимаешь? – даже удивился Коноплянкин.

– Послушайте, – наконец нашел в себе силы выговорить граф, – какое мне дело до всех ваших планов? Вы говорите о каких-то постройках, о приобретении нового кабака... При чем тут я?

– Ой, ваше сиятельство! Как это так, при чем тут ты? Ведь ты теперь в чести и при капитале, да и при немалом капитале!.. Помочь старому другу должен, коли нужда пришла. Я на тебя надеюсь... Не ломайся, ваше сиятельство, понапрасну. Раскошеливайся! Добром ведь прошу!

Граф слушал всю эту речь-то краснея, – то бледнея.

– Подите вон! – крикнул он, едва сдерживая гнев.

Коноплянкин поглядел вокруг и удивлен-

но спросил:

– Это ты кому же? Мне?

– Да, да, вам! Вон уходите, вон, или я не ручаюсь за себя...

– Потихонечку, ваше сиятельство, – остановил его Коноплянкин, – того не забывай: я ведь – не старик Козодоев...

– Вон! – вскочил с кресла граф.

– Пудом крещусь, – не обращая на него внимания, закончил свою фразу Сергей Федорович. – Меня так не убьешь, как его убил... За себя постою...

Граф услышал эти слова.

– Убил Козодоева? – прошептал он.

– Еще спрашивает! – захохотал гость. – Не води ты хоть со мною-то медведя!.. С добром я пришел. Поможешь моей скудости от графских щедрот своих – все обойдется, не пикну, как в могиле это твое дело умрет. А не поможешь – на себя пеняй...

– Дело, мое дело?.. Какое дело? – растерянно спрашивал Нейгоф. – Козодоева убили!.. Кто убил?

– Кому же его и убить, как не тебе?

– Я... убил?.. – потер граф руками лоб. – Я...

я! Этого не может быть! Я никого не убивал.

– Толкуй еще! – совсем грубо прервал его Сергей Федорович. – Ишь ведь ты как прикидываться умеешь!..

Нейгоф почувствовал, что перед ним разверзается бездна и он стоит на самом ее краю.

– Я убил, я? – шептал он. – Какое страшное слово сказано... Я убил! Нет, нет! Прочь это... Не убивал я...

– Врешь, убил! – жестко проговорил Коноплянкин. – И чего это ты предо мною ломаешься? Уж и жаден же ты стал, ваше сиятельство! Да что с тобой толковать много! Даешь или не даешь!

– Что? – вырвалось у Нейгофа.

– Хошь звонкую монету, хошь кредитные билеты, мне все равно, да так, чтобы их на все хватило... Умрет тогда твое дело в моей груди, как в безмолвной могиле... Не дашь – прежде всего, супружнице доложу, а там и еще кое-куда доведу до сведения... Вашего брата, убивца, нешто можно покрывать?

«Узнает она, Софья, все узнает, – вихрем пронеслось в голове Нейгофа, – поверит, возненавидит, проклинать будет... Откупиться...

пусть молчит!»

– Чего мнешься-то? – спросил Колноплянкин. – Не нравится, если дело говорят?.. Ну, дашь или не дашь?

– Послушайте, – пролепетал граф, – у меня ничего нет... Все у жены...

– Вот оно как у вас!.. По-благородному, стало быть? Да это ничего. У жены для меня и возьми.

– Не могу, не могу я... – уже прорыдал Нейгоф.

– Отчего не можешь? Наличными не имеешь, векселек подмахни! Я – добрый: подожду.

Словно какая-то сила метнула Нейгофа, и он упал на колени к ногам Коноплянкина, восклицая:

– Сергей Федорович! Пожалейте, пощадите!.. Я никого не убивал, ни Козодоева, никого... Клянусь вам в том... Не лишайте меня счастья, пощадите...

– Деньги на стол, и никаких больше!

– Ведь я же не виновен ни в чем, ни в чем! – выкрикивал в исступлении граф. – Вам грех клеветать на невинного!.. Грех, грех! По-

щадите! Я не убивал Козодоева, я только толкнул его...

– Вот-то то и дело, что толкнул... Толчок толчку рознь. Как толкнуть!.. Ты старика толкнул, а он и преставился... Ну, кончай, что ли, дело.

– Сколько нужно? Скажите! Я постараюсь дать!.. Не губите только, не говорите ничего жене...

Неслышно вошедшая в гостиную Софья с удивлением смотрела на коленопреклоненного мужа и на совершенно незнакомого ей человека.

– Граф, что значит эта сцена? – спросила она.

Коса и камень

Увидав жену, Нейгоф вскочил.

– Софья! – вскрикнул он, протягивая к ней руки.

– Я вас спрашиваю, граф, что значит эта сцена? – повторила Софья, выступая вперед. – Кто это?

Нейгоф молчал. Коноплянкин тоже был смущен.

– Мы, ваше сиятельство, – забормотал он, поднимаясь с кресла, – вот к ним, к супругу вашему, по делу...

Он сразу почувствовал в молодой женщине силу, и недавняя наглость в нем сразу исчезла.

– Кто этот человек? – не слушая его, спросила графиня мужа. – Зачем вы стояли перед ним на коленях? Что значат ваши слезы? Фи, граф! Как вам не стыдно?

Михаил Андреевич по-прежнему безмолвствовал. Он не мог говорить – его горло было сжато, как клещами.

– Хорошо! – нахмурила брови Софья. – Вы не отвечаете?.. Кто вы такой и что вам здесь нужно? – обратилась она к Сергею Федоровичу.

– Коноплянкин я... Чайная у меня на пустырях около кобрановских огородов, где их сиятельство в босяках изволили пребывать...

– Вот что! – еще более нахмурилась Софья. – Теперь я кое-что начинаю понимать... Граф, вы расстроены! Пройдите к себе и предоставьте мне поговорить с этим... человеком...

– Софья, клянусь! – воскликнул Нейгоф. – Он клеветает... Не верь...

– Чему? – Софья вдруг рассмеялась. – Право, вы нездоровы! Идите, идите! Лягте, успокойтесь! Я провожу этого человека и приду к вам, мы объяснимся... Идите и не мешайте мне... – Она взяла мужа под руку и повела его к внутренним дверям. – Как вы дрожите, Михаил! – заметила она. – Разве так можно? Идите! – и Софья слегка толкнула мужа за дверь.

Нейгоф безвольно подчинился.

– А теперь я с вами поговорю, господин Коноплянкин, – сказала Софья, возвращаясь к

креслу. – Что же вам нужно от графа? Зачем вы пришли?

– Насчет деньжонок, ваше сиятельство... деньжонок у их сиятельства попросить на бедноту свою пришел.

– Денег? Каких? Граф вам что-нибудь должен?

– Никак нет-с.

– Так что же вы? Удивляюсь графу, почему он принял вас...

– Не только приняли-с, а еще на коленочках предо мною стояли...

– Удивляюсь! – пожалала плечами Софья.

– Мало того что на коленках стояли, – невозмутимо продолжал овладевший собой Коноплянкин, – а плакали. Да еще как! «Не губи, – говорят, – друг мой, Сергей Федорович, по гроб жизни этого не забуду»!

– Чего «этого»? – сурово спросила Софья.

– А вот того самого, что, значит, я не выдал их... полиции, примерно сказать, а не-то и самому господину прокурору...

Софья звонко рассмеялась.

– Вы шутник, господин Коноплянкин. Зачем мой муж понадобился полиции?

– Никак нет, ваше сиятельство, не шучу я! Помилуйте-с, до шуток ли? Удивительно мне, как это вы знать не изволите, что вашего супруга вот уже сколько времени по всему Петербургу и даже за пределами днем с фонарем ищут!

– Ищут? – удивилась графиня.

– Так точно-с, ваше сиятельство!

– Ищут и все не разыскали! Вы что-то путаете, господин Коноплянкин!

– Никак нет, истинную правду говорю. А ежели не разыскали, так потому, что доказать на графа и предать их в руки правосудия только я могу... Потому-то и прийти осмелился, и лишь с тем, что добром хотел... Мне что на его сиятельство доказывать? Какая выгода? Никакой-с! Но и молчать я тоже не могу: совесть не позволяет. Ведь должен я долг своему отечеству исполнить? Ежели ты – преступник, так тебе в тюрьме сидеть, а не среди чертогов блякаться, кто бы ты ни был: граф, или князь, или барон какой – все едино.

– В чем же могут обвинять графа? – спросила Софья, даже не обращаясь к Сергею Федоровичу, а как бы в раздумье.

– А изволите ли видеть, когда ваш супруг Минькой Гусаром были, так ваш покойный папаша, Евгений Николаевич, господин Козодоев, велели мне разыскать его и к себе предоставить. Зачем он им понадобился – знать не могу, а так как некоторые дела мы с покойным водили, – то я поручение принял и Миньку Гусара, – то есть, так сказать, супруга вашего, разыскал. От меня покойный Евгений Николаевич из чайной и увез Миньку.

– Ну, так что же из всего этого следует?

– А-то, что, так как ваш покойный батюшка, с позволения сказать, был убит в тот же самый вечер или ночь, – то и выходит, что ухлопал его не кто иной, как Минька Гусар.

– Какие вы глупости говорите! – на этот раз несколько принужденно рассмеялась Софья. – Что вы? За кого вы нас принимаете? За младенцев, чтобы небылицами морочить?

– Какие уж тут небылицы? – вздохнул Коноплянкин. – Не до небылиц... всерьез я...

– Если так, – то я могу только удивляться вашей наглости! Да как вы смели мне сказать такую нелепость! – Софья, пылающая гневом, поднялась с кресла. – Вас нужно отправить в

полицию! Я сама видела графа в этот несчастный вечер у моего покойного отца. Понимаете, любезный, я сама!

– Тем лучше! – ехидно захихикал Сергей Федорович. – Одним козырем у меня больше! Ведь подозрение у меня явилось, не соучаствовали ли и вы, ваше сиятельство, будущему вашему супругу?

– Как соучаствовала? – не поняла Софья.

– А так-с! Может статься, что вы вместе с Минькой своего приемного папашеньку прихлопнули?

– Что вы говорите?! – вскрикнула графиня, хватаясь рукою за висок. – Как вы смеете?!

– А так вот и смею! Дело-то очевидное, так околесицу нечего нести; будем напрямки говорить...

– Ваше сиятельство! – вбежала испуганная Настя. – Его сиятельству графу Михаилу Андреевичу худо!..

Софья, бледная от волнения, только махнула рукой.

– И вы осмеливаетесь мне это говорить? – подступила она к Коноплянкину.

– А отчего же и не говорить, ежели язык

дан? – ответил тот, нагло, с победным видом откидываясь на спинку кресла. – Вы-то, боярыня, благодарствовать меня должны за-то, что я к вам пришел, а не прямо в Сыскное, а вы разные кислые слова...

– Вам что нужно? Денег? – чуть не кричала Софья. – Так ничего вы не получите, ничего!

– Напрасно-с! Большие хлопоты для вас выйдут, – хладнокровно заметил Коноплянкин. – Слышите, супруг, кажись, вас зовет...

– Софья, Соня! – донесся издалека глухой, страдальческий стон. – Софья, приди... Худо мне!

Графиня даже не услышала его.

– Идите и донесите, кому хотите, донесите! – крикнула она Коноплянкину. – Но помните, о вашей попытке к шантажу будет сообщено властям. Я этого так не оставлю! Вы воспользовались тем, что мой муж – больной, нервный человек, и явились, думая, что ваше мошенничество легко удастся? Ну, нет! Вы со мной имеете дело, я – не граф... Идите, донесите!..

– Это что же? Последнее ваше слово будет?

– Последнее мое слово: вон, негодяй! – и Со-

фья энергичным движением указала на дверь.

– Что же? Тогда прощенья просим! – пробормотал Сергей Федорович. – Вот она, доброта-то моя! Не понимают люди! – Он пошел, но в дверях остановился. – Вот что, графинюшка: сторяча ты все это наговорила, молода ты очень и сути не понимаешь...

– Вон! – крикнула опять Софья, и в ее голосе послышались истерические нотки.

– «Вон», «вон»! Чего заладила то? Слышал уж я это «вон» твое, – пробурчал Коноплянкин, – давно нужно уйти, да жаль... И графа твоего жаль, и тебя жаль... С покойным батшкой твоим я приятелем был, так милость тебе даю. Буду три дня ждать. Граф-то твой знает мою чайную... Пусть завернет по старой памяти. А три дня пройдет, не прогневайся, сообщу, куда следует. Чего вам, убивцам, потакать? А затем, ваше сиятельство, желаю всяких благ! – И Коноплянкин вышел из гостиной.

– Да что же это такое? – прошептала Софья, растерянно оглядываясь вокруг. – Ведь нитка по нитке до всего доберутся... Все откроют, все

погибнет! Не откупиться ли, пока есть время? Он сказал, что будет молчать три дня... Скорее к Станиславу... что скажет он... – Она нажала кнопку звонка и приказала вбежавшей Насте: – Карету скорее закладывать!

– Ваше сиятельство, к графу пройдите! – обрывающимся голосом воскликнула та. – Худшим! Боюсь я... как бы помереть не изволили! Так их этот мужлан напугал...

– Хорошо, я пройду... Распорядитесь поскорее экипажем!

Графиня быстро прошла в спальню.

Там, на постели со сбитым и измятым бельем, запрокинув голову, лежал Нейгоф. Он был очень бледен; его глаза были приоткрыты, и из-под век виднелись желтоватые белки. Грудь высоко вздымалась, но дыхание было короткое, прерывистое.

– Что же тут? – взглянула на мужа Софья. – Заснул... Не нужно только беспокоить, пусть спит... Я скоро вернусь и привезу с собой доктора.

Она уехала.

XXIII

Переполох

Графиня Софья отсутствовала недолго. Она не нашла дома Куделинского, не ожидавшего ее вторичного посещения, оставила ему записку и возвратилась домой, захватив с собой Марича.

– Что, Настя? – испугалась она, увидев бледное, искаженное ужасом лицо горничной. – Что, граф проснулся?

– Его сиятельство... граф... хрипнули, потом совсем замолкнуть изволили...

– Что же? Опять заснул? – тревожно спросила Софья, бледнея.

– Какое-с заснули! – прорыдала та. – Совсем не дышат! Боюсь...

– Марич? Слышите? Пойдемте скорее!.. – крикнула графиня и бросилась в спальню мужа. Марич, коротенький и толстенький, поспешил за нею.

В дверях Софья остановилась и в ужасе отпрянула.

Нейгоф, страшный своим спокойствием,

своей неподвижностью, лежал с широко открытыми, немигающими глазами. Немой, но выразительный укор застыл в неподвижном взгляде. Нос заострился, щеки ввалились, рот был полуоткрыт, руки беспомощно раскинуты на постели.

– Марич, Марич! – закричала Софья. – Что с ним?

– А вот сейчас мы это узнаем, – ответил тот и подошел к Нейгофу. Склонившись над телом, он послушал сердце, пощупал пульс, покачал головой и произнес: – Гм... дело-то как бы не того...

– Что, что? – бросилась к нему Софья. – Жив он? Обморок?

– Непохоже на обморок-то... Ни сердца, ни пульса не слышно... Как будто главнейший механизм приостановил свою работу...

Софья беспомощно опустилась в стоявшее у постели кресло и заплакала.

– Что это вы, Софья Карловна? – искоса взглянул на нее Марич. – Для него, пожалуй, и лучше, что сама всемогущая судьба, но не мы, люди, распорядились с ним...

– Ах, Владимир Васильевич, вы не все зна-

ете... Внезапность, неожиданность... опасность... Да неужели же он в самом деле умер?

– Вот посмотрим еще... – ответил Марич. – Зеркало!

Зеркало, приставленное к губам графа, не потускнело, несмотря на-то что Марич продержал его у лица Нейгофа минут десять.

– Конечно же, – пожал плечами Владимир Васильевич. – Где распоряжается природа, там не нам, слабым людям, хоть и облеченным какими-либо медицинскими знаниями, бороться с нею.

– Умер? – подняла на него глаза Софья.

– Похоже на то. Пойдемте-ка куда-нибудь в другую комнату...хлопот будет вам много, нужно уведомить полицию... Смерть скоропостижная, явится полицейский врач... Возни-то, возни!

Софья как будто не слыхала его. Она теперь не плакала, но лицо ее было мрачно, и его красивые черты искажались неприятной гримасой, выражавшей внутреннюю борьбу и душевное страдание.

– Пойдемте, – настойчиво проговорил Марич, протягивая ей руку, – здесь пока делать

больше нечего.

– Ах, да! Вы правы, – согласилась Софья. –
Пойдемте...

Она встала, но не пошла за Маричем, а задержалась у постели с телом мужа. Какое-то особенное выражение – не-то жалости, не-то недоумения – промелькнуло в ее глазах. Она покачала головой, потом взяла руку мужа и тут же выпустила ее. Рука бессильно упала на кровать.

Тогда Софья выпрямилась; на ее лице вдруг появилось холодное, гордое выражение.

– Софья Карловна! – раздался голос Мари-
ча. – Да идите же сюда! Вот не подозревал, что
вы такая чувствительная особа...

Молодая женщина, выйдя в гостиную, ни-
чего не ответила и села в кресло.

– Вы, Марич, не знаете, где найти Стани-
слава? – спросила она после некоторого мол-
чания.

– Не знаю, но поискать могу, – ответил тот.

– Отыскали бы его... Пусть он придет
немедленно!

– Важное дело?

– Такое, что все мы – и Станислав, и вы, и

я – на волоске висим...

– На волоске? От чего? – удивился Марич.

– Уж не знаю: от тюрьмы, от каторги...

Марич побледнел.

– Что вы! – воскликнул он. – Быть того не может! Все так хорошо шло, как по писаному... Что ж помешало?

– Непредвиденное обстоятельство... Но об этом после. Разыщите Куделинского, пусть немедленно приезжает... Идите! Экипаж мой возьмите...

– Повинуюсь, хотя недоумеваю, что такое может быть? – пожал плечами Владимир Васильевич. – А вы домовую администрацию уведомяте, немедленно уведомяте! – И он ушел.

Куделинского он нашел в ресторанчике на одной из больших улиц столицы. Станислав Федорович с увлечением играл в бильярд и даже не заметил подошедшего к нему сообщника.

– Брось! – хлопнул его по плечу Владимир Васильевич.

Куделинский вздрогнул от неожиданности, но, увидев Марича, с облегчением сказал:

– Это ты? Что такое?

– Брось! Отойдем... – сказал Марич, садясь в углу у столика.

– Что случилось? – подошел к нему Куделинский.

– А-то, что наш граф умер, – ответил Марич.

– Что ты врешь? Когда?

– Час-полтора тому назад... Что трясешься?.. Раскусил, в чем дело? Я прямо от трупа... Недаром же доктором считаюсь, живого от мертвеца отличу...

– Странно это... – потер рукою лоб Куделинский. – Софья только что была у меня. Все превосходно было и вдруг...

– Станислав Федорович, да идите же вы! – крикнули Куделинскому от бильярда. – Играть так играть, а время нечего тратить.

Куделинский машинально подошел к бильярду.

– Не могу, – глухо проговорил он, оставляя кий. – Партия без меня – я заплачу.

Раздались недовольные восклицания, но Куделинский, не обращая на них внимания, отошел.

– Пойдем, Марич, – сказал он, – в кабинете побеседуем... Признаюсь, ты поразил меня.

– Это еще не все, – буркнул Владимир Васильевич. – Есть еще что-то, но что именно, не знаю...

Они вошли в темный кабинет. Слуга включил свет и, приняв заказ, вышел. Друзья-общники остались одни.

– Что этот Нейгоф умер, – цинично произнес Куделинский, – очень хорошо! По крайней мере, это избавляет тебя от возни с ним... Но все-таки эта смерть несколько преждевременна... С месяц он мог бы подождать. Но что с ним случилось?

– Какое-нибудь страшное потрясение. Сердце у него было никуда не годное. Оно-то и подкузьмило.

– Да, сердце!.. Но о чем ты еще говорил?

– Да видишь ли, там, у Нейгофов, еще что-то стряслось... Ведь Софья опять была у тебя.

– Когда?

– А, верно, после того, как это «что то» стряслось. Она особа решительная, не трусливого десятка, а тут перепугана донельзя...

– Но чем? Говори ты толком!

– Не сказала она мне ничего... Говорит только, что все мы на волоске от каторги... Понял? Не такова Софья, чтобы, как пуганая ворона, куста боялась. Поедем-ка скорее к ней... Тебе-то она все скажет.

Куделинский побледнел.

– Да, да, поедем! – согласился он. – Софья не из таких, чтобы понапрасну переполох поднимать... Поедем!

– Эх, жалко Квеля! – вспомнил Марич. – Вот когда бы он пригодился! Парень решительный... Гниет, поди, где-нибудь под снегом, а тут его нужно.

Станислав ничего не ответил; он только мельком взглянул на своего сообщника и настойчиво произнес:

– Поедем! Нельзя Софью оставлять одну.

Они ушли из ресторана, даже не дождавшись, когда слуга подаст заказанное. Во время пути тревога не покидала Куделинского.

Когда они приехали на квартиру графини Нейгоф, там уже успели побывать полиция и полицейский врач.

Последний, отведав Марича в сторонку, заговорил с ним. Софья с виду была совершенно

спокойна, но ее красивое лицо было мертвенно-бледно.

– Уговорите, чтобы хоть вскрытия не было, – шепнула она Маричу, улучив момент.

XXIV

Зловещая встреча

Куделинский прошел к графу. Нейгоф, кое-как прибранный, лежал под простыней на той постели, где его застал роковой момент. Станислав Федорович хотел отбросить простыню, но какая-то неведомая сила удержала его руку.

– Не могу, – прошептал он. – Не могу... Что это значит?..

Он отошел к окну и прислонился к холодному стеклу пылающим лбом.

В таком положении застала его Софья.

– Станислав! – притронулась она к его плечу.

Куделинский вздрогнул.

– Что с тобой? – глядя на него с удивлением, спросила молодая женщина. – Опомнись!

– Я, право, не знаю, что со мною делается, –

пробормотал Куделинский. – Простудился я, что ли? Лихорадит всего...

– Неужели и у тебя нервы? Перестань! Не время для таких глупостей... Поезжай скорее на телеграф...

– Зачем?

– Как зачем? Ведь нужно дать телеграмму этому московскому графу.

– Разве он может приехать?.. Нет, нет... Ведь ты только что отослала письмо к нему, и теперешняя телеграмма обгонит его.

– Пусть... Так нужно... Поезжай и возвращайся скорее! Ты и Марич ночуйте сегодня здесь.

– Удобно ли? – пробормотал Куделинский и покосился на постель с Нейгофом.

– Пустое! Да что с тобой?! – с некоторым раздражением воскликнула Софья. – Тебя не узнать! Мне приходится распоряжаться... Поезжай и возвращайся скорее!.. Ну, что, Марич? – увидела она вошедшего в комнату Владимира Васильевича. – Уладили?

– Как будто, – ответил тот.

– Вскрытия, стало быть, не будет?

– Обещал, если только не потребуют этого

полицейские власти... Вы ушли бы отсюда ненадолго. Я и коллега осмотрим еще раз тело. Он желает этого... Коллега!

– Выйдем, Станислав, – сказала Софья и, увидав входившего полицейского врача, прибавила: – Прошу вас, доктор, пожалуйста!

Они перешли в гостиную.

– Право, – раздраженно заговорила Софья, – я не могу понять твой характер, Станислав, совсем не могу. Где ты смел, сообразителен, дерзок, а где и крылышки опускаешь. И первое – там, где чаще всего ничего подобного не нужно, а второе – там, где необходимо первое... Дряблая натурашка! Бледнеет, краснеет, дрожит... Фи!

– Так все это неожиданно, Софья, – пробормотал Куделинский.

– Что неожиданно?.. А если ты узнаешь, что еще стряслось, какая впереди опасность грозит! – и графиня коротко, но ясно рассказала Куделинскому о посещении Коноплянкина, о его требованиях и угрозах.

К удивлению Софьи, он не выказал ни малейшего признака тревоги.

– Ну, это он теперь пусть оставит, Коноп-

Лянкин-то этот, – совершенно спокойно произнес он.

– Ты думаешь, ничего? Доноса бояться не стоит?

– На кого доноса? На него? – кивнул Куделинский в сторону спальни. – Так на него доносить бесполезно. На тебя? Теперь донос был бы сплошной нелепостью... Ну, после поговорим... Я все обдумал. Телеграмму в Москву действительно дать нужно... Поеду. Телеграфировать буду с вокзала и оттуда прямо вернусь...

Он ушел.

Софья, только что упрекавшая его в дряблости, растерянности, сама как будто упала духом.

– Да, да, – шептала она, как бы отвечая своим тайным думам, – деньги, богатство... Хорошо!.. А лучше бы его не было... лучше бы!.. Какой ужасный путь ведет к нему, ужасный!.. Трупы... Козодоев, Нейгоф... Куда-то еще Квель делся? Кровь... Брр...

Звуки голосов заставили ее прийти в себя. Это выходили после осмотра Нейгофа полицейский врач и Марич.

– Что, доктор? – с тревогой подошла к первому Софья.

– Все, ваше сиятельство, благополучно, – то есть... тьфу, простите!.. Все... все, – запутался тот в словах, – все, как быть надлежит...

– Нет сомнений? Умер?

– Очевидно! Хотя лучше бы, знаете, ваше сиятельство, анатомировать... Оно, ваше сиятельство, никакого вреда не принесет... ни малейшего!

– Доктор! Мой бедный муж столько страдал в своей жизни, – заплакала Софья, – столько страдал... Не терзайте его хоть мертвого!.. Дайте покой хоть в гробу...

– Не смею идти против воли вашего сиятельства, – склонился перед молодой женщиной врач, – не угодно вам – не будем анатомировать... Я уже составил свое заключение на основании показаний милейшего коллеги. Он наблюдал вашего покойного супруга в качестве домашнего врача, а потому мне остается лишь присоединиться к его выводам.

– Да, да, коллега согласился со мной во всем, – вставил свое замечание Марич, – и уже подписал свидетельство о смерти...

– Так что дальнейшее мое пребывание здесь в такие минуты представляется излишним, – перебил его доктор. – Ваше сиятельство, имею честь кланяться!

– Спасибо вам, доктор, – с чувством произнесла Софья, – большую тягость снимаете вы с моего сердца!

Она протянула ему руку. Врач вышел.

– Зачем это вам понадобилось? – спросил Марич.

– Что? – рассеянно спросила Софья.

– А вот, чтобы вскрытия-то не было...

– Не знаю... когда я стала просить об этом доктора, у меня были какие-то соображения... теперь я забыла какие...

– И вышло все очень глупо, несуразно вышло, барынька, вот что! Ведь вскрытие сразу установило бы истинную, несомненную причину смерти, а теперь необъятное поле для всяких догадок... Поняли?

– Да, да... ведь вы правы, Марич!

– Еще бы не прав! Попадет вам от Станислава, и стоит! Да еще как стоит-то! Глупейший ваш каприз создаст такое положение, что и не расхлебашь.

– А поправить это нельзя?

– Что еще выдумали! Пешки, что ли, люди-то у вас? Не все такие, как ваш покойный супруг: куда вы его толкнете, туда он и валится... Теперь уже поздно...

– Ваше сиятельство, – явилась Настя, – гробовщики пришли.

– Гробовщики? – вздрогнула Софья. – Ах, да! Пусть подождут в маленькой приемной... Марич, помогите мне, распорядитесь... У меня голова кругом идет... Я устала. Станислав поехал и пропал... Не железная же я в самом деле!

– А что? Теперь другую песенку запели? На полдела силенки-то хватило! Не нужно и начинать было, а уже начали, так волей-неволей дотягивать нужно... По какой дорожке пошли, по такой и шагайте.

– Не силы мне не хватает, Марич, не силы! – простонала Софья. – Много силы у меня... А вот дорожка-то эта, о которой вы говорите... путь этот...

– Не нравится?

– Не-то, Марич, не то... Гибель Нейгофа, внезапная, потрясающая, думать меня заста-

вила... Ведь несколько часов тому назад этот человек был жив... Вот он в этом кресле сидел, Марич!..

– Ну, заныли! – махнул рукой Владимир Васильевич. – Это правило без исключений: сегодня жив, а завтра мертв. Так чего же беспокоиться? А вы про путь заговорили... Раздумывали, говорите, о нем?

– Да, Марич, страшен он, крови много...

– Ну, где кровь, там мы ни при чем. Квель тут ручки прикладывал, он в грехе, он и в ответе. Кстати, он и пропал. Тут по некоторым моим соображениям выходит, что ему за козодоевскую кровь судьба сама отомстила... Вам, барынька, ничего не известно? Нет? Ну, так и не знайте лучше ничего... А путь-то и ваш, и Стаськи, и мой вместе с вами, хоть он и ведет к богатству, а все таки...

– Ну, Марич, скажите, что вы думаете?

– Вас там ждут гробовщики.

– Сейчас я вас отпущу!.. Какой путь, Марич?

– Роковой, барынька милая, роковой путь, фатальный-с... Не сломать бы нам на нем своих шей... вот что! И не нарочно ли судьба ин-

дейка нас троих по этому самому пути направила? Впереди-то все темно, а мы по своему роковому пути курьерским поездом летим. Рытвинка маленькая, ухабец – тут нам в них и карачун... Вот что я думаю... А теперь пойду распоряжаться, вы же примите вид неутешной вдовы, а также не преминьте участвовать в переговорах да хлопотах, да платице на траурное перемените!

XXV

У гроба

Вечер этого дня и весь следующий прошли в обычных при таких случаях хлопотах. Софья, Куделинский, Марич ни одного часа не пробыли вместе. Суета совсем закружила их. Знакомых ни у Софьи, ни у Нейгофа не было, но все-таки на панихиду собиралось много народу.

Лишь на другой день, когда несчастный Михаил Андреевич лежал уже в пышном гробу, Софья после дневной панихиды решила прокатиться. Марич объявил, что ляжет спать, а затем уйдет по делам. Куделинский

также чувствовал себя настолько усталым, что отказался ехать с Софьей и прилег.

Молодая женщина вернулась освеженная прогулкой, успокоенная и на лестнице у своей квартиры встретила уходившего Марича.

– Слушайте, Марич, – сказала она, – что вы там болтали мне о судьбе-мстительнице, о Квеле. Ведь я четверть часа тому назад видела Антона Антоновича.

– Антона видели? – изумился Марич.

– Ну, да! Квеля! – подтвердила Софья.

– А вы, барынька, в открытом экипаже или в карете изволили кататься? – вдруг спросил Марич.

– В коляске... А что?

– Да ничего... Странно только мне, где вы спать ухитрились?

– Спать? Ничего не понимаю.

– И понимать нечего. Не бывает ведь снов наяву. Хотя малость да вздремнуть надобно... Ежели в карете – так оно удобно, а в открытом экипаже... Не понимаю, как вы это...

– О каких снах вы говорите?

– Да вот насчет вашего сновидения, в коем вы бедного Антошку видели.

– Ну, да, я видела его и, мало того, позвала.

– А он что?

– Он обернулся, но пошел дальше... Внимания, должно быть, не обратил.

– То-то вот и оно, что не обратил! А почему? Да потому, что был вовсе не Квель... Его и в живых-то нет...

– Квель умер? – вскрикнула Софья. – Ведь вы и Станислав говорили мне, что он исчез.

– А вот вы вашего Станислава спросите... Мне-то, знаете, не хотелось бы распространяться по этому поводу, да и не место на лестнице для таких разговоров... Так вот у Станислава все и узнайте, если вас так интересует.

Он поклонился графине и пошел вниз.

Софья несколько секунд недоумевающе смотрела ему вслед, потом быстро поднялась к себе и спросила у Насти:

– Станислав Федорович здесь?

– Здесь... К барину пошли... Читальщик отлучился, они и пошли... Прикажете позвать?

– Нет! Я сама пойду! – Графиня, сбросив меховую накидку на руки горничной, пошла в комнаты. – Да, Настя, – остановилась она, – нам нужно поговорить... Позаботьтесь, чтобы

никто не помешал... Если кто из этих читальщиков придет, позадержите их на кухне... – Она вошла в комнату, где стоял гроб. – Станислав! Что ты делаешь? – вскрикнула она, увидев, что Куделинский, стоявший к ней спиной, что-то трогает в гробу.

Куделинский испуганно отскочил.

– Не могу, Софья! – словно оправдываясь, произнес он. – Какая-то непреодолимая сила тянет меня взглянуть на него... Мне все кажется, что он живой... Смотри, даже его пальцы как будто сохраняют упругость... кожа еще влажна... смотри, – он приподнял веки Нейгофа, – глаза не остекленели...

– Так что же ты думаешь?

– Ничего не думаю.

– И думать нечего: Марич – доктор, полицейский врач тоже осматривал Нейгофа... Что они – слепые или невообразимые невежды? Откуда у тебя эти мысли?

– Не знаю... Я не ожидал, что так, без борьбы, само собой устроится-то, что нам было нужно... Немного позднее этому несчастному все равно пришлось бы умереть. Он сам догадался сделать это – и прекрасно!.. Разве мы

виноваты, что путь к нашей цели идет через его труп? Он должен был умереть, чтобы мы дальше могли идти свободно.

– Неужели непременно должен? – спросила Софья.

Куделинский подозрительно взглянул на нее и спросил:

– А тебе что же, хотелось бы, чтобы он не умирал?

– Хотелось бы! – призналась графиня.

– Почему? Или вы, моя достойная подруга, – ха-ха ха! – нервно захохотал Станислав, – успели влюбиться в этого слюнтяя, плаксу, графа с каких-то огородов?.. Влюбилась?

– Нет, не влюбилась, – спокойно ответила молодая женщина, – но откровенно скажу – мне его очень жаль.

– Тебе? Жаль?

– Да. Сядем – поговорим. – Она указала Куделинскому на кресло.

– Зачем здесь? – пробормотал Станислав. – Лучше перейдем в гостиную или спальню.

– Нет. Здесь нас никто не подслушает. Садись! – почти приказала Куделинскому Софья.

Станислав Федорович сел.

– Мне жаль Нейгофа, – продолжала графиня.

– Жалость у вас, женщин, – пробурчал Станислав, – первая стадия любви.

– Может быть. Но не в этом дело. Я думала, что удастся обойтись без этой смерти. Знаешь, Нейгоф был расхлябанным человеком – как бывает расхлябанное пианино. Каждый удар по нему вызывает только стоны, а не мелодию, но сам инструмент дорогой и нежный. Вот тебе весь Нейгоф. Он был добрый, хороший, чуткий человек. Он, Станислав, любил меня, и притом не так, как любишь ты. Что ты? Что твоя любовь? Ты – тот же Козодоев. Я для тебя – средство к достижению богатства, и только.

– Благодарю! – процедил сквозь зубы Куделинский.

– Не за что! Ты не сердись! Когда-нибудь нужно же высказаться и определить взаимоотношения. Я продолжаю. Любовь Нейгофа тронула меня: она была бескорыстна и чиста. Это была даже не любовь, а обожание. Этот несчастный жил мною, и мне было стыдно обманывать его.

– Понимаю! – перебил ее Куделинский. – Это значит, что, когда нам путь к нейгофским миллионам расчищен, все препятствия устранены, мы желаем воспользоваться всем сами, а тем, кто поработал на нас, быть может, бросим косточку, а может, и нет?

– Фи, Станислав! – поморщилась Софья.

– Нет, этому не бывать!.. Вы правы: я, пожалуй, тот же Козодоев и своего из рук выпускать не желаю. Да-с, не желаю! Козодоев решил выдать вас замуж за отвратительного босяка, к которому должны перейти по наследству миллионы, потому что через вас он делался полным хозяином этих миллионов. Козодоева нет...

– Вы убили его! – оборвала Куделинского Софья.

– Квель убил его! – выкрикнул Станислав.

– А ты убил Квеля! – отчеканила Софья.

– Откуда ты это знаешь? – воскликнул Станислав.

– Мне сказал Марич.

– Лжешь! Марич не мог это знать, он ничего не видел.

– Но ты сейчас сознался сам.

– Ну да, сознался, черт возьми, сознался! – крикнул в исступлении Куделинский. – Я сбросил Квеля под поезд, когда он сбрасывал туда же сыщика Кобылкина.

– Еще труп! – вскочив с кресла, крикнула Софья, хватаясь за голову.

– Да, черт возьми, труп! – крикнул Станислав. – Труп, трупы! Всех убью, кто на пути встанет!

– Квель разве стоял на пути?

– Квель был лишним. Этот зверь только и жаждал убийства и крови... Вспомни Козодоева.

– Да, – согласилась Софья, – это было ужасно. Но ты не из-за этого убил его.

– Все равно. Я убил его, потому что люблю тебя. Ах, Софья, Софья! Какой страшный упрек ты мне бросила. Нейгофа – сущую тряпку – выше меня поставила, а ведь ты знаешь – сердце мое принадлежит тебе. Весь я в тебе одной. Ради твоего счастья я вступил на этот страшный путь.

– Роковой! – произнесла Софья.

– Да, роковой! Что же я, несмышленный, не понимаю? Беден я как церковная мышь, а ты

со своей красотой – бриллиант... Что бриллиант без оправы? Его даже ювелир в грязи не заметит. Я эту оправу создать тебе хотел. Нейгофские миллионы – чего же лучше? Я решил, что они должны быть твоими. Я напустил на Козодоева Квеля. Кровь... Я убил Квеля. Эту гадину стоило убить. Остается Марич. Это – безобидное животное. Теперь Нейгоф. Я его убил бы тоже, если бы он не догадался умереть.

– Не убил бы, – возразила Софья. – Я не допустила бы.

– Ну, положим. Ведь я, Софья, люблю тебя. Я убил бы графа, если бы заметил, что ты расположена к нему. Я ревнив, Софья. Отдать тебя? Да я никому тебя не отдам!.. Вот сейчас – хочешь? – я пойду и расскажу всем о нашем деле... На каторгу пойду, но и ты вместе со мной... Я убил Квеля и не знаю, откуда это узнал Марич. По их телеграмме я уехал в Москву, но слез с поезда на промежуточной станции. Клянусь тебе, я хотел только посмотреть, как они управятся с проклятым Кобылкиным. Я вернулся с первым поездом, а они уже обделывали это дело. Квель вынес – я видел это – бесчувственного Кобылкина, и я

толкнул его под поезд вместе с его жертвой. Этим я спас и тебя, и себя, и Марича. Квель со своей кровожадностью испортил бы все дело. А ты...

– Я говорю, что мне тяжело было лгать Нейгофу, – сказала Софья, – ведь это письмо... Я солгала ему о будущем ребенке, но если бы ты видел, как обрадовался этот несчастный!

Она закрыла лицо руками.

– Брось, – остановил ее Куделинский. – Жаль, что солгала... Правда была бы выгоднее. Теперь придется хлопотать. Но все равно это дело будущего... Мы идем к миллионам и возьмем их. Только, Софья, ни шага в сторону, ни малейшего шага... Жалеть таких, как Нейгоф, нечего. Для них смерть – благо.

– А вот для меня, хоть бы и от твоей руки, она благом не была бы, – раздался мужской голос. В комнату вошел не замеченный ни Куделинским, ни Софьей Марич. – Я почти все слышал, – сказал он.

XXVI

Новый удар

Марич произнес эти слова с насмешкой.
– Ты слышал? – кинулся к нему Куделинский.

– Ну да, – хладнокровно ответил Владимир Васильевич. – Ты это – речь-то твоя – всерьез?

Куделинский наступал на него, тесня вперед. Волей-неволей Марич должен был податься назад.

Незаметно для самих себя они перешли так – один наступая, другой пятясь – в соседнюю гостиную.

Софья тоже вышла за ними.

– Я очень рад, что наконец узнал, куда девался Квель, – произнес Марич. – Ведь я не подозревал, что исчезновение Антона – дело твоих прекрасных рук. Я и не подозревал, Станислав, что ты ехал тогда в одном поезде с нами. Ты – молодец! Ловкач! Я ведь все думал, что Квель по своей неосторожности упал с площадки, а оказывается, вот что...

– Марич! – угрожающе произнес Стани-

слав. – Ты в опасную игру играешь!

– Я? Пожалуй, и так... С тобою, оказывается, быть в близости опасно. Барынька, – обратился Марич к Софье, – примите это к сведению.

– Принимайте, все принимайте, что хотите! – воскликнул Куделинский. – Пусть будет что будет! Я не боюсь вас! Мне все равно. Берегите сами себя. Я пойду до конца. Слышишь, Софья, до конца! – он схватил ее за руку. – Козодоев убит недаром, Кобылкин тоже, Квель тоже...

– Квель жив! – отчеканила Софья.

– Жив? Квель? – побледнел Станислав Федорович.

– Да! – бросила графиня.

– Что, друг милый, хороша конфеточка? Мне наша барынька уже говорила, да я ей не поверил, думал, что мертвых с погоста не носят, а оно выходит, что на свете всякие дела бывают.

– Жив, жив, – повторял, беспомощно опустив руки, Куделинский, – ты его видела, Софья?

– Видела, сегодня...

– И заметь, – вставил Марич, – Антошка воскресший или, как я догадываюсь, вовсе не умиравший, если верить нашей барыньке, даже внимания не обратил, когда она вздумала окрикнуть его. Повернулся, посмотрел на нее и пошел дальше.

– Так, Софья? – мрачно спросил Станислав.

– Да, – Софья утвердительно кивнула головой.

– Дело осложняется: явился новый враг, и враг опасный, – чуть слышно проговорил Куделинский. – Осложнение! В такой момент!..

Он не договорил и, отойдя, сел к столу.

– Видите, барынька, нечистая совесть заговорила! – указал на него Марич. – Так оно всегда бывает, когда человек не за свое дело берется... Тоже в Квели захотел! Каждое дело, Стасик, мастера боится... Эх ты, господин белоручка!

– Не повезло! – мрачно произнес Куделинский.

– Верно, друг! Линия твоя не вышла... Вот вышла бы линия, заиграла бы и дудочка глиняная, а то и кларнет – все, ничего нет!

– Марич, оставьте эти шутки! Помните,

там покойник! – кивнула Софья на соседнюю комнату и, подойдя, притворила двери.

Владимир Васильевич засмеялся:

– Не услышит он, барынька, а если бы мертвые слышали, очень ему интересно было бы наш разговор послушать... Всю нашу подноготную узнал бы. Собрались четверо достойных представителей современного общества: прекрасная дама – это я про вас, – двое молодых людей приятной наружности и даже с высшим образованием – это я теперь про себя и про него, – кивнул Марич на Куделинского, – и для черной работы простолюдин был подыскан; собрались, спелись и образовали сообщество, в уголовном законе шайкой именуемое. И направлено было это сообщество для уловления некоторых миллионов. Цель прекрасная – кому в наш прозаический век миллионы повредить могут? Только одна беда, что сразу они не даются. Поохотиться за ними нужно. Охота же свои неприятности всегда имеет. Лес охотникам рубить пришлось. А где лес рубят, там не одни щепки летят – и целые деревья валятся. Дровосеком-то среди нас Антон был. Ой, как косил! Одного

Козодоева вспомнить...

– Молчать, Марич! – не выдержал Куделинский.

– А зачем молчать? – иронически спросил тот. – Поучительные примеры забывать не следует. С Козодоевым чистая работа была, а как человек без достаточного опыта за дело принялся, сейчас все по швам расплзаться стало – во все стороны так и поехало.

– Марич! – опять остановил его Куделинский голосом, в котором рокотали нотки гнева. – Если ты не замолчишь, я...

– Ты меня убьешь? Напрасно, не сумеешь...

Станислав Федорович вскочил с кресла и двинулся с угрожающим видом к Маричу.

– Что вы! – бросилась между ними Софья.

– Оставьте, барынька, – воскликнул Владимир Васильевич, – пустое! Такие, как он, умеют только из-за угла действовать... Стой! – протянул он к Куделинскому руку.

Тот остановился, пожирая Марича гневно сверкающими глазами.

– Владимир, – глухо заговорил Куделинский, – ты говорил достаточно. Послушай же и меня. Какими-то судьбами ты пронюхал

или, может быть, догадался о Квеле... Да! Отпираться мне нечего, я столкнул его с поезда. Что он жив – этому я не верю: Софья ошиблась; но если бы он даже и был жив, – то все же о том, что сделано, вспоминать нечего. Нужно или бросить все дело, или довести его до конца.

– Что верно, – то верно, – согласился Марич.

– Если мы бросим это дело, на нас обрушатся такие беды, которых мы и во сне не видели. Ты слышишь? У одного человека есть путеводная нить к смерти Козодоева... Он держит ее в руках и сообщит, куда следует о том, что в тот вечер у Козодоева был граф.

– Это ты, сердечный друг, уж не о Кобылкине ли?

– Нет! Нашелся знающий Нейгофа и Козодоева трактирщик. Он разыскал графа для старика, и от него Козодоев в вечер своей смерти увез Нейгофа к себе. Этот человек уже являлся к Софье и Нейгофу с целью шантажа. Если он донесет...

– Так все обрушится на графа, – перебил Марич.

– Я думал об этом, но Нейгоф и после смерти должен остаться чистым. Да притом и не простачки же там сидят, где такие дела ведают... Я сказал: «путеводная нить». По ней доберутся и до нас. Тогда никто не уцелеет.

– А ведь и это верно, – согласился Марич.

– Что же нам делать?! – воскликнула Софья. – Станислав, Марич! Вы правы: наш путь роковой, он нас ведет прямо в бездну...

– Ну, не в бездну, положим, – перебил ее Марич, – а всего только на каторгу. Что же? И там люди живут, да еще как живут-то!

– Марич, – глухо произнес Куделинский, – нам троим на каторгу незачем идти. Ее нужно спасти, – указал Станислав на Софью.

– Нужно, – пробормотал тот. – «Ярославские крендели» вместо браслетов и кавалер из конвойной команды вовсе не к лицу такой прелестной особе.

– Вы меня пугаете, Марич, – заговорила Софья сквозь слезы. – Разве это неизбежно?

– А вы, барынька, как думали? С подобными нам синьорами шутить не будут. Вот ваш Станислав сообразил, кажется, в чем дело. С одной стороны – кабатчик, а с другой, если вы

только не ошиблись, – Квель. От одного отделаемся, другой насыдет. Уж Квель-то, если он жив, не пощадит – не таковский... Он себя не пожалеет, а всех нас на чистую воду выведет...

– У меня есть план, как поправить все, – сказал Куделинский.

– Говори, обсудим, – откликнулся Марич и вдруг оборвался.

Из зала, где стоял гроб с Нейгофом, раздался ровный, протяжный голос.

– Читальщик! – вскрикнула Софья.

Куделинский схватился за голову, Марич даже присел от неожиданности. Софья опомнилась первая. Она быстро прошла к дверям и остановилась около них. Чтение прервалось, и было слышно, что у гроба двое людей.

– Там еще Настя, – шепнула графиня подкравшемуся к ней Куделинскому. – Тсс!

Куделинский затаил дыхание.

XXVII

Решительные планы

Софья быстро отворила дверь и с порога проницательно посмотрела на стоявшего около гроба читальщика. Это был средних лет мужчина с бледным, испытанным лицом. Судя по внешнему виду, он был совершенно спокоен.

Настя быстро отошла в сторону и затем скрылась в коридоре.

– Вы неисправны, – сказала Софья, обращаясь к читальщику, – я не видела вас до сих пор.

– Простите великодушно, ваше сиятельство, – произнес тот, кланяясь графине, – я пошел подкрепиться с товарищем и запоздал малость...

– Вы давно явились?

– Сию секунду; только что пришел и встал.

Голос его был спокоен.

«Он ничего не слышал», – подумала графиня с облегчением.

– Кажется, все благополучно, – проговорила она, возвращаясь к Куделинскому и Мари-

чу. – Но, конечно, разговор нам придется прекратить...

– Никто не мешает нам продолжить его, – заметил Марич. – Но для этого пусть заложат карету. Там мы можем говорить, не опасаясь, что нас услышат.

– Правда, – согласился Куделинский, – докончить разговор необходимо, и Марич высказал прекрасную мысль: в карете нас никто не услышит.

– Тогда я распоряджусь, – пошла к дверям Софья.

– Ах, Станислав, – покачал головой Марич, – ты был неосторожен!

– Я увлекся, – пожал плечами Куделинский, – да мне теперь все равно. Ведь я уже сказал, что меня осенила мысль.

– Можно узнать, какая?

Куделинский подошел и в упор поглядел на Марича:

– Ты понимаешь, что Софью нужно спасти?..

– Я понимаю лишь-то, что вмешательство этого трактирщика грозит непредвиденными осложнениями.

– И не только оно...

– Ты намекаешь на Квеля? Если он жив, – то действительно наше положение скверно. Я не вижу такого пути, которым можно было бы спастись от грозящей опасности...

– А я вижу и знаю. Я донесу властям о том, кто убил Козодоева.

– Как! – отшатнулся от него Марич. – Ты донесешь?

– Да, я... Только бы найти этого Квеля, если он жив.

– Право, я не понимаю тебя! Квель молчать не будет!..

– Пусть не молчит.

– Так чего же ты достигнешь своим доносом?

– Спасу Софью!

– Ты припутаешь ее... Вспомни тот вечер!

– Я и не забывал его. Вместе с доносом на Квеля я донесу и на себя, как на его соучастника, и...

– Ты рехнулся, Куделинский! – прошептал Марич.

– Нисколько! – усмехнулся Станислав. – Это будет вернейшим выходом... Чем я

рискую? Ну, посадят меня, ну, приговорят к ссылке! Что же из этого? Все лучше будет, чем если бы попались все мы: я, ты, Софья. Софья останется в стороне. Она смела, энергична, упорна в достижении цели. Да теперь и особенных энергии и упорства не нужно. Нейгофские миллионы подкатятся к ней сами собой... Понимаешь: сами собой! Она – графиня Нейгоф. Граф Михаил написал в Москву своему родственнику, прямым наследником которого он является, об ожидаемом им ребенке... его ребенке, законном его ребенке...

– А если не будет этого ребенка? – недоверчиво спросил Марич.

– Пустое! Он должен быть, и он будет! Нужно непременно устроить так, чтобы Софья осталась чиста от всяких подозрений. Ради этого я пожертвую собой, вернее сказать – несколькими годами своей жизни... Ну, потерплю там немного... Это ничего! Софья любит меня и поможет мне, да при ней еще и ты останешься. Не думаю, чтобы вы позабыли меня...

– Ты, Станислав, смельчак, каких мало! – воскликнул взволнованный Марич.

– Смельчак не смельчак, – улыбнувшись, ответил Куделинский, – а человек решительный, жаждущий успеха. Мы приперты к стене случайными и потому непредвиденными обстоятельствами. Стало быть, нужно найти такую лазейку, через которую если не все, – то те, от кого зависит успех в будущем, могли бы выйти на простор. Мне кажется, что я такую лазейку нашел. Вот и все.

– Но это – великая жертва!

– Что же делать, если обстоятельства требуют жертв, – пожал плечами Куделинский. – Впрочем, у меня начал складываться один план... Быть может, удастся устроить все так, что мне не придется рисковать своей особой.

– Какой план? – спросил Марич.

– Пока я еще не уяснил всех деталей; когда буду уверен, я скажу тебе. Но вот Софья... Что, Соня? Можно ехать?

– Поедемте, – ответила появившаяся в гостиной Софья. – Но не забывайте, что нужно вернуться к вечерней панихиде.

– Успеем, вернемся, а в крайнем случае мы с Маричем пропустим ее, – ответил Куделинский.

Они уехали.

Едва только закрылись за ними двери, как читальщик прекратил чтение и отправился на кухню.

Там были горничная Настя, кухарка Дарья и красивый парень, которого Настя отрекомендовала читальщику как своего жениха, называя его при этом Афанасием Дмитриевичем.

– Очень приятно! – протянул новому знакомому руку читальщик. – А меня Алексеем зовут, Богдановым по фамилии. Судьба мне такая вышла, чтобы у покойников читать.

– То-то вы и читаете! – засмеялась Настя.

– Что поделать-то, красавица! – возразил Богданов. – Слабость человеческая... Водочки бы мне, милая, водочки бы самую малость...

– Уж знаю, зачем пришли! – опять засмеялась Настя. – Припасла для вас нарочно, потому что ваше дело такое, что без водки страшно... вот с Афоней моим и выпейте на здоровье.

На столе появились водка, закуска.

– Страшно вам, поди, бывает? – полюбопытствовал Афанасий.

– Привычка, любезный мой, все привычка! – повеселевшим голосом ответил Богданов, успевший проглотить свою рюмку. – Да притом покойники разные бывают. Ежели которые в гробу беспокойны, так оно действительно неприятно.

– Как беспокойны? – взвизгнула Дарья. – Да разве есть такие?

– А вы как, мадам, думаете? Есть, мадам, и беспокойные покойнички-то... Так бывает, что вдруг в гробу дышать начнут, а не-то шевелиться. Это, доктора сказывали, газы выходят... А то вдруг ногами начинают дрыгать, либо лежит лежит, сердяга, да вдруг ручками так и разметнет в обе стороны.

– Какие ужасы! И вы не боитесь?..

– Спервоначала страшновато было, а потом ничего, пообвыкся. Подойдешь, поправишь горемыку – только и всего... Угостите, драгоценная, еще одной... вот с женишком-то я вашим выпью...

– А наш как? Покойный? – спросила Настя, наполняя рюмки.

– Ваш-то – не покойник, а золото, доложу я вам... Лежит себе спокойнехонько, иной раз

взглянешь, ну, спит, да и все тут. И чуть не в первый раз вижу: никаких этих газов, никаких подергиваний... А ведь я-то... Да не скупитесь, драгоценная, соблаговолите еще единую ради такого случая! – Богданов уже начал хмелеть и нетвердым голосом проговорил: – то есть Алешка Богданов, Козелок по прозвищу, с этим вашим графом большим приятелем был!..

– Вы? – удивились слушатели. – Да как же так? Его сиятельство и вы...

– А так выходит, что ваш граф недавно графом стал, а допрежь этого он пребывал в босяках и Минькой Гусаром назывался... Вот как с вами теперь, не одну мы с ним сороковку осушили... Пил он очень... шибко пил, а потом исчез, как в воду канул, и вдруг в графах очутился... Эх, выпить еще одну!

Новая рюмка как будто окончательно закружила ему голову.

– А вот того, что я... хе-хе-хе... слышал, как читать встал, – вдруг объявил он, – того я не скажу... Не скажу, потому что я – могила.

– И не говорите! – ответила Настя. – Мы не любопытные какие-нибудь! Дашенька, прой-

демте в комнаты... Прибрать там нужно.

Они вышли.

– Афанасий Дмитриевич, – обратился Богданов к жениху Насти, – хороший ты парень, больно ты мне полюбился. Гляжу я на тебя и насквозь тебя вижу, какой ты хороший человек. – Совсем охмелевший читальщик полез к Афанасию целоваться. – Дельце я тут у вас одно сварганил... Ах, какое дельце! Одна сласть малина, и больше никаких...

– Какое дело? – спросил Дмитриев.

– Малина, говорю, и ты мне верь. Хочешь в долю? А? Серьезное дело! Выпить после можно будет страсть сколько!.. А ты, сердяга, – парень хороший... Я тебя полюбил, потому и предлагаю... В иных местах удавалось и теперь удастся...

XXVIII

Босяки

Пьяный Богданов схватил за рукав Афанасия и потащил его в комнаты.

– Ты мне скажи сперва, в чем у тебя дело? – упирался Дмитриев. – Иначе я не пойду!

– Ну и не ходи... Я-то за тобой как за дитем каким хожу, а ты ломаешься... Не ходи, и я вот не пойду, сяду, и буду пить! – Богданов плюхнулся на стул, вылил остатки водки и выпил. – Ты кто здесь такой? – начал он куражиться. – Жених? Чей жених? Здешней горничной! А хочешь, я вот тебя в участок отправлю? Хочешь?

– Было бы за что! – засмеялся Афанасий.

– А вот за-то самое: за соучастие!

– Мели, Емеля, – махнул рукой Дмитриев.

– Ты со мной так не говори! Я все доказать могу, потому что все слышал!..

– Что слышал? – насторожился парень.

– А вот-то, что госпожа графиня, ваше сиятельство, значит, говорила и что другие с ней два господина говорили...

– Да скажи ты толком, что такое?

– А-то говорили, что убили они кого-то...

Козодоева какого-то, и теперь должны на Сахалин пойти... Вот что они говорили!.. Понял? Я, брат, умный... Тихохонько вошел, на цыпочках, слышу – говорят громко... «Дай послушаю». Подошел к своему месту и притих... А они там ничего не слышали, и говорили так, что все до единого слова мне слышно было... Выпить бы! Страсть как хочется... душа горит...

– Пойдем, коли так, – предложил Дмитриев.

Он казался чем-то озабочен, и даже торопился увести пьяного Богданова.

– Угостишь? – обрадовался тот.

– Знамо дело! Пойдем только отсюда.

Дмитриев под руку повел нового знакомого.

Козелок болтал без умолку, но совсем позабыл о своем таинственном предложении, которое сделал Афанасию, а тот тоже как будто не интересовался им, стараясь незаметно выпытать у пьяненького как можно больше подробностей о разговоре Куделинского, Мари-

ча и графини Нейгоф.

Наконец его пьяное бормотание надоело Афанасию.

– Ты сиди, – объявил он, поднимаясь из-за стола грязного трактира, где угощал Козелка, – а я пойду.

– Куда, друг? – уставился тот на него помутившимися глазами. – А как же я?

– Это уже твое дело... Не в няньках ведь я при тебе состоять взялся. Угостил, и довольно! – и Афанасий тронулся от стола.

– Миленький, – едва поднялся на ноги Козелок, – воззри на бывшее подобие человеческое и не пренебреги... Ссуди на бутылочку.

Дмитриев с отвращением посмотрел на него и швырнул на стол две серебряные монетки.

Водку пьяному читальщику давать не хотели, но он все-таки ухитрился достать полбутылки хмельной влаги, выпил ее чуть ли не разом и окончательно свалился с ног. Его вышвырнули за дверь трактира. Но инстинкт не оставил несчастного алкоголика. Он побрел сам не сознавая куда и наконец пробрался на кобрановские огороды, где и успокоился под

кучей рогож, приготовленных для прикрытия парников.

На другое утро, чем свет Козелка разбудили пинки огородного сторожа.

– Опять появился, нечистая сила! – кричал тот, выгоняя Козелка. – Столько времени не был, думали, что окочурился, а он жив и в невредимости пребывает.

– Оставь, Семен Макарович! – сумрачно ответил Козелок. – Трещит! – указал он на голову.

Вокруг него собралась толпа босяков.

– У кого, миленький, из нас этот аппарат поутру не трещит, – со смехом поддел Козелка веселый Зуй, тот самый, который вместе со своим товарищем Метлой получил деньги от Нейгофа, когда тот вздумал прийти прощаться со своими бывшими товарищами.

Сумрачный Метла был тут же.

– А ты не смейся! – остановил он Зуя. – По себе знаешь, тошно нашему брату, когда опохмелиться нечем.

– Ну, вы, чего встали да галдите, словно на бирже? – закричал на них сторож. – Прочь все пошли!

– Поработать бы... – робко сказал Зуй.

– Сказано, все вон!

– Хоть бы на сороковочку единую, Семен Макарович!

– Ничего не будет: нет сегодня никакой работы... Да вы что? – расствирепел сторож. – Внимания не обращаете, дряни этикие? Вот возьму метлу...

Босяки гурьбой направились к выходу с огородов.

– Эх тих-тих! – философствовал Зуй. – Вот бы когда Минюшка Гусарчик наш вспомнил о нас... Где-то он теперь? Поди, на серебре питается, из золотых стаканчиков выпивает, позабыл о нас, сирых!

– Минька Гусар? – вдруг так и озарилось воспоминанием лицо Козелка, державшегося вместе с Зуем и Метлой. – Минька Гусар? Дело, братцы!

– Видел ты его, что ли? – ткнул читальщика в бок сумрачный Метла.

– Еще бы не видеть! Ближе, чем вас вижу.

– Где?

– Вот-то то и оно где! Ведь помер Минька то...

– Как помер?! – воскликнули, останавливаясь, оба босяка.

– А так, как все помирают. Да он и не Минька Гусар был, а граф Михаил Андреевич Нейгоф... Его сиятельство...

– Вон она птица-то какая! – прошептал, вздыхая, Зуй.

– А сколько раз мы его смертным боем колачивали? – произнес Метла. – Умер, говоришь? Не врешь?

– Чего врать, ежели я сам у его гроба читал?..

– Эх, жаль малого! – протянул горестно Зуй. – Добрый он! Уж раздобылись бы мы у него деньжатами...

– И теперь раздобудемся! – объявил Козелок.

Зуй и Метла даже отскочили от него.

– Ты это что же? – поднял кулак последний. – Издевки творишь?

Он рассвирепел, глаза его налились кровью. Они уже порядочно отошли от огородов и были теперь среди бесконечных пустырей.

– Дай ему, Метла, раза хорошего! – закричал Зуй, тоже рассердившийся на Козелка.

– Да стойте вы, лешие оголтелые! – закричал не на шутку испугавшийся Козелок. – Ведь дело я говорю, а не издевку творю... Слышь, читал над нашим мертвым Минькой Гусаром я...

– Знаем, ты к этому делу издавна присноровлен.

– Вот-вот! И все какие ни на есть тонкости его превзошел. Видишь ты, братцы, какое это у нас у всех, почитай, дело выходит: ежели видим мы, что родственники в расстройстве душ от великого горя, да если видим, что вещь какая-либо плохо лежит и внимания заслуживает, так мы ее цап – и под покойника...

– А а! – протянул Зуй. – Вот оно что. В самом деле, на дело похоже.

– То-то и оно! А вы меня бить хотели!

– Так ты что же? – вернул разговор на прежнюю тему Метла. – Цапнул ты, что ли?

– Ну да, бумажник... И денег в нем кипа! Сторублевки все...

– Ай да Козелок! – воскликнул Зуй.

– Я под Минькину головушку бумажник-то схоронил... Надежно. Искать стали бы – не

найти! Кто ни ищи вещь, в гробу пошарить не догадается... А наш брат хитер: поправить покойничка всегда дозволяется... Ну и поправишь, когда никто не смотрит, особенно после прощания последнего... Оно и не заметно... Удавалось не раз!

– Так где же у тебя бумажник-то? – полюбопытствовал Метла, глаза которого разгорелись алчным огнем при рассказе Козелка.

– Ох, и не говори! – вздохнул тот. – Беда вышла. Перебрал вчера лишнего да на чтение и не попал.

– Тогда пиши пропало, – махнул рукой разочарованный Зуй.

– Ну, это еще вилами по воде писано! Его сиятельство, Миньку Гусара нашего, только сегодня хоронят, а потому, ежели поторопиться на кладбище, как раз к последнему прощанию успеем... Понял, Метла ты этакая обитая?..

– Сторублевки, говоришь? – спросил сумрачный босяк.

– Кажись, и крупнее есть, – отозвался тот. – Только и всего, что из-под Минькиной головы вынуть.

– Тогда была, не была – идем! – решил Метла.

XXIX

На кладбище

Идти троим босякам нужно было на совсем другой, заречный конец столицы.

День выдался ненастный, зима уже прошла, началась ранняя весна. Дул шквалистый ветер со взморья. Лед на Неве и каналах набух, побурел; на улицах, в особенности на окраинах, была непроходимая слякоть.

– Ну и погодка! – ежились в своих лохмотьях босяки.

– Выпить бы! – занял Козелок. – Трещит, братцы, голова-то у меня после вчерашнего... Мысли собрать не могу...

– На что выпьешь? – сплюнул со злобою Метла. – Ни гроша... Ты чего это? – обратился он к Козелку.

Тот с особенным выражением на лице шарил у себя в карманах.

– Нашел, родименькие, – радостно воскликнул он, – нашел ведь! Вот он, капи-

тал-то!..

На его ладони блестела серебряная монетка – последняя из данных ему накануне Дмитриевым.

– Вот кстати-то! – так весь и просиял Зуй.

– Именно, – крикнул Метла, – как собака, продрог я, погреться не мешает!

– А вот я сейчас схлопочу! – отозвался Козелок и кинулся в ближайшую винную лавку.

Принесенная им водка в один момент была выпита тут же на улице.

– Х-а-арошо! – так и расцвел Зуй.

– Хорошо, да мало! – буркнул Метла.

– А ежели стрельнуть? – предложил Козелок. – Втроем-то живо еще на сороковку настреляем. Рассыпья, ребята, только друг друга из вида не теряй!

Товарищам повезло. На кладбище они явились сильно навеселе.

– Тише, братцы, – шепнул обоим Козелок, –пусти меня вперед и вида не показывай, что меня знаете.

– Что там такое? – лениво протянул Метла.

– Знакомца приметил... вишь! – указал Богданов на стоявшего у решетки человека. – По-

дождите малость...

Он смело подошел к своему «знакомцу» и, тронув его за плечо, воскликнул:

– Афанасию Дмитриевичу, приятелю, почтение!

Дмитриев – это был он – обернулся.

– А, живая душа на костылях! – воскликнул он. – Тебя-то мне и нужно!

– Зачем? – испугался Козелок.

– Дело есть.

– Разве вышло что?

– Что вышло!.. Графа похоронили.

– Похоронили? – присел Козелок.

– Что же с ним еще делать то?.. А вот ты мне нужен.

– Похоронили? – все еще не пришел в себя Козелок. – Ну и дела!.. На могилку бы его пройти... Ведь сколько этой самой водки вместе с ним вылакали – страсть! Друзьями были закадычными... Должен же я, можно сказать, последний долг воздать... Проводи ты меня, поклонюсь я хотя могилке, а потом весь я твой... со всеми потрохами.

Афанасий почему-то был на этот раз особенно приветлив с Козелком.

– Ну, быть по-твоему! – согласился он. – Идем скорее.

Они пошли. Зуй и Метла следовали за ними на некотором расстоянии.

– И как нехорошо вышло-то все! – рассказывал Козелку Афанасий. – Даром что покойник-то графом был, а ни одного графа, почитай, так не хоронили. Ведь, слышь, графиня-то, вдова, разнедужилась... «Я, – говорит, – не могу, у меня нервы!» С полдороги отстала, а с нею и господин, который при ней для утешения состоит... Я, Настасья да Дарья и проводжали только... Под самый конец чернявый с бородой, доктор что ли, пришел, он и в конторе рассчитывался... Да и этот хорош... Отвалил могильщикам на чай и ушел... Так и бросили все графа бедного... – Афанасий вздохнул. – Ты чего ерзаешь? – заметил он какую-то нервозность в своем спутнике.

– Так, ничего... Сожалею... – ответил Козелок. – И на что я тебе, милый человек, понадобился?

– Угостить хочу!

– Это за что же ты угощать меня будешь?

– После узнаешь... Вот она, могилка-то

графская, – указал Афанасий на незаметный могильный холм и прибавил: – Эх, скоты негодные, как завалили-то!..

Холм был насыпан кое-как. Крупные комья земли были набросаны как попало и даже не прибиты как следует. Рядом, в ногах двое здоровых парней копали новую могилу.

– Чего лаешься-то? – крикнул один из них Афанасию.

– А того, что стоит вас, иродов, лаять! – ответил тот. – Разве так могилы насыпают?

– Ты чего петушишься? Твой, что ли, покойник?

– Мой не мой, а вот доложу господам, которые его хоронили, скажут они в контору – напреет вам.

– Ишь ты какой дошлый! – крикнул один из могильщиков. – Не бойся, не убежит покойник то!

Он взмахнул заступом, но не рассчитал и ударил по земле с такой силой, что послышался треск ломающегося дерева.

– Ты это что? – наклонился в могилу товарищ. – Никак, по гробу попал?

– Промахнулся малость, – сознался первый

могильщик. – Ножную стенку отколол... Земля – что тесто...

– Так приткни ее да глинки подсыпь, будет держаться...

– Учи еще! Будто не знаю!

Взметнув раза два заступом, могильщик глиной прикрыл и пролом в гробу, и образовавшееся в могиле с Нейгофом отверстие.

– Тоже хоронят! – ворчал он. – Одного на одного... Положим, им все равно, да нам-то как оберечься?

– Ты, мил человек, не гневись! – уговаривал между тем его товарищ Афанасия. – Мы ведь тоже свое дело знаем... Слышь, палят? Чувствуешь, ветер-то какой? А? Коли в такой ветер палят, стало быть, вода поднимается... а у нас здесь, ежели высоко – заливает... Вы бы, или там господа твои, в первом разряде хоронили, а то место неважное, дешевенькое... Ежели вода поднимется да зальет, размыв будет... Снова насыпать придется, так два раза одно дело делать нечего... Понял, друг?

– Понял давно, что лентяи вы несовестливые!

– Уж и лентяи?! Вот сюда, – указал могиль-

щик на вырытую могилу, – жильца-то только завтра с железной дороги привезут, а мы загодя постарались, чтобы с утра, значит, не возиться, а как только привезут, сейчас: милости просим! Все у нас готово!.. А ты – «лентяи»!

Афанасий уже не слушал этого ворчанья.

– Идем, что ли? – крикнул он Козелку.

– Идем, коли хочешь, – все еще оглядываясь на могилу с Нейгофом, ответил тот.

– А это кто такие будут? – увидел Дмитриев переминавшихся с ноги на ногу Зуя и Метлу.

– Эти-то? – смутился Козелок. – А это – мои приятели... мы все вместе пришли.

– Ишь принесло! Тоже, поди, графу покойному вроде тебя друзья закадычные были?

– Были, миляга, были! – обрадовался Козелок. – Все это наша одна компания... Тоже попрощаться пришли...

– Ну, и пусть себе прощаются, а мы пойдем.

– Пойми ты, – приостановился спутник Афанасия, – не могу я так напустую товарищей оставить...

– Что мне, всех вас тащить, что ли? – рассердился Дмитриев. – И тебя одного достаточ-

но.

– Я так со всем моим удовольствием, а только они не отстанут... Ничем их от меня не отгонишь, – ныл Козелок, – разве на угощение им дать?

– А что? – воскликнул Дмитриев. – Ведь и вправду дать им малость, а потом пусть идут себе куда хотят.

– Дай, миленький, дай! – юлил читальщик. – Весь я тогда к твоим услугам буду.

– Позови-ка их! – распорядился Афанасий. Козелок бросился к товарищам.

– Что, сивый леший? – встретил его Метла. – Опоздал?.. Где сторублевки-то?

– Что с судьбою поделаешь то! Сам сердцем плачу...

– Черт с твоих слез нам!.. Этакий кус прово- ронили! – негодовал Зуй.

– Вот погоди, ужо встретимся! – пригрозил его сумрачный приятель.

– Уж мы там как-нибудь разберемся, а я вам угощение схлопотал.

– Знакомец это твой, что ли? – спросил Зуй.

– Он, он... Меня-то ему по какому-то делу нужно, а вам он на угощение дает, отстаньте

ТОЛЬКО.

– Что ж, это можно, – согласился Метла, – нам все равно. Пойдем к Коноплянкину, и ты, Козелок, туда приходи... Да вот твой знакомец.

Действительно, Афанасий сам подошел к топтавшимся на одном месте босякам.

– Вы, братцы, не держите Козелка-то, – произнес он, – вот вам по полтине на нос, угощайтесь, а он со мной...

– Кто его держит! На что он надобен? – разом ответили и Зуй, и Метла. – А вам, господин, благодарствуем...

– Вот и отлично! Валите, ребята!.. Душеньки-то, знаю я, горят. А ты, Богданов, марш со мной! Сейчас и покатым.

– Смотри, Козелок, – закричал Зуй, – как господин отпустит, сейчас к Коноплянкину Сергею Федоровичу, в чайную приходи, там мы тебя дожидаться будем!

– Ладно, дожидайтесь! – с насмешкой ответил им за Козелка Дмитриев.

Алексей что-то почуял в его тоне и тревожно спросил:

– Да ты меня, Афонюшка, куда ведешь?

– А тут господин один поговорить с тобой желает... вот о том, что ты мне вчера болтал... Да ты иди, не бойся, худа тебе от этого никакого не будет.

Дмитриев чуть не силой толкнул Козелка, и вскоре они уселись в извозчичью пролетку.

XXX

Темный замысел

Зуй и Метла первым делом пропили данные им Дмитриевым полтинники.

Времени на это понадобилось не особенно много, зато идти к своим пустырям было весело.

Даже Метла после выпивки стал не так сумрачен.

– Ахти, какое дело сорвалось! – все-таки продолжал он сожалеть. – Сгнут сторублевки-то...

– Н-да! Не повезло! Вот тебе и Козелок!..

– Что Козелок? Он всегда пропащая тварь был... Этакое дело мимо носа проворонил!

Босяками вновь начало овладевать мрачное настроение.

Ветер усиливался, пушечные выстрелы громыхали все чаще, пошел мелкий, до костей пронизывающий дождь.

Поеживаясь, кляня судьбу, добрались босяки до чайной Коноплянкина и ввалились в нее в такое время, когда она, по обыкновению, пустовала.

– А, босая команда! – встретил их Коноплянкин. – Откуда ветер несет?

– И не говори, родименький, – заюлил перед ним Зуй, – из такого далека, что отсюда не видно.

– Смерзли, – заметил Метла.

– Как собаки, – то есть смерзли, – поддержал его товарищ. – Погреться бы...

Коноплянкин оглядел их и презрительно усмехнулся.

– Деньги на стол! – буркнул он. – Вот и погреемся.

– Деньги?.. Будут денежки-то, – заныл Зуй.

– Тогда и погреемся!

– Вот она, дружба-то, – вздохнул Зуй. – Говорил я тебе, Метла, плюнь ты на это дело. Куда уж нам со свиным рылом в калашный ряд? А ты, дьявол неумытый, нет, как это можно,

чтобы товарища да не проводить!

– Какого товарища? – заинтересовался Коноплянкин.

– А тут одного... Может быть, знаешь, а нето и слышал, может... Минюшку, Гусара нашего разлюбезного!.. Да что с тобой, друг Сергей Федорович?

Как ни мало проницательны были Зуй и Метла, но они заметили, что Коноплянкина всего передернуло, как только он услышал о Миньке.

– Что Минька?.. Как не знать его, – забормотал он и, преодолев волнение, спросил: – Проводили его, Гусара-то, говоришь?

– Довелось нам... и из проводов этих самых без грошика остались.

– Куда провожали-то? – спросил Коноплянкин.

Зуй, заметив его волнение, тихо свистнул и сказал:

– Ужаси, как далеко... уехал он, Минюшка наш, и не вернется вовеки...

– Толком, окаянные, говорите! – рассердился Коноплянкин. – Куда уехал?

– А ты, хозяин, выставь! – рывкнул поняв-

ший, куда клонит товарищ, Метла. – На сухую и слова из глотки не лезут.

Коноплянкин, метнув на них злобный взгляд, крикнул:

– Дмитрий! Чаю им собери... знаешь какого...

Зуй и Метла закланялись, услышав это распоряжение.

– Садись, что ли! – указал им на столик Коноплянкин и сам подсел, когда те заняли места. – Ну, что вы там про Гусара болтали? – спросил он.

– Сейчас, – заюлил Зуй, – всю правду-матку выложим... Дай только малость в себя прийти... Вот Митрий схлопотал уже... несет... Хо-орошо! – выпил и облизнулся он, наливая стакан хмельной влаги товарищу. – Ау, наш Митюшка Гусар, – обратился он к Коноплянкину, – был да весь вышел... Помер он...

– Да что вы врете, рвань коричневая?! – заорал буфетчик. – Как это вы так говорить можете: помер?..

– Смерть, значит, пришла... Так тут уж ничего не попишешь, – сфилософствовал Метла.

– Не мог помереть он, не мог... – волновал-

ся Коноплянкин, – кабы помер он, объявления были бы в газетах... Врете вы... сами вы не знаете, оголтелые, кто такой Минька был!

– Ах, благодетель, знаем, – перебил его Зуй, – все мы досконально знаем... до ниточки последней знаем: в графах Минька-то наш оказался... высь-то, высь какая! И с такой выси прямо в сыру землю сверзился.

– Сегодня хоронили, – подтвердил Метла.

Коноплянкин сидел, схватившись руками за голову.

– Да как же это все так случилось? – растерянно произнес он, поняв, наконец, что босяки говорят ему правду. – Теперь прощай, моя ресторация на Обводном! Да вы мне толком скажите, как это все приключилось?

– Козелка, благодетель, помнишь? – спросил Зуй.

– Знаю! Как не пьет, на чтения ходит, запьет – у меня да на огородах пребывает.

– Он, он! Так этот самый Козелок над Минькой Гусаром, – то есть над графом, читал... Однако запил он, ночью на огорода прибежал. Там мы и встретились.

Теперь для Коноплянкина не могло быть

никаких сомнений в верности принесенного ему известия.

– Да на что же это похоже? – простонал он. – Ведь это хуже грабежа дневного... А я-то думал, я-то надеялся... Все эти дни на улицу носа не высовывал, вот, думаю, соколик мой явится и денежки выложит... а он... накомь, какую штуку выкинул... Да разве это порядок?

Коноплянкин чуть не плакал.

– Должен он тебе, что ли, был? – спросил наблюдавший за ним Метла.

– И не говори! – отчаянно махнул тот рукой. – Почитай, целый капитал теперь в могилу унес.

Зуй и Метла переглянулись.

– А с нами-то он, Сергей Федорович, – начал первый, – какую штуку выкинул; твоей совсем под стать.

– Какую? – спросил Коноплянкин.

– Такую ехидную, что и говорить не стоит... И у нас он, Минюшка, капитал в могилу унес.

– Это как же так?

– А так вот... Козелок... – и, склонившись к

уху Коноплянкина, Зуй начал быстро нашептывать ему.

По мере того как Сергей Федорович слушал этот шепот, его глаза разгорались яркими, алчными огоньками.

– И все сторублевки, говоришь? – спросил он. – Под головой?

– Под ней самой.

– Даром сгниют, – заметил Метла.

– Н-да! – размашистым жестом почесал в голове Коноплянкин. – Выходит, что сгниют... А где же Козелок?

– Поджидаем... Сюда он придет.

– Дмитрий, перемени-ка! – распорядился Коноплянкин, и, когда парень ушел с чайниками, он, склоняясь над столом, зашептал: – Братцы мои, да неужто же такому капиталу задарма в земле пропадать?

– А что поделывать-то? – спросил Зуй.

– Как что? Достать его нужно! Вот что.

– Оно так, – смутился Зуй, – зачем гнить капиталу. Да как достать-то?.. Ведь в могилу лезть нужно. А это боязно – покойничка потревожишь.

– Ну, ему, покойному-то, все равно. А из-за

него живые пострадают. Шутка ли, сам говоришь, сторублевки все.

– Сторублевки... – нерешительно протянул Зуй. – Да ведь могилу взрывать придется...

– И ничего не нужно! – вдруг перебил товарища Метла. – Посмотрю я на тебя, так на слова куда ты, Зуй, дошлый, а как до дела коснется – и стоп. А еще птицей прозываешься... Коли ты – птица, так все видеть должен...

Коноплянкин по торжествующему виду Метлы понял, что тот что-то сообразил.

– Ну, ну, голубчик! – подбодрил он его, сам наливая ему из чайника в стакан водки. – Расскажи-ка, пристыди приятеля-то... вишь, мямлит он.

– Впрямь мямля, – согласился Метла и, обернувшись к Зую, спросил: – На кладбище был? Как могилу копали рядом, видел?

– Видел. Ну что ж?

– А как копаль Минькин гроб расшиб, видел?

– Видел, стенку отворотил да потом глиной ее подкрепил.

– Так чего же тебе еще? Самое легкое дело капитал достать... Все как будто нарочно для

нас устроилось... Приходи и бери... Я-то, Федорыч, все это заметил и на ус себе намотал, а он, Зуй-то, ворон считал.

– Молодчага ты у меня! – похвалил Метлу Коноплянкин. – То-то я тебя примечаю. Дельного человека сразу видно. Так как же, ребяташки, по рукам, что ли?

– Уж и не знаю я, как, – тянул Зуй.

– Чего там не знаешь? – вспыхнул Метла. – Я пойду, и ты пойдешь... Ты, Федорыч, с нами?

– Куда уж мне, – отмахнулся Коноплянкин. – Вишь, туша я какая... Как покажусь там, сразу заметят. Нет, и дело вам портить не хочу... А вот что. Пошлю я с вами Митьку моего, подручного. Парень он ловкий, силицы непомерной, не из глупых притом... Как раз он вам на такое дело товарищ.

– Пойдет ли Митька-то? – усомнился Метла.

– Пойдет! Уж я его настрою. Только, чур – пополам, чтобы и моя доля тут была.

– Да уж ладно, поделимся, – согласился Метла, теперь принявший на себя роль старшего. – Свои мы люди или нет?

Через час, когда уже начинало темнеть,

Метла, Зуй и Митька, подручный Коноплянкина, вышли из чайной.

Первые двое были заметно под хмельком, Митька же был трезв и спокоен. Погода к сумеркам стала еще отвратительнее. Выстрелы, возвещавшие подъем воды, грохотали почти один за другим.

XXXI

Незадача

Босяки шли впереди. Дмитрий, одетый по чиче, следовал за ними.

– Ой, Метла, на какое мы дело идем! – шепнул товарищу Зуй. – Страшно-то как!.. Ой!..

– У Митьки две сороковки с собой...

– Только разве что две сороковки... а то чувствую, что душа в пятки ушла. Ведь дело-то какое...

– Мне, Зуенка, и самому страшновато, да что поделать...

– Эй, вы, рвань! – раздался сзади оклик Дмитрия. – Шевелитесь, что ли, а то этак и до утра не доберемся.

– На трамвай бы, – предложил, останавли-

ваясь, Зуй. – Оно все скорее.

– Ишь, чего захотел! – даже с негодованием крикнул Дмитрий, но, немного подумав, сказал уже примиряюще: – А и впрямь, ребята, на трамвай надо, а то, чего доброго, ворота закроют, и пропало все.

– Верно, верно, миленочек! – поспешил поддержать его Зуй. – Поскорей бы добратся, да и за дело.

Он говорил, а сам в смущении прятал глаза, боясь, как бы его взгляд не выдал того, что делалось у него на душе.

– Так и быть, – решил Дмитрий, – хоть Сергей Федорович и ничего не говорил, а я рискну...

Пройдя немного, они выбрались на улицу, с которой можно было сесть на трамвай, дошедший до самого кладбища, и сели в один из вагонов.

– Стой, ребята! – объявил Дмитрий на последней остановке. – Ежели пойдём всей оравой – не пустят, а коли и пустят, так следить начнут. Нужно пройти так, чтобы никто вас не приметил. Вот мы как сделаем: вы схоронитесь поблизости, а я к кладбищенскому

сторожу подойду, будто не знаю, где контора. Он меня поведет показать, а вы тут и шмыгните в калитку. Поняли?

– Как не понять? – отозвался Метла. – А ты, значит, не с нами?

– Потом приду... Уж я знаю, как что сделать, меня Сергей Федорович всему научил. Может, я со сторожем пойду. Так вы смотрите, да слушайте; чуть голоса – хоронитесь. А я нарочно громко говорить буду... Ну, не зевай!

Дмитрий смело пошел к сторожке. Зуй и Метла, обогнув ворота, притаились, ожидая, что будет дальше.

– Гляди, отводит, – шепнул Метла Зую, увидав, что Дмитрий вместе с одетым в шубу человеком отошел и направился в противоположную сторону.

– Ой, родименький, страшно! – взмолился Зуй.

– Все равно идем, – схватил его за шиворот Метла. – Не пропадать же задарма сторублевкам нашим, – и он потащил Зуя. – Чего зубами щелкаешь? – злобно шепнул он. – Не волк!

– Страшно!..

– Митька одну сороковку мне передал, про-

беремся – выпьем, и все как рукой снимет.

Они, никем не замеченные, прошмыгнули на кладбище.

– Начинай первый, – сунул Метла товарищу посудину с водкой.

Было темно. Ветер немного стих, но зато поднимался туман. В воздухе чувствовалась промозглая сырость.

– Найдем ли Минькину могилу-то? – встретился охрабrevший после выпивки Зуй.

– Небось найдем. Я днем дорогу заприметил, – ответил Метла и смело пошел вперед.

Прошли еще несколько саженей. Метла действительно превосходно ориентировался. Он уверенно сворачивал с мостков на мостки.

Наконец он остановился.

– Здесь! – объявил он и уже шепотом добавил: – Ты куришь... у тебя спички... Давай!..

– Есть, есть, – дрожащим голосом ответил Зуй, шаря в карманах. – Вот целый коробок, – и он протянул Метле коробку со спичками.

– Без ошибки, – произнес тот, но вдруг бросил спички и, отпрянув назад, воскликнул: – Это что такое? Зуй! Где ты?

Зуй не отвечал, хотя Метла привыкшими к

темноте глазами хорошо различал его фигуру.

– Зуй, да ты что? – кинулся к товарищу босяк.

– Стонет, слышишь? – еле-еле выговорил тот.

Действительно, еле слышный стон раздался совсем близко от них.

– Наваждение, нечистая сила! – чуть не во весь голос крикнул Метла.

Стон повторился.

– Бежим! Черт с ними, со сторублевками! – схватил его за руку Зуй.

– Куда побежим? Гляди! – прошептал Метла и указал на мелькавший в отдалении огонек.

– Митька там, и не один, – забормотал Зуй. – Ахти, что теперь делать?

– Прыгай в могилу, что рядом с Минькиной! – и с этими словами Метла, схватив за руку товарища, вместе с ним прыгнул в выкопанную днем и еще не занятую могилу.

В-то же мгновение оттуда послышался глухой, сдавленный вопль, и затем все стихло. Это вскрикнул Зуй, наткнувшийся при прыжке

ке на чье-то тело.

– Метла, Метла! – крикнул он. – Тут есть кто-то.

– Нишкни! – заметил Метла, схватывая приятеля за горло.

Они затихли.

Голоса теперь слышались совсем близко. Трое людей прошли с фонарем мимо. Яркий сноп света ударил в могилу, когда проходил передний.

– Ну, пронесло теперь, – прошептал Метла, когда говор стих и мельканья фонаря не стало видно.

– Родимый, – взмолился Зуй, – да сколько же нас здесь?

– Считай, – усмехнулся сумрачный босяк, – насчитаешь троих, и верно будет... Эй, кто тут? Отзовись!

– Молчит, – ободрился Зуй.

– А вот мы его пощупаем! – и Метла ткнул неожиданного третьего товарища кулаком.

В ответ ему раздались не-то стон, не-то бессмысленное мычание.

– Да что с ним разговаривать? – рассердился босяк. – Тащи его, Зуй! Вытащим – посмотр-

рим, кто он такой?

Зуй расхрабрился настолько, что вспомнил даже, зачем они сюда пришли.

– Эй, Метла, – прошептал он, – спички-то где?

– Где? Выронил – вот где!

– А как же пошарить-то насчет сторублевых?

– погоди, дай узнать, кто у нас в товарищах, а потом и к Миньке в гости заглянем.

Невдалеке слышались шаги.

– Ребята, тут вы или ушли? – раздался знакомый голос Дмитрия, и над могилой склонилась темная фигура.

– Тьфу, проклятый, как напугал! – вскрикнул Метла. – Ты, что ли, Митька?

– Я, я самый! Ловко мне удалось всех за нос провести! После расскажу, а у вас как?

– Плохо, Митенька, – отозвался Зуй. – Трое нас...

– Трое! Это откуда?

– Трое, трое, – подтвердил Метла. – Кто третий – не знаем, не-то стонет, не-то мычит. Брыкается, а не говорит кто...

– А вот сейчас, – ответил Митька. – Мне

Сергей Федорович на всякий случай фонарик махонький дал.

Раздалось слабое чирканье спички.

– Кажи! – приказал Митька, когда сверкнул огонек.

– Идут! – крикнул Зуй, обладавший острым слухом и зрением. – Огонь мелькает! Гаси скорее!

Митька в одно мгновение потушил фонарик и зашептал:

– Метла, на скорее фонаришко да спички... Сторожа это... Пойду навстречу, скажу, что заблудился.

– Постой, где ждать будешь?

– На проспекте, налево, пивная... Смирно сидите!

Все затихло. Дмитрий смело направился навстречу шедшим издали с другого конца кладбища сторожам.

– Здравствуйте еще раз! – остановил он их.

– А, это все еще вы! – узнал его один из сторожей. – А мы думали, что вы давно ушли.

По дружелюбности встречи можно было судить, что Митьке удалось обойти сторожей. Он действительно сумел войти к ним в дове-

рие, угостив их оставшейся у него сороковкой.

– Какое там ушел, – самым простодушным тоном ответил он. – Заплутался я тут у вас... Уж ходил-ходил! Аж страшно стало! Сердцем и душой обрадовался, когда ваш огонек увидел.

Сторожа – их было двое – засмеялись.

– То-то и оно! У нас, брат, такие тут аллеи да ходы, что и днем заблудишься. Да теперь ничего, не бойся, мы тебя прямо на проспект выведем.

Они все вместе шли по мосткам, совсем близко проходившим мимо могилы Нейгофа.

– Теперь-то с вами ни капельки не боюсь! – громко сказал Дмитрий. – Ежели пару пива испить желаете – с нашим удовольствием...

– Можно, – добродушно согласился сторож.

Они прошли, даже не обратив внимания на странный шорох, доносившийся к ним с той стороны, где была выкопанная утром могила.

– Насилу сдержал, проклятущего, – прошептал Метла, когда все стихло и огонь скрылся. – Так и рвется...

– Садани ты его хорошенько, вот и успокоится, – посоветовал Зуй.

– Братцы, не бейте, – послышался жалобный голос. – Только только очухался.

– Зажигай, Зуй, фонаришко, голос знакомый! – приказал Метла.

Блеснул слабый свет.

– Тьфу ты, чтоб тебя! – осерчал Метла. – Экая нечисть!.. И тут под руку подвернулся! Как ты сюда попал?

Как ни слаб был свет фонаря, его все-таки было достаточно, чтобы и Метла, и Зуй узнали в невольном товарище по могиле Козелка.

Из огня да в полымя

Козелок был бледен, измучен и дрожал так, что слышно было щелканье его зубов.

– Голубчики, братцы, благодетели мои, – лепетал он, – вытащите скорее меня!.. Совсем мне невтерпеж... чувств я всяких от страха лишился...

– погоди, поспеешь! Даром, что ли, мы мучались? – возразили чуть не в один голос Зуй и Метла. – Дай сторублевки достать.

– Нет их, нет сторублевок! – шепнул Козелок.

– Как так нет?..

– Да вот так и нет!.. И Миньки нет... Убег он, проклятый, и деньги с собой унес...

На мгновение в могиле все стихло. Потом послышались шорох, возня.

– Да что же это такое? – раздался дрожащий голос Метлы. – Ведь не врет: пуста Минькина могила, гроб пустой... Да как же это так? Да разве может такое быть? Покойники забегали...

– Да неужто же пусто? – удивился Зуй. – Да как же это так? Козелок! Чего ты молчишь?

– Брось ты! – остановил его Метла. – Ишь, время нашел. Застанут нас здесь – что тогда будет?

– И впрямь, – согласился Зуй. – Только Митька отвел, а то бы быть беде.

– Вот что, – распорядился Метла, окончательно пришедший в себя, – попусту болтать нечего. Нужно все концы схоронить, чтобы ни единая душа не догадалась, что мы здесь побывали... Вишь, дыра в могиле какая. Вот стенка отбитая... Приставь ее как-нибудь, Зуй, да навались на нее, попридержи, а мы с Козелком глиной да землей завалим, так что все шито-крыто будет... Работай, ребята!

Зуй ощупью нашел оторванную стенку и, несмотря на темноту, ухитрился приладить ее на свое место. Работа закипела.

В-то время как босяки переживали минуты страха, Коноплянкин, сидя за буфетом своей чайной, волновался не меньше, чем посланные им на темное дело люди.

«Черт их знает, – размышлял он, – как бы не попались... Тогда беды не расхлебаете. Вы-

дать не выдадут – народ верный, но все-таки вдруг через них стороной до меня доберутся? Пропал я... А ведь дело-то такое, что всего ожидать можно... Кого это несет?» – услышал он звонок отворяемой двери.

Он приподнялся за стойкой и с удивлением увидел необычного для трущобной чайной и совершенно незнакомого ему посетителя.

Это был Станислав Федорович Куделинский.

– Вы – Коноплянкин? – подошел он к буфетной стойке.

– Так точно-с, мы!

– Мне с вами нужно поговорить. Нет ли у вас, – Куделинский брезгливо огляделся вокруг, – чегонибудь почище, и чтобы на виду не было...

– Как же-с, кабинетик имеется для таких особых случаев. Прошу покорно, – и Коноплянкин, отпахнув дверцу за стойкой, жестом руки предложил гостю пройти. – Сейчас огонь зажгу... Ежели по делу, мы завсегда рады...

Он уже сообразил, по какому делу пожаловал к нему этот франтовато одетый господин:

«От Нейгофши! Ежели так, особенно цере-

мониться нечего».

– Теперь светло, – зажег он лампу и прибавил: – Вот пожалуйста, буфет обойдите только.

Куделинский прошел в ту самую комнатку, в которой за несколько месяцев перед этим несчастный Козодоев приводил в человеческий вид Миньку Гусара.

– Уж не взыщите, – нашел нужным извиниться перед гостем Коноплянкин, – убого у нас тут... Посетитель у нас такой, что роскошества не требует... Чем служить прикажете?

– Мы одни? – спросил Станислав.

– Так точно, – ответил Коноплянкин, – кроме нас, ни единой души в помещении нет.

– Ну, да мне все равно, – перебил его Куделинский. – Я вот по какому делу: вы были у графини Нейгоф?

– Был-с, – ответил Сергей Федорович и ухмыльнулся.

– Вы чему смеетесь? – вскинул на него глаза Станислав.

– А так-с... Смекаю я, по какому делу вы пожаловать ко мне изволили. Памятлива ее сиятельство то! Ведь сегодня мой срок, ее сия-

тельству данный, истекает... завтра-то я того... куда следует, с известным мне делом направляюсь...

Куделинский желчно рассмеялся.

– Вы еще не оставили своего намерения шантажировать графиню? – резко спросил он.

– Это что же такое? – развел руками Коноплянкин, представляясь, что не понимает слова «шантажировать».

– Ну, нагло мошенничать, что ли?

– Помилуйте... Такие слова вы говорите... за них ведь и ответить можно! – нашел нужным обидеться Коноплянкин.

– Ну, это вы оставьте, – прервал его Куделинский. – С таким субъектом, как вы, церемонии излишни. Понимаете? Я – поверенный графини Нейгоф.

– Очень приятно это, а все таки сказать дозвольте, что я к грубостям непривычен. Я – человек честный и ни в каких подозрениях никогда в жизни не был. Ежели что, так я и городского покликать могу. Он за меня заступится, потому он мне – кум, а не кто либо иной прочий...

– Перестаньте, – остановил его Стани-

слав, – все болтаете пустяки.

– Простите, господин, – перебил его Коноплянкин, – кто-то идет. Извольте звонок слышать? Я сейчас только выйду!

Куделинский остался один. С его лица сразу же исчезло гордое выражение, и на нем отразилась не-то тоска, не-то отчаяние.

«А если не удастся поладить с этим животным? – думал он. – Ведь ничего у него не выйдет, а шум поднять может. Пронюхал, кажется, каналья, сообразил...»

– Вот и я-с, – вернулся в комнату Коноплянкин, – там двое каких-то чужих пришли, чая потребовали. Так я повара заместо себя поставил, а то отрывать будут и поговорить нам не дадут... Так что же-с, собственно говоря, вам от меня угодно?

– Я пришел к вам только затем, – заговорил Станислав, – чтобы сказать, что все подходы, все ваши угрозы сделать скандал никого не испугали. Да они теперь и смысла не имеют. Понимаете? Никакого смысла. Случилось одно обстоятельство, разрушающее все ваши надежды: граф Нейгоф скоропостижно умер.

– Знаем с, – спокойно проговорил Коноплянкин.

– Знаете? Тем лучше. Несчастное прошлое графа давало вам повод надеяться на успех. Конечно, бояться ему было нечего, так как во все не он убил Козодоева.

– Так, так... Что же с дальше?

– А дальше вот что. Я говорю, что несчастное прошлое графа Нейгофа было таково, что скандал, в который он мог быть замешан, повредил бы ему. На это вы и надеялись. Но граф умер и...

– Графиня с осталась, – погладил Коноплянкин бороду.

– Как! Так что же, черт возьми, вы ее, что ли, осмелитесь обвинять в преступлении? – и Куделинский нервно рассмеялся.

– Смеяться изволите? – проговорил Коноплянкин. – Оно действительно смешно; я бы вот и сам со смехом к вам подстал, да не могу-с... Какой тут смех, когда плакать хочется? Ведь с убиенным Евгением Николаевичем мы друзья были. Он мне и посейчас состоит должным за одежонку, которую я этому самому Миньке Гусару, когда он его увез, предо-

ставил. Человек-то был Евгений Николаевич верный, так разве мог я ему не поверить? Как безвременно от рук злодеев смертный час принял, так мне и не заплатил ни гроша. А я – человек бедный; разве могу я убыточиться?.. Тут злодеи добрых людей уकोкошивают, а я убытки из-за этого терплю. Никак не могу-с...

– Так что же, по вашему, уж не графиня ли убила своего приемного отца?

– Не знаю-с. Может быть, и она, а может быть, – Коноплянкин, лукаво посмотрев на Куделинского, бросил ему прямо в лицо: – А может быть, и вы.

– Да вы с ума сошли! – вскрикнул Станислав. – После этого и говорить не стоит!

– А сделайте одолжение, не говорите! Тоже! – перешел Коноплянкин на дерзкий тон. – Сам ко мне пришел да еще дерзит... Ишь ты! Будто я не понимаю, как вы меня обойти хотите? Все понимаю, не махонький. Почему я знаю, может, ты и есть убивец! Да ты, и никто иной: сам проговорился, вот на тебя и донесу...

– Что проговорился? – спросил Станислав, сбитый с толку переменной в обращении Ко-

ноплянкина.

– А ты, – уже совсем перестал стесняться последний, – ты сам сказал мне, что знаешь, кто убил Козодоева.

– Ничего я не говорил!

– Врешь! Попался, так вертеться нечего. Сам же ты сказал, что твердо уверен в том, что Евгения не Минька ухлопал. Ежели ты твердо уверен, так знаешь, кто тут поработал, а ежели знаешь да молчишь столько времени, так, значит, ты самый убивец и есть.

Куделинский сидел бледный. Он был так поражен, что даже не видел, что дверь в комнату приоткрылась, как будто кто-то стоял за нею и хотел, но не решался войти.

– Лучше смирись, – продолжал Коноплякин. – Кто ты такой, я не знаю, но это узнать не хитро. Как там о тебе и о графине твоей рассудят – другое дело; может быть, вас и не обвиноватят, но все же, пока суд да дело, посидеть придется... Ой, говорю, покорись! Не пошкупитесь – сладимся. Сторговаться с хорошим человеком всегда можно. А тебя, убивца, даром покрывать не буду...

– А вы, любезнейший, так сказать... хе-хе-

хе... жестоко ошибаетесь, – совершенно неожиданно раздался позади них голос. Коноплянкин и Куделинский вскочили со своих мест. Дверь в комнатку распахнулась, и на пороге появился Кобылкин.

XXXIII

Перед решительным ударом

Мефодий Кириллович стоял со своей обычной – не-то веселой, не-то лукавой – улыбкой. Он похудел, побледнел, нос заострился, глаза провалились, но все-таки это был не призрак, а живой человек.

– Узнаете, наипочтеннейшие? – потирая руки, спросил он. – С одним-то, – он кивнул на Коноплянкина, – я давно знаком, да и с вами, молодой друг, – обратился он к Куделинскому, – тоже имел случай познакомиться, и даже очень близко.

Мефодий Кириллович закрыл дверь и подошел к собеседникам.

– Чего, борода, дрожишь? – спросил он Коноплянкина, а затем перевел взгляд на Станислава. – И с вами что-то такое, мой молодой

друг?

На Куделинского было страшно смотреть. Его красивое лицо было мертвенно-бледно, глаза расширены, и губы дрожали, и сам он трясся, точно в лихорадке.

Когда Кобылкин подходил, он отступал от него все дальше, вытянув вперед обе руки, как для защиты.

– Вы, – проговорил он сдавленным голосом, – вы... Откуда вы? Ведь вы умерли?.. Вы мертвы...

– Жив, благодаря вам, жив! – засмеялся Мефодий Кириллович. – Не дрожите так, молодой человек!.. Ай-ай, какая слабая современная молодежь! Разве можно быть таким нервным? Да полноте, перестаньте, успокойтесь, ведь я же, так сказать, совершенно реален.

Станислав достиг уже угла комнаты и забился в него. Он ничего не говорил, только слышно было его тяжелое, прерывистое дыхание.

– Батюшка, Мефодий Кириллович, – кинулся к Кобылкину Сергей Федорович, – не погубите!..

– Ага, борода, – усмехнулся тот, – пришел

во все свои чувства? Узнал старого знакомого?

– Узнал, батюшка! Как не узнать вас, благодетеля нашего? Не погубите! – и Коноплянкин плюхнулся на колени перед Мефодием Кирилловичем. – Простите! Навеки закаюсь!

– В чем? – спросил Кобылкин.

– В этом самом... Никогда не буду...

– Да чего? – добродушно спросил Мефодий Кириллович.

– Насчет графини... Не нужно мне ни ресторации на Обводном, ни новой крыши... Не погубите только меня, горемычного! – И Коноплянкин вдруг припал к ногам Мефодия Кирилловича, обнял их и, причитая, заговорил: – Это они все, убийцы окаянные, они меня в грех ввели... Ох, соблазн, ох, искушение!.. Стой! – вдруг крикнул он и вскочил на ноги. – Нет, брат, не уйдешь!..

Куделинский, заметив, что Мефодий Кириллович отвлекся от него, подкрался к двери. Однако, когда он уже приотворил ее, Коноплянкин настиг его и схватил за шиворот.

– Прочь! – захрипел Станислав, пытаясь оттолкнуть буфетчика.

– Врешь! Не пуцу! – задыхался тот, охватывая его геркулесовыми объятьями. – Попался, так и сиди!

Между ними завязалась борьба.

– Убью, ежели их высокородие прикажут, – сопел Коноплянкин. – Я тебя, разбойника, живьем представлю.

– погоди! – дав им побарахтаться, дернул за плечо Коноплянкина Мефодий Кириллович. – Потише ты! Господин Куделинский, ну к чему вы все это? Неужели же нельзя обойтись без унижения?

Он помог Куделинскому подняться с пола, куда его словно мешок бросил Коноплянкин.

– Воды! – прохрипел тот.

– Принеси! – крикнул буфетчику Кобылкин и подвел Станислава к стулу. – Садитесь же!..

Теперь тон Мефодия Кирилловича был совсем другой. Он не просил, а приказывал, и его приказания производили впечатление.

– Вот так-то лучше, – проговорил он, усадив начинавшего успокаиваться Куделинского.

– Батюшка, Мефодий Кириллович, – вме-

шался Коноплянкин, принесший воду, – не оставайтесь вы с ним... Как бы чего худого не вышло... Уж осмелюсь доложить, такой это человек!

– Пустое мелешь! – отрезал Кобылкин. – Суеться, куда тебя не спрашивают. Выйди вон и никого не пускай сюда, пока я буду разговаривать с господином... Понял?

– Слушаю-с, батюшка, – закланялся Коноплянкин, – умру на месте, а никого не допущу.

– Теперь мы поговорим, любезнейший, – промолвил Мефодий Кириллович, усаживаясь против Куделинского. – Вы, конечно, узнали меня?

– Да, – ответил тот.

– Вот это хорошо! – воскликнул Мефодий Кириллович. – Это значительно облегчает мне разговор.

– Послушайте, скажите, что вам от меня нужно?

Куделинский осмелел и решил идти напролом, надеясь исправить свою невольную оплошность.

– То есть как это что? – удивился Кобылкин.

– Так. Я попал в какой-то заколдованный круг...

– Поистине в заколдованный! Редко кто из современных преступников может похвастаться приключениями подобно вашим.

– Я не знаю, о чем вы говорите...

– Будто уж? – лукаво прищурился Кобылкин. – А зачем же вы сюда изволили пожаловать?

– Зачем? Очень просто. Я могу вам объяснить. Этот негодяй Коноплянкин пытался шантажировать графа и графиню Нейгоф... Вы, конечно, знаете о них?

– Как не знать! – воскликнул Мефодий Кириллович.

– Граф скоропостижно умер под впечатлением угроз этого человека, графиня же послала меня узнать, в чем дело. Это так естественно... Ведь надо же обороняться от подобных подлецов. Я дал ему волю говорить все, что он хочет, желая узнать, какие у него основания для шантажа. Это животное взяло непозволительно грубый тон...

– Силу, значит, почувствовал Федорыч, – спокойно заметил Кобылкин, – он мужик тон-

кий, свою линию ведет аккуратно, но грубости у него действительно хоть отбавляй.

– Вы знаете, что он избрал почвой для шантажа?

– Кажется, убийство Козодоева?

– Да. Он осмелился в нем обвинять покойного графа Нейгофа...

– А потом и графиню Нейгоф, а потом и вас?

– Да, вы правы.

– Ну, еще бы мне не быть правым! Слушайте, господин Куделинский, вы помните нашу встречу в Любани?

– Помню.

– Прекрасно. Знаете, какое я имел приключение на обратном пути в Петербург? Ведь меня сбросили с поезда.

– Очень жаль.

– Однако вы сострадательны... Но я позволю себе рассказать некоторые подробности; они очень интересны. Меня, собственно говоря, не сбросили с поезда, а выронили из рук в тот самый момент, когда я должен был очутиться под колесами. Человек, которому нужна была моя жизнь, приподнял меня – я был

под наркозом – и направил мое падение так, чтобы меня разрезало колесами; но в это время толчок, полученный этим человеком, заставил его выпустить меня из рук. Я упал не под колеса, а сбоку, и по инерции меня откинуло дальше. Я упал в снег; это ослабило удар. Мало того, упав, я покатился под откос; это окончательно спасло меня. Падение и холод привели меня в чувство. Около меня хлопотал дорожный сторож. Что вы скажете? Не спасен ли я был тем благодетельным толчком, который получил несчастный, намеревавшийся убить меня? Моя гибель была близка... И вдруг...

– Ваше приключение, ваше спасение чрезвычайно интересны, – прервал его Куделинский, – но почему вы рассказываете все это мне?

– А почему вы так испугались, когда я вошел в комнату?

– Почему?! – воскликнул Куделинский. – Я очень нервен. Смерть графа Нейгофа...

– Которого вы даже до могилы не проводили!

– Вы знаете? – смешался Станислав.

– Эх, – покачал головой Мефодий Кириллович, – если бы вы знали, сколько я знаю! Знаю я, почему вы так испугались, когда я здесь появился; знаю я, кто был виновником благодетельного толчка, спасшего меня; знаю, что стало с человеком, который хотел сбросить меня с поезда; знаю, кто убил старика Козодоева, да мало того, что знаю, имею еще письменное показание его убийцы... Слушайте, вы человек умный, смелый – вы это уже доказали, будем говорить прямо. Ваше виляние ни к чему не приведет. Поговорим прямо, откровенно, лучше будет. Хотите?

Куделинский ничего не сказал, но утвердительно кивнул головой.

XXXIV

Игра в открытую

Кобылкин сразу переменялся. Презритель-но-ироническое выражение исчезло с его лица, голос стал задушевно ласковым.

– Ведь это вы сбросили Квеля с поезда? – тихо спросил он.

– Я! – гордо поднял голову Куделинский, поняв, что этому человеку все известно.

– Вот и прекрасно, что вы становитесь откровенны, – похвалил его Кобылкин. – Вы меня теперь не бойтесь, – ласково добавил он, кладя свою руку на руку Станислава.

– Я и не боюсь! Прежде – да, боялся, а теперь не боюсь... Теперь, именно теперь не боюсь.

– Тогда я рад за вас... Знаете, я в тот вечер на любаньском вокзале восхищался вами. Какая быстрота соображения, какая решительность, смелость! Право, если бы вы не пошли этим проклятым, роковым путем, вы могли бы быть замечательным человеком.

– Оставьте, – поморщился Куделинский. –

К чему вы говорите это? К чему эти комплименты, похвалы? Это все равно, что охотник, затравивший зверя, стал бы перед ним расшаркиваться и восторженно уверять, что ему очень жаль затравленного.

– Не совсем так, – остановил его Кобылкин, – шла борьба...

– Но она еще не кончилась!

– А все-таки близка к концу. Погодите... послушайте меня. Я в этой борьбе участвовал на свой страх и риск. Ведь вы знаете, что я отставной – «былой сокол», как меня называют. Выйдя победителем из этой борьбы, я ничего не выиграл, а будучи побежден, проигрывал все... Ведь тогда, на поезде, моя жизнь висела на волоске, я был в проигрыше, и, не появившись в последний роковой момент вы, моя игра была бы проиграна.

– Очень жаль, что так случилось!

– Верно. Но не замечаете ли вы тут кое-чего другого? Вы человек мыслящий. Не замечаете ли вы, что к нашей борьбе примешался Некто, безмерно могучий, Некто, располагающий такими средствами, каких не может быть ни у одного человеческого существа.

Некто, всесправедливый, ни малейшего дурного дела не оставляющий без возмездия, Некто, карающий и милующий. Этот Некто спас меня, когда мне не было спасения, и орудием моего спасения сделал того, кому нужна была моя гибель...

– Мне кажется, – перебил его Станислав, – что эта трущоба не подходящее место для проповеди.

– Я не проповедую, а только делаю некоторые выводы. Да и отчего не поговорить перед концом? Отчего не высказаться по интересно-му для нас обоим вопросу? Знаете, ведь Квель тогда не умер...

– Он жив? Мне говорили, что его видели здесь, на улицах столицы! – заволновался Куделинский.

– Может быть. Я вам скажу только, что в тот роковой момент он видел вас и узнал.

– Да, я слышал, что он выкрикнул мое имя, – сознался Станислав Федорович.

– Вот тут-то вы и допустили в своей игре ошибку. Вы толкнули Квеля и меня с поезда и успокоились. Вас даже не поразило-то обстоятельство, что двое людей слетели с поезда и

вдруг о таком ужасном случае ни слуха, ни духа, ни малейшего намека в газетах? Разбились люди, но куда же девались их трупы? Ведь два трупа, найденные на полотне железной дороги, наделали бы много шума. А шума нет. Стало быть, и трупов нет, стало быть, и обреченные на гибель не погибли. Не так ли?

– Да, вы правы! Это было упущение.

– Ага, сознаетесь! – усмехнулся Кобылкин. – Но все-таки план, составленный Квелем и Маричем...

– Маричем?! – воскликнул Станислав Федорович. – Вы знаете и о нем?

– А как же! Про всех вас всю подноготную знаю. Так я говорю, план составлен был хорошо. Нашли бы мой труп на рельсах, все было бы приписано несчастному случаю, тем более что поездная прислуга была подготовлена к нему. Ведь как только Квель вытащил меня, бесчувственного, на площадку, Марич занял мое место, а в Ушаках они должны были сойти. Было двое, и сошло двое. Все в порядке. Все предусмотрено, даже билет был лишний на мою долю взят.

– Однако вы, – с усмешкой произнес Куде-

линский, – гораздо более осведомлены, чем я и даже Марич.

– Да как же мне не быть осведомленным, когда я все эти подробности знаю от Квеля?

– Он жив? – быстро спросил Станислав.

– Вы уже второй раз спрашиваете меня об этом. Вспомните, что я ответил вам на первый вопрос, и довольствуйтесь этим ответом. Вернемся к нашему разговору; вам он не скучен?

– Нет, я слушаю вас с большим интересом, – горько усмехнулся Куделинский. – Ведь-то, что вы говорите, это, так сказать, счет, представляемый мне вами. Особенно интересен будет его итог.

– Так вот-с. Вы промахнулись, не поинтересовавшись, какие результаты имело ваше преступление. Предположим, что оно удалось: мы – Квель и я – погибли. Но вы все-таки были очень далеки от выигрыша. Я был прав, когда сказал, что Некто, безмерно могучий, вмешался в нашу борьбу. Погиб я (говорю предположительно), преследовавший вас, нет на свете Квеля, которого вы сочли почему-то мешавшим вам. Впереди на вашем пу-

ти ни сучка, ни задоринки, так и кати себе прямо к наследству московского Нейгофа. Ан нет, не тут-то было! Избранный вами путь к наследству роковой. Вдруг перед вами вырастает совершенно неведомый вам Коноплянкин... Ох, какой это, доложу я вам, плут!.. Прожженный! Ведь он решительно ничего не знает. Ведь мы – я, вы, Марич да эта ваша урожденная Шульц – знаем, что Козодоева убил по вашему наущению Антон Квель. Что же касается Коноплянкина, – то он знает лишь об одном: покойный Козодоев отсюда увез графа босяка и в ночь после этого был убит. А как он распоряжается этими своими скудными сведениями. Ведь он, ничтожный сам, грубый, невежественный, стал полным хозяином вашего будущего, вашей судьбы. Ведь он вас сокрушил, прикрутил. Не правда ли?

– Да, – мрачно проговорил Станислав.

– Теперь я выражу сожаление, что читать мысли другого дано не всякому. Я сознаюсь, что не знаю, как бы вы выпутались из такого сложного для вас положения. Может быть, вы откупились бы от этого негодяя, хотя вряд ли

вам удалось бы это; может быть, на вашем роковом пути стало бы одним трупом больше.

– Может быть, – с усмешкой согласился Куделинский.

– Теперь, надеюсь, этого не понадобится... Я сумею укротить этого наглеца.

– Зачем это вам? – спросил Станислав.

– А это уж позвольте мне знать. Слушайте дальше. Я высказываю предположение, что вам удастся так или иначе устранить со своего пути и Коноплянкина. Опять ваша игра так же далека от выигрыша, как и прежде. Некто, всесильный Некто, незримыми путями направляет вас к возмездию... Нет Коноплянкина – против вас новый свидетель: Козелок...

– Козелок? – удивился Станислав. – Это кто такой?

– Вы даже и не знаете? Вот они, пути-то незримые! Читальщика у гроба Нейгофа помните? Вы погорячились, забылись, заговорили слишком громко с Маричем и Шульц, а этот читальщик, Козелок по прозвищу, из соседней комнаты все от слова до слова слышал. Вы спросите, откуда я это знаю? Да этот Козелок мне сам все это рассказал... Что? Ка-

ково ваше положение? Вы – человек с высшим образованием, которому все честные пути в жизни открыты, равный вам доктор Марич, человек не совсем испорченный, эта Софья, одна красота которой доставила бы ей все, чего бы она ни пожелала, и вдруг – в полнейшей зависимости от трущобного негодяя Коноплянкина, от ничтожнейшего червя Козелка. Не поучительно ли это?

На лице Куделинского не было ни кровинки; его глаза растерянно блуждали, губы нервно подергивались.

– Что же вы, собственно говоря, от меня хотите? – глухо и через силу проговорил он.

– Что я хочу? Да, пожалуй, ничего... Чего мне желать? Я ведь не у дел; но и в таком положении остаюсь слугой высшей справедливости. Ваша борьба кончена.

– Вы думаете? – вдруг рассмеялся Куделинский. – Нет-с, она еще не кончена! Итог-то еще не подведен.

– Он очевиден.

– Как кому! – воскликнул Станислав. – Итоги-то у одного и того же счета могут быть разные! Вы его подводите по-своему, но и я имею

право кое какие скидочки сделать, а может быть, и уничтожить его совсем. Что с, вы не ожидали ничего подобного от затравленного вами зверя?

– Пожалуй, не ожидал, – спокойно согласился Кобылкин, – но я старше, а следовательно, и опытнее вас, и нахожу, что идти вам больше некуда.

– Ошибаетесь, есть куда! Слышите, есть! – бешено закричал Куделинский. – И я пойду туда, куда вы не ожидаете! Да! Но итог все-таки не будет подведен, борьба не будет закончена. Понимаете? Не будет. Скажите, ведь вы, конечно, донесете на меня?

– Доносить не буду, а только изложу кое кому свои наблюдения.

– И после этого меня арестуют?

– Само собой разумеется... Да и не вас одних.

– Можете вы мне дать неделю срока?

– Отчего же? Все равно вы никуда теперь не уйдете, да и новые преступления для вас бесполезны. Я как будто начинаю понимать, о каком пути вы говорили... Пожалуй, этот будет самый лучший.

– Итак, даете неделю? Тогда я уйду. Не бойтесь, я не скроюсь! – сказал Куделинский и, поднявшись со стула, торопливо накинул пальто и быстро вышел из комнаты.

Коноплянкин хотел было удержать Куделинского, но Мефодий Кириллович жестом остановил его. В дверях чайной Станислав Федорович должен был остановиться: ему преградили дорогу четверо людей; впрочем, они почтительно расступились при виде хорошо одетого господина.

XXXV

Удар за удар

Куделинский вышел, даже не заметив, что один из давших ему дорогу людей отшатнулся, когда он проходил мимо.

– Приперты, к стене приперты! – шептал он сам себе. – Действительно, прав этот человек, кроме того выхода, ничего у меня нет... Но спасу ли я Софью, спасу ли я ее?.. Квель жив – вот беда! Этот злобный чухонец себя не пожалеет, чтобы отомстить... Да, пожалуй, прав и Кобылкин: ничтожны все челове-

ские ухищрения... Но как же это вышло?..

Холодный ветер бил в лицо, но Куделинский ничего не замечал; он шел, куда несли его ноги.

– Что же теперь делать?! – воскликнул он и тут лишь заметил, что выбрался на довольно оживленную улицу.

Здесь было светло, сновал народ, стояли извозчики.

«Поеду разыщу Марича, – решил Станислав. – Обсудим вдвоем, что и как... Или сперва к Софье?.. Нет, лучше к Софье. Она беспокоится за меня... А я успокою ее?» – с горечью подумал он, как бы в довершение своих мыслей.

Он сел на извозчика и, поскольку ехать пришлось далеко, успел прийти в себя, справиться с мыслями и явился к Софье Карловне хотя и взволнованным, но не в такой степени, как это было, когда он вышел из чайной Коноплянкина.

– Ну, что? – зорко посмотрела на него Софья. – Я вижу по твоему лицу, что тебя постигла неудача.

– Полная, Соня, – ответил Куделинский. – Я

разбит по всем пунктам...

– Вот как? – графиня засмеялась. – Я этого не ожидала...

– И я, отправляясь к Коноплянкину, тоже не ожидал ничего подобного, а между тем удар последовал с такой стороны, с какой я и ожидать его не мог... Кобылкин, о котором мы столько говорили, жив... Понимаешь?.. Он спасся! И натиск последовал именно от него. Мне теперь за себя стыдно. Поверишь ли, я испугался... Проклятые нервы! Я подумал, что вижу перед собой призрак. Это я-то! Подумай, каково? Но, я вижу, ты смеешься? Смейся, смейся! Только я не хотел бы видеть тебя на своем месте. Я унизился, показав свой страх перед этим человеком, но что было потом, если бы ты знала, что было потом!..

– Что же именно?

– А-то, что этот ужасный человек прочел мне нотацию... Недоставало только того, чтобы он выдрал меня за уши... Но это все пустяки; главное в том, что Кобылкину все известно.

– Что «все»?

– Все до мельчайших подробностей. Из-

вестно даже-то, чего мы не знали... Представь, этот читальщик слышал наш последний разговор и передал его все тому же Кобылкину.

– Это как же так? – удивилась Софья.

– Как? Это для меня непостижимо... Кобылкин сумел окружить нас со всех сторон цепью шпионов. Он знает о каждом нашем шаге, чуть не о каждом нашем слове; ему известно, что ты не пошла проводить Нейгофа...

– Исполняя твое желание, – заметила графиня.

– Ах, Софья, теперь не до того, чтобы укорять друг друга. Сделанного не исправишь, прошлого не вернешь. Квель жив и, очевидно, подпал под влияние все того же Кобылкина. Как я могу судить из намеков этого ловкого сыщика, Антон дал ему письменное показание о всех наших делах и о том козодоевском деле. Письменное, Софья! Понимаешь ты, что это значит?

– Я понимаю, что мы погибли, – произнесла графиня.

– Нет еще, Софья, нет еще... Гибнем – да, но не погибли... Но что за удивительный человек этот Кобылкин! Какая поразительная про-

нищательность, какое хладнокровие!

– Перестань!.. До восхищения ли тут? Гибнем, гибнем, – в раздумье проговорила Софья, – я предвидела это...

– Что ты могла предвидеть? – перебил ее Куделинский.

– Что ничего, кроме гибели, для всех нас не может выйти из этого ужасного дела... Ах, Стася, Стася! Я молода, мне хочется жить, и вдруг... и вдруг... конец всему...

Она заплакала.

– Софья, милая! – кинулся к ней Куделинский. – Перестань, не плачь! Вспомни, что мне нужны все силы, вся энергия... Нужны для того, чтобы спасти тебя.

– Нет спасенья, нет, – покачала головой графиня, – не верю я в него.

– Стало быть, ты в меня не веришь, не любишь меня? Говори же, говори: да или нет?

– Не знаю, – прошептала Софья. – Не знаю. Мне все кажется, что кто-то стоит между нами, и этот кто-то заслоняет тебя.

– Нейгоф?! – крикнул вне себя от гнева Станислав.

– Да, Нейгоф, несчастный Нейгоф!

– Ну, счастлив же он, что умер! – захохотал Куделинский. – Счастлив...

– Ты это верно сказал. Он умер – он счастлив: для него все кончено, а вот мы живы, и впереди... каторга, – с трудом выговорила графиня последнее слово.

– Только не для тебя! – крикнул Куделинский.

– Для меня, для тебя, для всех нас. Вот она расплата-то за графскую корону... Путь к ней был роковым, и вот куда он нас привел.

Они замолчали. Софья беззвучно плакала, Куделинский ходил из угла в угол по гостиной.

– Софья, – проговорил он, останавливаясь против молодой женщины, – скажи откровенно, сохранилось ли у тебя ко мне хотя немного прежнего чувства?

– Прежнее, да еще такое близкое, не так скоро забывается, поэтому я могу сказать: да!

– Спасибо и на том! Скажи мне вот что. Если бы я теперь вдруг оказался в страшной беде, покинула бы ты меня?

– Нет.

– Ну смотри же, помни, что ты сказала.

Знаешь, какой для меня самый лучший выход из того положения, в котором мы находимся?

– Какой?

– Убить себя. Кобылкин дал мне на это семь дней срока. Он вполне уверен, что я так и сделаю. Но убить себя – значит бросить вас, – то есть тебя, на произвол судьбы. Вот тогда твоя гибель была бы неизбежна. Поэтому, Софья, я себя не убью, а сделаю другое: выдам себя судебным властям. Я обдумал это... Можешь спросить Марича, мы уже говорили с ним... Это будет великолепный выход, который не только спасет нас, но и сохранит-то, что уже приобретено нами... Понимаешь, Софья?

– Нет... Скажи, на что ты рассчитываешь?

– А вот на что... Я, говоря высоким слогом, предам себя в руки правосудия, я расскажу все: и про убийство Козодоева, я даже выставлю себя в качестве убийцы, и про-то, что я столкнул с поезда Кобылкина и своего соучастника Квеля, но зато выгорожу тебя и, быть может, Марича. Мне поверят, нельзя будет не поверить. Поверят больше, чем Кобыл-

кину, больше, чем Квелю. Этим я разрушу, разорву опутывающую нас сеть. Коноплянкин, читальщик – все должны будут стучаться.

– Но ведь тебя приговорят! – попробовала возразить Софья. – Ты будешь сослан!..

– Экие пустяки! Сослан не на луну, а на каторгу, а каторга находится на земле, здесь же всегда есть выход. Потерпеть придется кое-какие неудобства, это тоже пустое: человек все сможет вынести. Но, Софья, это я сделаю только ради тебя. Горе тебе, если ты позабудешь меня!.. Горе тебе, если ты, когда я вырвусь на свободу, откажешься от меня! Пощады не будет... Я приношу слишком большую жертву ради тебя, чтобы потом остаться ни с чем.

Резкий звонок прервал эту речь. В передней раздалось хлопанье дверей, послышался грубый мужской голос, что-то говоривший Насте.

Станислав и графиня молчали.

– Вам, ваше сиятельство, телеграмма, – вошла в гостиную горничная, протягивая Софье пакетик.

Неожиданное разоблачение

Куделинский внимательно смотрел на Софью, пока она пробегала глазами содержание телеграммы.

– От кого? – нетерпеливо спросил он.

– Представь себе, – ответила графиня, – Настя, вы можете идти, – отпустила она горничную и продолжала: – Случилось неожиданное... Сюда едет московский Нейгоф... судя по числам, он выезжает завтра, стало быть, послезавтра будет здесь.

– Все естественно, – возразил Куделинский, – он хочет явиться сюда к девятому дню, чтобы помолиться на могиле племянника... Это когда же будет? – он задумался. – Фью, – просвистел он и нервно засмеялся, – ведь девятый-то день приходится как раз накануне последнего дня недели, выпрошенной мной у господина Кобылкина... Вот совпадение-то! И что двинуло эту московскую развалюху? Ведь он станет свидетелем всех предполагаемых событий... При нем придется заваривать но-

вую кашу. Не совсем это удобно... Э, да черт бы все побрал!..

– Станислав, – остановила его Софья, – ты становишься невоздержан и груб!

– Как и полагается будущему каторжнику, – засмеялся Куделинский.

– Ты забываешь, что я могу и не принять твоей... жертвы...

– Примешь, голубушка моя, волей-неволей примешь! Вспомни, что говорил Марич: «ярославские крендели» – неподходящие браслеты для твоих ручек, а каторжная тюрьма – неподходящие чертоги для твоей головки, увенчанной графской короной.

– Добытой путем преступления, – заметила Софья.

– Все равно, каким путем... Что добыто, – то наше. Софья, Софья! Зачем я люблю тебя!.. Ты как-то оскорбила меня, бросила упрек, будто я люблю тебя только потому, что рассчитываю через тебя добиться богатства.

– Ты сам говорил мне об этом, – ответила Софья. – Помнишь, в тот ужасный вечер?..

– Ох, как я проклинал себя за эту фразу!.. Она стала между нами, она, а не Нейгоф.

– Правда, – согласилась молодая женщина.

– А между тем ты для меня дороже всего...

Я на преступления шел ради тебя, на страдания иду ради тебя...

Он попробовал привлечь к себе Софью.

– Не надо, – уклонилась та от объятий.

– Ненавидишь меня?! – воскликнул Куделинский.

– Нет, но только что похоронили Нейгофа.

– Опять этот проклятый босяк! – схватился за голову Станислав. – Как я ненавижу его даже теперь, когда он перестал существовать...

Софья, – со страстным порывом схватил он за руку графиню, – долго ты будешь мучить меня? Поцелуй!

Софья сделала движение к Куделинскому, но словно что-то отшатнуло ее от него.

– Не могу, – закрывая лицо руками, чуть слышно проговорила она, – не могу... после... Пусть пройдет время... Он, граф, как живой, стоит у меня перед глазами... Не могу... Прости, Стася!

– Да, да, я понимаю твое душевное состояние... Понимаю... – в голосе Станислава задрожали слезы. – Что делать... Спасибо тебе, Со-

ня, что ты не лицемеришь, уже это – ручательство за-то, что и в будущем, в моем будущем, – подчеркнул он, – ты не будешь моим врагом... Позволь мне оставить тебя.

– Куда ты? – встревожилась Софья.

– Мне нужно разыскать Марича... Он знает о том, что я задумал. Лучше, если этот московский граф застанет дело в разгаре, когда придет... Не бойся, голубка моя, не страшись, я отведу от тебя удар... Ты будешь счастлива. Графская корона так идет твоей дивной головке, что было бы жаль, если бы ты лишилась этого украшения... Ну, иду... Дорогу! Все прочь с нее... каторжник идет! Софья, Соня, прости, прощай!

Софья Карловна рыдала в своем кресле. Она не сделала ни одного движения, несмотря на-то что глаза Куделинского выражали страстное желание хотя бы на одно мгновение уловить в ней искорки сочувствия, ласки, привета.

– Марич скажет тебе, как ты должна будешь вести себя, – сказал Станислав, и вдруг из его груди вырвался отчаянный крик: – Прости, прощай!

Софья подняла голову, качнулась вперед, но Куделинский был уже за порогом гостиной.

– Не могу, не могу! – простонала Софья и вновь зарыдала.

– Ваше сиятельство, родная вы моя! – засуетилась около графини Настя, прибежавшая на громкие рыдания своей госпожи. – Да успокойтесь же вы... Ан дело какое... как расстроили-то вас!

– Где он, где Станислав? – крикнула Софья.

– Ушли господин Куделинский-то, ушли...

– Бегите, Настя, бегите скорее, догоните его, верните, скажите ему... – вырывались из уст графини слова. – Нет, ничего не говорите... не надо! Оставайтесь, Настя, никуда не ходите... ничего не нужно... О-о, как тяжело, как невыносимо тяжело!..

Софья вздрагивала от душивших ее рыданий. Наконец вырвалось наружу все-то, что так долго таила в себе молодая женщина. Как ни были крепки ее нервы, но все-таки это были нервы женщины. В течение месяцев нарастали отчаяние, страх перед роковым будущим; все это сдерживалось, и вот, наконец,

последовал взрыв...

Однако воля этой женщины была еще сильна.

– Настя, кто там? – сразу подавила она рыдания, услышав брякнувший звонок.

– Сейчас, ваше сиятельство, – отозвалась та.

Настя побежала отворять.

– Марич! – узнала по голосу Софья и кинулась ему навстречу.

– Я, я, барынька! – весело воскликнул Владимир Васильевич, снимая пальто и входя в гостиную. – Да что это? На вас личика нет? Глазки опухли! Вы плакали? О чем это?

– После об этом... Вы разве Станислава не видели?

– Когда?

– Теперь, вот сейчас... Он должен был к вам пойти.

– Ко мне? Конечно, не найдет меня дома... Физический закон не изменен... Но что с вами, моя прелестная вдовушка? Кажется, все благополучно... С похоронами нехорошо вышло... Следовало бы вам хоть до кладбища проводить.

– Ах, это что! – раздраженно мотнула головой молодая женщина. – Вы слушайте, слушайте только, что произошло.

Улыбающаяся физиономия Марича стала серьезной. Он присел в кресло против Софьи и внимательно слушал, пока она передавала ему все, что сообщил ей Куделинский.

– Да, это серьезно, – сказал он, когда графиня замолчала, – очень серьезно... И все этот негодяй Куделинский!.. Каторгой тут очень пахнет... Кобылкин, Коноплянкин, какой-то Козелок, потом Квель – все против нас... Фу ты! Со всех сторон. Да нет! Это не они вовсе... Что они? Жалкие люди! Это – всемогущая судьба!

– Станислав говорил, что нашел выход, – робко сказала Софья. – Он примет вину на себя и таким образом...

– Верьте вы ему!.. Комедиантишка подлый, актеришка... Ведь он и мне говорил-то же; я сам восхитился было его самоотверженностью... Еще бы! Красиво-то как! «Я, – говорит, – спасу всех; приду и скажу: “Вот я – тот самый, который... Берите меня, заковывайте в кандалы, ведите на страдания!” Красиво, что

и говорить, а на самом деле вся эта красота, все это самопожертвование плевка не стоят.

– Как, неужели он лгал?! – воскликнула Софья.

– И лгал, и лжет! Он хочет написать свое признание, послать его прокурору, а сам намерен скрыться. Вот вам истинная сущность его самопожертвования... Он сам мне про это говорил, планы разные строил, как и что... К вам же за деньгами придет, потому что он только одними надеждами богат, да и то надеждами на-то, что вы, наивная бабеночка, будете на него работать, свою шейку под удары подставляя, а он, как это нейгофское наследство попадет в ваши лапки, панствовать будет, жизнью наслаждаться... Так нет же, не бывать этому! Хочет – пусть идет и сам себя выдает, всю вину на себя принимает... а нет...

Марич оборвал на полуслове.

– Что нет, Марич? – вздрогнула Софья.

– Худая трава из воза вон! – отрывисто договорил он.

– Марич! – воскликнула молодая женщина. – Что вы задумали? Мне страшно... Что? Скажите!

– Ничего, – отрезал тот. – Говорю только, что ваш Станислав – подлец, каких мало. Вы, конечно, быть может, ослеплены любовью, а мне-то чего слепым быть? Вы говорите – Квель жив, ну и прекрасно! А ведь с поезда-то его, своего товарища, столкнул ваш Станислав... Что, это не подло? Вас он не тронет, вы ему нужны, а меня... Да на кой прах ему меня беречь? Ему прямой расчет от меня избавиться... А мне, как хотите, своя шкура дорога... хоть на каторгу идти, да живому, а на тот свет не хочу... Лучше на каторгу.

Он поднялся с кресла.

– Куда вы? – спросила Софья.

– Меня, говорите, соколик-то побежал искать?.. Так вот я пойду домой... Может быть, что-либо новое узнаю и сообщу тогда. Прощайте!

XXXVII

Во власти сердца

На Софью разоблачения Марича подействовали угнетающе.

«Не может быть, – думала она. – Так лгать, так притворяться невозможно... Марич ошибается... Но если бы он и не ошибался?.. Не все ли равно? Сердце, сердце молчит!.. Все чувство пропало... Ах, зачем вместо Нейгофа не умер Куделинский!.. Но что со мной? Я вся горю... как бы не захворать... Совсем забыла, что Марич – доктор... Нет, не могу больше, пойду, прилягу».

Она позвала Настю и с ее помощью перешла в спальню.

– Если кто придет, – приказала она, – не будите меня.

Настя уложила графиню в постель и, когда прошла в свою комнату, застала там Афанасия Дмитриева.

– Что поздно? – встретила она его.

– Не говори! – махнул тот рукой. – Такие дела, что просто чудеса в решете, да и только.

Сказывать не велено, а как узнаешь, только ахнешь да руками разведешь.

– Да ты скажи!

– Никак нельзя... Одно разве только: барыня-то твоя, Настюха, у-ух какая ядовитая! Спуталась она тут с компанией, а компания-то эта не сегодня завтра в тюрьму угодит и твою графиню прихватит.

– Да неужели? – то то она сегодня все плачет... Господин Куделинский здесь сперва был, пришел совсем расстроенный и мою графинюшку в слезы ввел...

– Еще бы ему расстроенным не быть, когда он всем делам главный заводчик, а дела-то и не выгорают? Помнишь, тут в тот день, когда с графом худо сделалось, мужлан грубиян был?

– Помню, – закивала головой Настя, – грозился еще и вообще скандалил.

– Вот-вот. Так к этому самому мужлану – чайная у него – Куделинский ваш приходил и помилования просил.

– Да как же это? А тот что?..

– Не помиловал. «Выложь, – говорит, – тыщи, тогда и разговор пойдет». Только мой

его укротить смог. Живо укомплектил: тот, буфетчик-то, и дыхнуть не посмел. А пока они говорили, тут такое дельце вышло, что для нас с моим-то первый сорт. Я читальщика этого, Алешку Богданова, разыскал и к моему представил. Они там поговорили, а потом я малость недосмотрел: Алешка-то возьми да и сбеги... Да куда? Слышь ты, Настюха, графиня твоя не спохватывалась пропажи какой-нибудь?..

– Куда тут спохватиться в такой кутерьме?

– Так спохватится еще. Алешка у вас деньги украл. Видишь, какое дело... Он был пьян и предлагал мне поделиться, да я спроста и внимания не обратил.

– Куда же он их схоронил-то?

– Вот это самое я тебе, Настюха, сказать никак не могу, потому что это пока самая что ни на есть наша секретная тайна... Скажу только, что пошел Алешка добывать эти деньги, да не добыл и чуть жизни через свой страх не лишился... А об этом он успел проболтаться товарищам своим, золоторотцам; те его и вызволили и в чайную к Коноплянкину притащили. Еще вашего господина Куделинского

на пороге встретили, когда он уходил. Алешка-то его признал, а господин Куделинский нет. Да не в этом суть, Настюха, а в том, что как только Алешка с товарищами шасть в чайную, так они прямо на моего Кобылкина и нарвались. И обнаружился тут удивительнейший секрет... такой, что другого, поди, во все время, как земля стоит, не было... Слышь ты, – Афанасий притянул к себе Настю. Из внутренних комнат донесся звонок, но ни Настя, ни Дмитриев не слышали его; последний в это время прошептал девушке в самое ухо: – Граф-то ваш из могилы сбежал!..

– Да как же это? – прошептала испуганная и растерянная девушка. – Да разве могут покойники из могил бегать?

– Отчего же, ежели которые не совсем умерли, а так только, в наглядной видимости одной? Мой-то говорит, что и у вашего графа какая-то летаргия, что ли, была, а его живым и похоронили... Понимаешь ты? Живым графа похоронили, а он взял, да и убежал...

Отчаянный, душу надрывающий вопль, потом какой-то стук прервали парня.

Он и Настя вскочили и бросились к двери.

– Графиня! – закричала Настя, увидав распростертую на полу Софью. Она была без чувств. – Доктора скорее! – засуетилась Настя. – Беги, Афонька, за господином Маричем, – он поблизости... Скорее, адрес знаешь... Дарья, Даша! Да куда ты запропастилась то? Ахти беда... Афонька! Да что ты, окаянный? Беги, тебе говорят!

– Бегу... единым духом! Эх, дело-то какое неладное выходит... Попадет мне от моего!..

– Барыня, ваше сиятельство, – чуть не плакала Настя, смачивая водой голову графини, – красавица вы моя, да уж не померли ли вы?

– Нет, – отозвалась прибежавшая на ее крики Дарья, – теплая вся и сердце колотится.

– Так снесем ее, голубушку, скорее на кровать! Ай, как все это вышло!

– Бери ее, что ли, под голову, – распорядилась Дарья, – я под ноги возьму...

Женщины подняли Софью и, перенеся ее в спальню, уложили на постель.

– Иди, Даша, иди теперь. Управлюсь я тут, – заговорила Настя, сообразившая, что графиня, как только придет в чувство, сейчас же станет спрашивать ее о рассказе

Афоньки. – Иди, милая.

– Мне что, я пойду, – согласилась та, – мое дело в кухне, а не в бодуваре... С чего это с нею попритчилось-то?..

– Не знаю я.

Дарья вышла, оставив Настю одну около графини.

Крепкий спирт возымел свое действие. Молодая женщина вздохнула и приоткрыла глаза.

– Что со мной? – прошептала она.

– Ваше сиятельство, простите великодушно! – залилась слезами девушка.

– Помню, все помню! – воскликнула Софья, и опять отчаянный вопль сорвался с ее губ: – Живым похоронили!

– Да нет же, ваше сиятельство, недослышали вы, барыня милая!.. Убег он, граф-то, ежели Афонька мой не врет...

Но Софья словно не слыхала ее слов: она снова билась в жестоком истерическом припадке.

– Что же это господин Марич-то не идут? – суетилась растерявшаяся Настя. – Уж я не знаю, что и делать.

Марич, впрочем, оказался легок на помине. Дмитриев застал его дома одного – Куделинского у Владимира Васильевича не было.

– Пожалуйста к ее сиятельству графине Нейгоф, – объявил он, – требуют вас.

– Что там еще такое? Сейчас только оттуда, – поморщился Марич.

– Пожалуйста с! Графине худо, так что без чувств они быть изволят.

– Да что с нею? Постой, где я твою физию видел?

– На кладбище с сегодня.

– Ты что там делал?

– Так как мы в женихах состоим при графининой горничной Настасье, так счел своим первеющим долгом проводить их сиятельство графа. Так к ее сиятельству извольте поторопиться, и затем с вашего позволения я уйду с.

Дмитриев обогнал Марича и вбежал черным ходом в квартиру графини.

– Что с Нейгофшей-то? – едва переводя дух, спросил он у Дарьи, сидевшей в кухне.

– Что? Все как следует, – ответила та, – ногами дрыгает и головой колотится: истерика,

вишь; твоя Настька там при ней. Позвать?

– Не надобно... Ужо забегу. А ты, Дарья, поглядывай.

– Мне что поглядывать?.. Мое дело – кухня, а там хоть трава не расти... Ведь родственника ждут, – совсем неожиданно выпалила Дарья, – из Москвы... Настька сказывала. Телеграмма, вишь, пришла. Графиня господину Куделинскому читала, а она слышала. Ее спроси, она тебе скажет.

– Ладно, после спрошу. Слышь, звонят! Иди, отворяй, доктор это... а я побегу к своему.

Афанасий не ошибся: звонил с парадного хода Марич.

– Что с ней? – спросил он Настю, произведя беглый докторский осмотр уже успокаивавшейся Софьи.

– Марич, Марич, – произнесла графиня слабым голосом, – если бы вы знали только, какой ужас. Нейгоф был в летаргии, его похоронили живым.

– Что? – воскликнул, отшатываясь, Марич. – Откуда вы это узнали?

Софья беспомощно махнула рукой.

– Настя, оставьте нас одних, – понял по-сво-

ему жест Софьи Владимир Васильевич. – Ну, рассказывайте теперь, – сказал он, когда де-вушка вышла, – как это вы узнали?

– Я звонила Насте и, не дозвонившись, по-шла сама. Она говорила с каким-то мужчи-ной. Я его видела здесь не раз. Он и сказал, что Нейгофа похоронили живым. Ужас, ужас!

– Н-да, – произнес Марич, – только этого недоставало. Действительно, ужасная смерть.

– Граф не умер, Марич, – прошептала Со-фья. – Какими-то судьбами он спасся... Марич, Марич, если бы вы только знали... Я сама лишь сейчас поняла это: я люблю Нейгофа, понимаете ли вы: люблю!.. Он взял мое серд-це своей искренней, неподкупной любовью. Он – не-то, что Куделинский. Когда я услыха-ла, что его похоронили в летаргическом сне, меня объял ужас, когда же я услышала, что он спасся, – безумная радость овладела мной. Я люблю, люблю его!

– Это ваше личное дело, – вскользь заме-тил ей Владимир Васильевич. – Но что из все-го этого будет, я представить себе не могу.

– Спасите его, Марич, спасите его от Куде-линского! – молила Софья.

На лице Марича, обыкновенно добродушном, появилось злобное выражение.

– За это я не берусь, но Куделинского я сделаю безвредным, – отчеканивая последние слова, проговорил он.

XXXVIII

На краю бездны

Марич был удручен. Создавшееся положение казалось ему безвыходным, и чем дольше он думал, тем больше разгорался в его сердце гнев на Куделинского.

– Из всего, что вы тут наговорили, – сдерживая себя, обратился он к Софье, – я вижу только одно, что эта ваша горничная шпионила за вами.

– Я прогоню ее, – ответила молодая женщина.

– Оставьте ее, не подавайте вида. Хуже того, что есть, быть не может... Уже все равно.

– Но Станислав, Станислав! – подхватила молодая женщина.

– Что Станислав? Его песенка спета; это говорю вам я. Понимаете: я!

– Оставьте, Владимир Васильевич, не до того мне, чтобы выслушивать ваши угрозы.. Нейгоф! Нейгоф! Найдите мне его, Марич!

– Вот еще что выдумали!.. Нет, я вашей любви не слуга... Довольно уже!.. Танцевал я обезьянкой для вашего Станислава, а теперь нет: назад играй... Как до каторги дотанцевались, так тут уже волком выть следует... Вот что: хотите совет?

– Говорите.

– О том, что Нейгоф спасся, вы Куделинскому ни гугу... Да и спасся ли Нейгоф? Бывали случаи, что при особенно благоприятных обстоятельствах такие, проснувшись, выживали, только очень редко. Это еще ничего не значит, что он выбрался из могилы. Да все равно меня Нейгоф несколько не интересует. Я сейчас уйду – тут мне делать нечего, а вы эту свою Настю стороной порасспросите, как это шпионство-то за нами было устроено, кому оно надобно... Я уверен, что без участия Кобылкина тут не обошлось. А с Куделинским будьте осторожны, словечка лишнего не пророните. Не-то он тут такую штуку выкинет, что наши беды и напасти еще усугубятся.

Прощайте, еще увидимся... Я пока на воле гуляю, забегу еще. – Марич, неуклюже поклонившись Софье, вышел из спальни. – У-у, востроносая! – погрозил он, надевая пальто, Насте. – Не жалко барыни-то?

– Я ни при чем тут, – смутилась девушка, – жених у меня есть... так навестить пришел... про свои дела рассуждали.

– Знаю я, про какие такие свои дела!..

Марич еще раз погрозил ей и быстро пошел вниз по лестнице.

Пока он говорил с Настей, голос его был шутив, а лицо беззаботно смеялось, но, едва лишь он остался один, голова его поникла, а на глазах выступили слезы.

– Барин! – откуда ни возьмись, появился Афонька Дмитриев, когда Марич пошел к дому, где была его квартира.

– Что тебе? – не сразу узнал парня Владимир Васильевич.

– К вашей милости! Я от графини к вам бежал звать вас к ней... графининой горничной Настасьи жених я.

– А-а... Что же тебе нужно?

– Дельце есть. Тут один господин по поводу

всех этих дел с вами поговорить желает.

– Какой господин? По поводу каких всех дел?

– Да вот они сами подходят; я ведь, собственно, подзадержать вашу милость должен был, – и он протянул руку, указывая назад, и повторил: – Вот они, господин то!

Марич обернулся и узнал в подходившем к нему человеке Кобылкина.

– Мы друг друга прекрасно знаем, – с легким смехом проговорил тот, подходя, – да только за глаза... Вот я и думаю, отчего бы не познакомиться, особенно ввиду некоторых обстоятельств? Узнали меня?

– Узнал, – глухо ответил Марич.

– Вот и прекрасно. Домой идете или еще куда? Так я с вами пройду... Афонюшка, иди за нами, только поодаль, и помни, что любопытство – грех смертный... Идемте, добрейший господин Марич!

Владимир Васильевич собрал весь запас силы воли. Инстинкт подталкивал его бежать от этого страшного человека, но разум говорил, что это бегство бесполезно, что от Кобылкина теперь никуда не убежишь, а, напротив,

только себе повредить можешь.

Поборов страх, Марич довольно спокойно пошел рядом с Мефодием Кирилловичем.

– А ловко вы меня тогда, – начал тот разговор.

– Это когда «тогда»? – хмуро спросил Марич. – На поезде, что ли?

– Вот-вот! – залился радостным смехом Кобылкин. – Я войти в вагон не успел, как маску с хлороформом на лицо – и готов... Я, знаете, нисколько за это не сержусь...

– Еще бы вам сердиться. На войне, как на войне.

– Святая истина. На войне, как на войне. А вот что же мы теперь будем делать?

– Вот уж этого я совершенно не знаю, что вы будете делать.

– Да я не про себя, а мы – в совокупности: это с одной стороны – я, с другой – вы, Куделинский да эта Шульц... Знаете, что я вам скажу? Куделинский ваш смел до дерзости, преступен до мозга костей, а в атаманы все-таки не годится. Он слишком высоко парит, слишком далеко смотрит, а того, что у себя под ногами, не замечает. Ведь вся прекрасно задумано.

манная охота за нейгофскими миллионами рухнула на полпути и вместо богатства привела вас всех к каторге!

– Вот и я-то же самое говорю, – невольно вырвалось у Марича.

– Это доказывает, что вы обладаете правильным взглядом на вещи. Куделинский испортил вам все дело, увлекшись возможностью сразу избавиться и от меня, и от Квеля, которого он побаивался. Он толкнул последнего с поезда в тот момент, когда Квель кончал со мной. И что же вышло: Куделинский спас меня.

– Кстати, – перебил его Марич, – я слышал обо всем этом и хочу вас просить... Не можете ли вы мне устроить свидание с Квелем?

– М-м... Нет, при всем желании не могу.

– Отчего? Ведь Квель жив.

– Есть тут одна причина... Я не могу вам ее сказать, но, уверяю вас, если бы этой причины не существовало, я с удовольствием исполнил бы вашу просьбу. Итак, вернемся к прежней теме. Вы сказали, что и сами думаете, что всеми неудачами и проистекающими из них печальными для вас последствиями

вы обязаны только Куделинскому.

– Да, – согласился Марич.

– Теперь я вот что вам скажу. Ваш пылкий атаман воображает, что для вас еще не все кончено... Он прямо мне сказал, что будет продолжать борьбу. Стало быть, он задумал что-то новое. Что – этого я, к сожалению, не знаю. Может быть, вы знаете? Но ведь вы, конечно, не скажете мне, в чем тут дело?

– Конечно, не скажу.

– И не говорите, молчите, храните про себя, – вдруг обрадовался Кобылкин. – Но только вот что: неужели же вы после того, как убедились в полнейшей неспособности вашего атамана руководить вами, будете еще следовать за ним?

– Это мое дело, – буркнул Марич.

– Ваше-то ваше, но к чему же стараться без толку? К чему риск без надежды на выигрыш?.. Карты в руках опытного игрока... Слушайте, господин Марич, мне вас жаль. Жаль мне и эту несчастную Шульц. Вы оба стоите на краю бездны; одно движение – и вы сверзитесь в нее. Вы – человек безвольный, но неплохой. Шульц молода. Крови Козодоева ни

на вас, ни на ней нет; она целиком падает на Куделинского, задумавшего преступление, и на Квеля, зверски выполнившего его. Вы видите, я знаю все подробности. Да и мудрено мне их не знать, когда я не один раз беседовал с Квелем. Теперь вы спросите, что значит это мое сожаление? Его я высказал по-человечески, я клоню вот куда. Пощады вам быть не может. Через шесть дней вы трое будете арестованы. Так пока есть время, отстранитесь от Куделинского, не идите дальше по роковому пути. Борьба бесполезна, так как ваша игра проиграна и свечи погашены. Вы, сами того не замечая, проговорились мне, что у Куделинского есть планы дальнейшей борьбы и эти планы вам известны. Вы можете расстроить эти планы. Лучше понести малую кару, чем увеличить ее новыми грехами... Что вы скажете?

– Мы пришли, – ответил Марич, останавливаясь.

– Напрашиваться к вам в гости я не стану, а о нашем разговоре вы серьезно подумайте.

– Один вопрос, раз вы меня удостаиваете своей откровенности: Нейгоф жив?

– Кто его знает? – пожал плечами Мефодий Кириллович. – Я знаю только одно: могила его пуста, а жив он или нет – мне неизвестно.

– Тогда прощайте, – кивнул Кобылкину Марич и неторопливо пошел в ворота.

Мефодий Кириллович глядел ему вслед и, качая головой, шептал:

– Что-то будет? Как будто мне удалось на-
травить барана на волка, а что из этого вый-
дет – скоро увидим.

– Куда теперь, Мефодий Кириллович? – по-
дошел к нему Дмитриев.

– Домой, Афонюшка, домой. Хоть ты и про-
болтался своей Насте, о чем не следовало, а
все-таки ты у меня молодец... Домой я пойду,
благо дело сделано, можно и отдохнуть... А
ты, если хочешь, к невесте своей отправляй-
ся... Может быть, там что новенькое будет...

XXXIX

У «дикого доктора»

Однако «новенького» ничего не вышло. Кобылкин и в том доме, где нанята была для Нейгофов после их свадьбы квартира, имел небольшое помещение, удобное для наблюдений за квартирой графини. Туда он и отправился, расставшись с Маричем; туда же попозднее вернулся и Дмитриев.

– Ну, что, Афоня? – встретил его Кобылкин. – Какие там дела?..

– Тихо, Мефодий Кириллович, – ответил Дмитриев. – Лежит барыня и горькими слезами заливается.

– Проняло ее, значит. Небось, Настю твою расспрашивала?

– Ни словечка не спросила, только плачет!

– А Куделинского этого не было?

– Никак нет. Ежели явится, Настасья прибежит уведомить...

– Так, так. Ох, грехи, грехи человеческие, – вздохнул Мефодий Кириллович. – Что-то будет, как-то все эти узлы развяжутся.

– А так развяжутся, – вставил свое слово Афанасий, – что награду вы большую, Мефодий Кириллович, получите.

– Молчи ты, парень, лучше! – рассердился Кобылкин. – Никакой я награды не получу, и ничего мне не надо. Разве я из-за этого труды принял? Достаточно я уже награжден был за свою службу... Теперь моя награда на небесах... Там она, если я только стою ее, а на земле мне ничего не надо... Да и за что награждать-то? Разве я – не слепое орудие другой, великой и высочайшей воли? Я – слабый, жалкий, беспомощный человек, только и всего. Так-то, Афонюшка, попомни это... А теперь мои старые кости отдыха просят: прилягу я, а ты, ежели что, сейчас же разбуди меня.

Будить Мефодия Кирилловича не пришлось; он проснулся лишь на другое утро, когда позвонил почтальон.

– Два письма вам, – объявил Афанасий, подавая Кобылкину конверты.

– От кого это? Почерк-то на обоих незнакомый, – говорил по привычке сам с собой Мефодий Кириллович, открывая письма. – Ба-ба-ба, господин Марич мне пишет. Интересно:

«Вы правы – от Куделинского необходимо отстраниться, что я и сделаю. Как? Это – мое дело...» Что ж, это благоразумно, посмотрим, как баран волка скушает... А суда-то им не избежать... Вот разве эта Шульц, если этих двух не будет, увернется... А это от кого? – вскрыл Кобылкин второе письмо. – Барановский, Барановский... Кто это? Ах, да: Анфим Гаврилович, «дикий доктор» из той больницы, где тогда Нейгоф лежал. Славный парень! Просит зайти к нему на квартиру, и непременно послезавтра... Что же, можно. Завтра-то и попригляжу за моими голубчиками. Ведь глаза с них спустить нельзя, а послезавтра какнибудь вырвусь, а там и конец... Срок минует, нужно будет к моему приятелю следователю завернуть, поговорить с ним... То-то удивится. Столько времени не виделись...

– А вы, Мефодий Кириллович, – перебил его Афоня, – не забыли, что у графини графа из Москвы ждут?

– Помню, соколики мои, только бы ты не забыл да толком узнал, когда этот московский граф приедет, где он остановится.

– Узнать можно, – ухмыльнулся Афона-

сий, – не хитро это.

– Уж узнавай, голубеночек, как ты хочешь, только узнавай... Настя твоя не была?

– Никак нет, Мефодий Кириллович, не бывала.

– Стало быть, там у них все благополучно. И зачем это я «дикому доктору» понадобился? Было бы время, разузнал бы все. Да важного ничего как будто тут быть не может.

Он успокоился и решил ждать назначенного Барановским дня. Впрочем, тревог никаких не было. Куделинский, как об этом узнал Кобылкин через Афанасия, у Софьи не появлялся; бывал только Марич. Однако Афанасий не раз видел Станислава Федоровича; последний в разные часы бродил около дома, где жила графиня Нейгоф, но, очевидно, зайти к ней не решался. Кобылкин на него и внимание перестал обращать: Куделинский уже потерял для него интерес. Он больше думал о Мариче, чем о Станиславе, но и тот не проявлял никакой особенной деятельности, хотя Афанасий несколько раз видел его вместе с Куделинским.

Утром того дня, в который Анфим Гаврило-

вич просил Кобылкина зайти, с курьерским поездом приехал из Москвы граф Федор Петрович Нейгоф.

Мефодий Кириллович побывал на вокзале и видел, что приехавший был очень удивлен: его никто не встречал. Кобылкину московский граф богач показался дряхлым, но эта дряхлость являлась не следствием болезней, а просто результатом многих прожитых на свете лет.

«Теперь к Барановскому», – решил Мефодий Кириллович, проследив, в каком отеле остановился москвич.

– Пожаловали? – буркнул «дикий доктор», сам отворяя дверь на звонок Кобылкина.

– Весь как есть, – весело ответил тот. – Что у вас такое?

– Дело, и очень казусное.

– Вот как! Что же это за дело? – спросил Кобылкин и вошел вслед за хозяином в небольшую лабораторию.

– По вашей специальности. Вы не пугливы? Нет? Так знайте, у меня там, – Анфим Гаврилович показал на дверь в соседнюю комнату, – покойник! – и он распахнул дверь.

– Граф Нейгоф!.. – воскликнул Мефодий Кириллович, бросаясь вперед.

Нейгоф, бледный, худой, но бодрый, стоял посреди комнаты, опираясь одной рукой на заставленный всевозможными стеклянными аппаратами стол.

– Да, это – я, я... Простите меня, – сделал он шаг вперед по направлению к Кобылкину. – Простите!

– Что такое? За что? Как я рад, что нашел вас!

– Простите за-то, что я при встречах относился к вам несправедливо... Помните, я был груб с вами.

– А, какие пустяки... Но вот счастье-то! Мне и в голову не пришло искать вас у доктора.

– Искать? Да разве вы меня искали? – удивился Нейгоф.

– А как же? Ведь я знал, что вас нет в могиле, что вы ушли... Я больше всего боялся, не случилось ли с вами чего-нибудь плохого потом.

– Знаете, – вмешался Барановский, – ночью третьего дня вдруг звонок. «Какого, – думаю, – лешего несет? Пусть себе звонит! Позвонит да

и уйдет». Ан нет, опять звонок. Иду, отворяю. Гляжу – вот он. Оборванный, грязный, мокрый. «Откуда?» – удивился я. «Из могилы, – говорит, – пустите». Я было рассердился, турнуть его хотел ко всем чертям, да жалко стало. Пустил – обсушил, обогрел. Вижу какой-то казус, и притом дрянной. Он мне и рассказал все свои приключения. Что он умер – я ведь этого и не знал, а он и умереть как следует не сумел: в летаргии заснул. Потом он стал про вас рассказывать, что будто вас кто-то где-то когда-то убил, а я подумал, что этого быть не может. Если бы таковое вышло, сколько везде шума было бы. «Дай-ка, – решил, – напишу». Написал, а вы и явились, живы и невредимы. Да что вы на него так смотрите, будто кот на колбасу?

– Сердце, эскулапушка милый, у меня так и поет! – воскликнул Кобылкин. – Есть правда на свете! Есть высшая милость!.. Граф ты мой родимый, – кинулся он с объятьями к Нейгофу, – бедняжка ты мой горемычный! Потрепали тебя скверные люди, да оказалась у тебя защита великая... Дай мне поцеловать тебя!.. Вот и сам я, старый пес, не думал, что так я

твоему счастью обрадуюсь...

Он обнимал и целовал Нейгофа; Михаил Андреевич тоже был расстроган.

– Ну, сядем теперь, расскажи мне все, – несколько успокоился Кобылкин. – Доктор, можно?

– Ну еще бы, – ответил Барановский. – Вот вам кушетка, стулья, кресла, располагайтесь, а я на визитацию в больницу.

Он ушел.

– Ну, ну, рассказывай, – торопил Нейгофа Мефодий Кириллович, – подробно рассказывай.

– Про себя расскажите, – промолвил Михаил Андреевич, – ведь я до сих пор думал, что они вас убили.

– Ага: «они»!.. Стало быть, и тебе кое-что известно?

– Все, – потупился граф.

– Радуюсь! Как же это просветление-то пришло? Как же прозрел-то ты?

– Ужас просветил меня... Ведь я в летаргическом сне был...

– Знаю... И сам я догадывался, и Анфим-то давеча сказал... Ну-ну...

Нейгоф не ответил. Он глубоко задумался. Мефодий Кириллович не мешал ему.

Так прошло минуты две.

– Как я любил ее, – вдруг заговорил Михаил Андреевич, – как любил!.. Чем я был до встречи с нею? Существом хуже последнего нищего, человеческим отребьем, комом грязи.

– Душа-то была жива, а это самое главное, – вставил Кобылкин.

– И вдруг она солнцем засияла, – продолжал Нейгоф, даже не слушая своего собеседника. – Яркие лучи осветили меня, зажгла она искорки жизни, что тлели в моем грязном, отвратительном существе. Ведь меня никто не заставлял жить так, как я жил до встречи с нею. Мне нравилась эта жизнь, я находил в ней самоудовлетворение, наслаждение, какое мне не могли бы доставить никакое богатство, никакое положение в обществе...

– Это бывает, – опять вставил Кобылкин. – Вон гастрономы: чем больше дичь протухнет, тем она им вкуснее кажется...

– Да, да, – согласился Нейгоф. – Я думаю, во мне сказались пресыщение благами жизни.

Века наш род жил в довольстве. Богатство переходило от предка к потомку. Века никто не знал ни труда, ни забот. Все было к нашим услугам, понимаете, все, что ни потребовало бы пресыщенное, извращенное воображение. И вот во мне, последнем потомке рода Нейгофов, сказалось это пресыщение в самой острой форме. Мне понадобилось с головой уйти в непролазную грязь, потому что все высшие блага жизни мне осточертели. Я в эти дни думал об этом, и новый свет озарил мое прошлое... Прежде я своим босяцким похождениям придавал значение какого-то протеста...

– Дурь одна – эти протесты, – перебил Нейгофа Кобылкин. – Ты, миленький, про фактики, как это ты из-под сырой земли сбежать ухитрился?.. Горю нетерпением, пылаю!

Вычеркнутый из жизни

Михаил Андреевич помолчал, как бы собираясь с мыслями, и потом заговорил голосом, в котором слышались и грусть, и душевная мука.

– Вероятно, я уже начинал тяготиться своей жизнью, когда явилась она, эта женщина... Я увидел ее впервые у этого несчастного Козодоева. Страшно резок был тогда для меня переход с кобрановских огородов в обстановку, хотя и отдаленно, напоминавшую мне мое прошлое, мое детство, мою юность... И вдруг Софья... Я уже тогда был ослеплен. Козодоев сразу предложил мне стать мужем этой женщины. Я принял это за злую насмешку и убежал, потому что в моей душе все так и клокотало... Я не убивал этого старика...

– Знаем-с, – вставил слово Кобылкин.

– Я, правда, толкнул его, когда он хотел задержать меня, но мой толчок не был смертельным.

– Однако Козодоев порядочно ушибся, так

что нашел нужным позвать своего доктора... Я немного перебью вас, необходимо, чтобы и вам было все известно. Козодоев был темным дельцом, но так как темные дела в одиночку не делаются, – то у него был штат помощников на все руки. Под рукой у него был красивый молодой человек Куделинский, которого в любой момент Козодоев мог подставить в качестве жениха какой-нибудь старой, но богатой дуре. Затем, у него в качестве телохранителя, но иногда и исполнителя кое-каких неудобных для самого старика предприятий был некий Антон Антонович Квель, чухонец родом и силач, каких мало. Наконец, на всякий случай Козодоев прикормил и приручил одного опустившегося докторишку, Марича. И в докторских услугах, видимо, бывала у старого дельца надобность. Сверх того, эта Шульц...

Нейгоф поднял глаза на Кобылкина и затаил дыхание в ожидании, что тот скажет.

– Моя жена, – прошептал он и закрыл лицо ладонями.

– Она, – продолжал Мефодий Кириллович, – действительно была воспитана стари-

ком с детства. Пожалуй, он и любил ее, любил, как дочь. Это доказывается тем фактом, что по заранее составленному духовному завещанию этот одинокий старик оставил ей все свое солидное состояние. Что ж, и у таких людей могут быть сердечные привязанности; так уж устроен человек.

– Однако он не задумался предложить мне, босяку, жениться на ней.

– Вы, вероятно, не знаете, зачем он это сделал?

– Я узнал, только лежа в гробу, – я все, все слышал! Козодоева убили все эти люди, которых вы только что назвали.

– Собственно говоря, убивал один Квель, но при кровавом деле присутствовали и Куделинский, и Марич; да и Шульц узнала о нем, как только оно совершилось. Но об этом немного после... В предложении, которое сделал вам тогда Козодоев, сказались его заботы о будущем своей воспитанницы. Ведь вы – последний представитель рода Нейгофов, и к вам переходит все огромное состояние вашего московского родственника, который, кстати сказать, находится теперь в Петербурге.

– Дядя приехал?! – воскликнул Михаил Андреевич.

– Сегодня утром... Но погодите! Итак, вы – богатейший наследник. Вот Козодоев, обделавший на своем веку не одно такое дело, и задумал закрепить ваше наследство за своей любимицей. Так как завещание гораздо раньше рокового дня было составлено стариком в ее пользу, – то можно судить, что действовал он совершенно бескорыстно. Как он отнесся бы к вам, если бы вы стали мужем Софьи Шульц, я не знаю, но думаю, что постарался бы вырвать вас из грязи. Ему даже необходимо было сделать это: ведь такое положение было для него самым верным и прямым путем к вашему наследству. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Козодоев имел неосторожность рассказать Квелю, которому доверял больше всех, о своих планах, а Квель – грубое, алчное животное – передал обо всем Куделинскому. Последний же сразу сообразил, что миллионное наследство проскользнет мимо, тогда как, не будь Козодоева, оно могло бы попасть в его руки. Заметьте – если бы не было Козодоева; пока он налицо,

всякие попытки были бы тщетны. Вот тогда Куделинский и приговорил старика к смерти. Но один он действовать не посмел и подстрекнул алчного Квеля. Тот готов был пойти на всякое дело, лишь бы была от него нажива. Эти сообщники припутали в свои замыслы безобидного и безвольного Марича. Они дали Козодоеву время найти вас, привести к себе, а когда вы убежали, – то, воспользовавшись тем, что Козодоев из-за вашего толчка позвал Марича, явились к нему все сразу – Куделинский, Квель и этот докторишка. Квель зверски убил старика, а те двое присутствовали при этой ужасной работе.

– А Софья? – трепещущим голосом спросил Нейгоф.

– Ее во время убийства не было. Они привели эту несчастную потом и показали ей свое страшное дело.

– Зачем?

– Вероятно, затем, чтобы и она была причастна к нему. Впрочем, эти негодяи обставили себя ловко. Все они тогда жили в том же доме, где жил Козодоев, так что не было никакой возможности установить факт их посеще-

ния, и если бы хоть малейшее подозрение коснулось их, они все свалили бы на вас, и отвертеться вам было бы трудно. Ведь теперь везде ищут оборванца, которого привез к себе в последний вечер своей жизни Козодоев. На этом и хотел сыграть эта продувная бестия Коноплянкин...

– А я считаю себя ему обязанным, – проговорил Михаил Андреевич.

– Чем это?

– Летаргией. Я думаю, да и Барановский говорит, что она была следствием сильнейшего нервного потрясения. Ах, если бы вы знали, что я перечувствовал! Я слышал, все слышал! Вся страшная ложь, окружавшая меня, вдруг открылась передо мной. Около меня, мимо мертвого, эти люди говорили, не стесняясь. Я узнал, что Софья, мое любимое, обожаемое существо, которому я готов был молиться, – любовница убийцы; я узнал, что не чувство приводило ее ко мне в больницу, не чувство привлекло ее к браку со мной, а хищнический интерес... О-о! И я в эти моменты не мог встать, чтобы крикнуть этим людям: «Я жив, я все знаю, презренные!» Я знал, что ме-

ня считают мертвым, что меня закопают в землю, но это меня не пугало. Меня мучило только мое бессилие... Ах, как мне было скверно!..

– Я думаю, – согласился Кобылкин. – Только, сказать по правде, такие испытания иногда полезны бывают.

– Но как они тяжелы! Лучше самая лютая смерть, чем такие минуты... Правда, один раз было даже смешно... Этот читальщик Козелок... Ведь я его знаю, товарищами были... Он украл деньги и спрятал их мне под голову.

– И это мне известно! – воскликнул Кобылкин. – Сперва Козелок, а потом еще два других ваших бывших знакомца – Зуй и Метла – ходили добывать их. Хорошо, что вас уже не было в могиле, когда эти почтенные синьоры явились, – они убили бы вас со страха.

– Может быть... Вот Козелок-то... мне смешно было на него... Украл он деньги, а потом, будто живому, говорит: «Прости, Минюшка, дружок мой, меня, окаянного! Не тебя обижаю, а эту барыню твою. У нее этого добра много, а мы всей артелью тебя помянем и доброе слово о тебе скажем». Поцеловал он

меня. Потом что-то со мной случилось: замер я и очнулся уже в могиле. Вот еще ужасное мгновение! Я очнулся, жизнь вернулась; я понял, где я, что со мной. Знаете, что привело меня в чувство? Подъем воды был, вода проникла в могилу, ее ледяной холод и заставил меня очнуться... Я задыхался, но мне страшно захотелось жить. Как я забился! Я кричал, стучал, ревел, и вдруг нижняя стенка гроба отлетела под моим ударом, и я ощутил приток свежего воздуха. Какое невыразимое блаженство овладело мной. Я жив, я буду жить! Мой мозг лихорадочно работал, сердце стучало... Но начал выбираться я не сразу – устал и лежал отдыхая. Вода сочилась подо мной, холод студил, но мне было хорошо. В эти мгновения я сообразил, что мне не следует показываться кому бы-то ни было на глаза. Ведь я уже был вычеркнут из жизни...

– Совершенно верно, – подтвердил Мефодий Кириллович. – Это очень серьезный вопрос, и вам придется над ним подумать. Впрочем, если позволите, позже я кое-что предложу вам. Итак, не забудьте, что вы вычеркнуты из жизни, а теперь дальше, дальше... сто-

раю от нетерпения!

– Дальше немного уже, – улыбнулся Нейгоф. – Я лежал и соображал, как мне поступить. Я вспомнил, что похоронен в сюртучной паре, а на ноги мне обули не туфли, а сапоги. Это было для меня счастливым обстоятельством. Я начал потихоньку выбираться... Трудно было, да, на мое счастье, я худощавый. Ничего, кое-как выбрался и очутился в какой-то яме...

– Рядом слишком близко могилу выкопали, – заметил Кобылкин.

– Должно быть, так. Я в ней и притаился, выжидая время. Сажу и жду. Было уже темно, совсем темно... Да, маленькая подробность. Деньги, которые спрятал под моей головой Козелок, я с собой захватил; видите, как ясно было мое сознание. Я сообразил, что они мне могут пригодиться. Вдруг вижу – над ямой что-то зашевелилось...

– Ага, это Козелок пришел, – усмехнулся Кобылкин.

– Кажется, он. Я, не помня себя, выскочил из ямы, того же, кто явился, толкнул в нее, а сам побежал. Кладбище я знал прекрасно...

как же, не раз милостыню сюда ходил собирать. Благодаря темноте никто меня не заметил. Так я и выбрался за ограду. Вспомнил, что Барановский, когда я лежал в больнице, был очень добр ко мне, и решил идти к нему. По дороге ничьего внимания я не привлек.

В передней звякнул звонок.

– Верно, наш доктор вернулся, – поднялся с места Кобылкин. – Вы сидите, я отворю.

Но это был не Анфим Гаврилович. Отворив дверь, Кобылкин увидел перед собой Дмитриева.

– Пожалуйста скорее, Мефодий Кириллович, – торопливо заговорил он, – господин Куделинский к Нейгофше пошел, поговорил с господином Маричем и пошел. Сердитый такой, даже гневный.

ХЛІ

Страсти накаляются

Куделинский не показывался у Софьи с того самого дня, когда между ними произошло решительное объяснение.

Он понял, что в душе молодой женщины происходит упорная борьба двух чувств: охладевшей любви к нему и томительного раскаяния, связанного со страхом за будущее.

В любовь Софьи к Нейгофу Станислав не верил.

– Сонька решительна, пылка, тигрица по натуре, – сказал он в тот же вечер Маричу, который, возвратившись к себе после беседы с Кобылкиным, застал в своей квартире Куделинского. – Тигрица – и вдруг жалкий, безвольный плакса, тряпка какая-то!

Марич ни слова не сказал Куделинскому о том, что произошло с Софьей.

– А ты не допускаешь, что подобные натуры стремятся к противоположностям? – заметил он. – Сами они покоряются тем, кто сильнее их, а над ничтожествами властвуют. Кто

же предпочтет первого последнему?

Куделинский задумался; Марич искоса, но пристально смотрел на него.

– А знаешь, ты, пожалуй, прав, – сказал Станислав. – Но говорить об этом не стоит. Нейгофа нет... Чему ты? – заметил он улыбку, скользнувшую по губам собеседника.

– Так, ничего. Мне пришла в голову мысль, какую бы ты физиономию скорчил, если бы вдруг этот Нейгоф встал из-под земли.

– Какая странная фантазия! – засмеялся Куделинский.

– А разве невозможно? Софья рассказывала мне, будто ты сообщил ей, что спасся Кобылкин и уцелел Квель, а это разве не фантастично?

– Да, – понуро проговорил Станислав, – это действительно похоже на сказку, но это – явь: ведь я сам виделся и говорил с этим проклятым сыщиком... Но хватит об этом... Есть у тебя более-менее приличная бумага? Дай... я сейчас начну писать к прокурору...

– Ты это всерьез?

– Конечно. Это, дружище, такой выпад на нашей дуэли с судьбой, что может дать нам

решительный перевес.

Марич, ни слова не говоря, подал ему бумагу и придвинул письменный прибор.

Куделинский сел к столу, подпер голову руками и долго сидел в такой позе.

– Обдумываешь сочинение? – насмешливо спросил Владимир Васильевич. – Видно, не легко.

– Да, черт возьми, не легко! – вспыхнул Станислав. – Кому это, посмотрел бы я, было бы легко самого себя упрятать на каторгу?!

– Любишь кататься, люби и саночки возить, – засмеялся Марич, затем умолк и даже ушел в дальний угол, откуда продолжал пристально наблюдать за Куделинским.

Тот несколько раз принимался писать, менял листы, выкуривал одну папиросу за другой и вдруг с сердцем отшвырнул перо.

– Ничего не выходит! – воскликнул он. – Хоть убей – ни строчки! Да и чего торопиться? Впереди у нас еще шесть дней...

– Вот то-то и оно, – заметил из своего угла Марич. – Вспыхнул ты и потух...

– Надоел ты мне! Какая, в самом деле, нянька у меня явилась!

Куделинский заметно сердился. Не говоря ни слова, он встал и начал одеваться.

– Уходишь, кажется? – не меняя позы, спросил Владимир Васильевич. – А сочинение-то свое когда начнешь?

– Когда мне будет угодно!

Марич только качал головой и не удерживал Куделинского.

– Ничего не выйдет, – шептал он, – сразу не написал, так и не напишет... Порисоваться, чужими руками жар загрести – на это нас взять, а как дело своей шкуры коснется, так в кусты... Так нет же, нет! – вышел из своей обычной апатичности Владимир Васильевич. – Я тоже не пешка! Жить под страхом, что тебя из-за какого-то эгоиста, как собаку, уничтожат, я не могу, не буду... Довольно! Этот Куделинский на все способен, так и я тоже не сдамся. Посмотрим еще, посмотрим, кто кого!..

Взволнованный Марич подошел к небольшому шкафчику и открыл его. Полочки были заставлены пузырьками и банками. Марич стал вынимать одну за другой склянки, некоторые долго рассматривал на свет, нюхал, по-

том отставлял в сторону. Покончив с этим, он сел и задумался; думал долго и сосредоточенно, потом вдруг встряхнулся, как бы сбрасывая разом все тревоги и сомнения, усмехнулся, сел к столу и написал крупным, размашистым почерком-то письмо, которое получил от него Кобылкин.

В следующие дни он часто бывал у Софьи.

Графиня в самом деле была больна и не поднималась с постели. Марич несколько раз встречал около дома Куделинского, но ни разу не сказал ему о болезни Софьи; не говорил он ему и о том, что случилось с Нейгофом.

– Что ты, как? – спрашивал он его при каждой встрече.

– Явлюсь сам, – сразу понимал Куделинский, о чем речь, – явлюсь, как только этот проклятый срок настанет... Устный рассказ произведет большее впечатление.

Такой же ответ получил Владимир Васильевич, встретившись с Куделинским в тот день, когда Мефодий Кириллович отправился на квартиру к «дикому доктору».

«Дай-ка я его пришпорю, – сказал он себе, – может быть, подействует хоть это», – и с осо-

бым выражением произнес:

– Советовал бы тебе поторопиться.

– Успею, – равнодушно ответил Станислав, – впереди еще три дня.

– Три дня пролетят, как миг, и за это время все может случиться. Ты только одно прими во внимание: Нейгоф жив.

Куделинского словно током ударило.

– Что?! – воскликнул он.

– Нейгоф жив, говорю, – вот что.

– Ты с ума сошел!

– Прежде всего, не кричи на улице, а потом – зачем мне сходить с ума? Отчего же Нейгофу не быть живым, если его похоронили в летаргии?

– В летаргии?

– Ну да. Случай помог ему выбраться из могилы, и он теперь поживет себе на доброе здоровье.

Станислав смотрел на Марича затуманенными, бессмысленными глазами, а затем глухо, с каким-то клокотаньем в горле произнес:

– Послушай, ты это что, сказки мне рассказываешь?

– Вовсе нет, – усмехнулся Марич, – спроси

Софью.

– Софью? – вспыхнул Куделинский.

– Да, она мне первая сообщила, а узнала она это из наивернейшего источника; потом об этом я кое-что слышал и от Кобылкина...

– Софья знает, Софья, – бормотал Станислав, оставляя без внимания ненавистное ему имя Кобылкина. – Софья! Что же она?

– «Люблю, – говорит она мне, – люблю его, кумира моего, – поддразнил Марич, – а на все остальное, – говорит, – мне наплевать». Положим, не так она сказала, но дело не в словах, смысл передаю верно; просила меня, во что бы-то ни стало, разыскать своего супружника; совсем взбесилась баба: «Жить, – говорит, – без него не могу».

– Вот как? – скрипнул зубами Станислав. – Идем! – схватил он за руку Марича.

– Куда это?

– К ней, к Софье!

Не обращая внимания на прохожих, оставившихся и с удивлением смотревших на них, Куделинский потащил Марича в подъезд, недалеко от которого происходил этот разговор.

– Дапусти ты меня! – рванулся тот.

– Нет, врешь! Иди! – прохрипел Куделинский. – Иди! Я убью тебя, если ты солгал!

– Ничего не солгал, – освободил все-таки руку Владимир Васильевич, – спроси барыньку свою...

Куделинский в это мгновение рванул звонок у дверей квартиры Нейгоф, не замечая, что Марич, воспользовавшись свободой, засунул руку под сюртук и что-то ощупал там.

– Прочь! – отшвырнул Станислав отворившую ему Настю. – Пойдем! – опять ухватил он Марича.

– Станислав Федорович, – опомнилась горничная, – ее сиятельство больны, не извольте их беспокоить.

Но Куделинский даже не взглянул на нее. Он сбросил пальто, заставил раздеться Марича и, схватив его за руки, потащил в спальню графини.

– Настя, кто это там? – слышался оттуда слабый, похожий на стон голос молодой женщины.

Графиня и в этот день оставалась в постели. Ее не так мучил недуг, как невыносимые

душевные страдания.

Она горела, как в огне, ничего не могла есть, и в-то же время ею овладели раскаяние и страстное желание во что бы-то ни стало найти и увидеть недавно еще нелюбимого мужа, вымолить себе прощение и сказать ему, что-то письмо, которое написал он перед роковым для него посещением Коноплянкина, как она чувствовала теперь, было правдой.

О Куделинском графиня и не думала, а если и вспоминала его, – то с чувством страха, отвращения и ненависти.

Неистовый звонок, возня в передней, громкий окрик Куделинского на Настю заставили молодую женщину вздрогнуть. Она приподнялась на постели и с ужасом ожидала момента встречи.

– Софья! – ураганом ворвался Куделинский. – Он правду говорит?

– Марич? – затрепетала графиня, увидав, как Станислав энергично потрянул Владимира Васильевича. – О чем?

– Что Нейгоф жив?

– Да.

– А ты... ты что?

Недаром Куделинский называл Софью решительной, энергичной натурой.

– Я?! – воскликнула молодая женщина, охваченная внезапным порывом ненависти к этому красавцу, которого она еще недавно ласкала. – Я? Что ты спрашиваешь? – Она уже сидела в постели, глядя на Куделинского сверкавшими ненавистью и гневом глазами. – Я? – повторила она. – Ты хочешь знать, как я отношусь к этому? Так вот тебе: я жду Михаила... я страдаю оттого, что болезнь мешает мне найти его... Слышал? Понял? Я люблю его...

– А? Что я говорил? – вывернулся из рук Куделинского Марич.

– Тебя же я никогда не любила, – продолжала Софья, – слышишь ты: никогда! Вся эта наша любовь – скверный сон. Теперь я проснулась и поняла, что я тебя прежде презирала, а теперь ненавижу... Слышишь ты: не-на-ви-жу!

– Что, брат, ожегся? – тронул за плечо Станислава Марич. – Пойдем-ка отсюда подобру-поздорову.

В-то же мгновение Марич отлетел прочь: Куделинский отшвырнул его так, что тот едва едва удержался на ногах.

– Дальше что? – неестественно спокойным голосом спросил Софью Станислав.

– Дальше? Тебе мало того, что ты слышал? Так вот тебе дальше. Ты – скверный, черствый, полный презренного самомнения эгоист!.. Ты вздумал обратить меня в орудие своих хищнических замыслов, толкнул меня на роковой путь преступления, заставлял меня лгать и сам лгал мне каждое мгновение, говоря, что любишь меня... Любишь! Ха-ха-ха! – горько рассмеялась Софья. – А сам ради подлой наживы отдал меня другому... Нет, я все поняла, хоть и поздно, а поняла. Спасибо Маричу: он мне глаза на тебя открыл...

Софья задыхалась от волнения.

– Батюшки мои, что тут теперь будет, – прошептала подслушивавшая у дверей Настя. – Пойти Афоньке сказать, чтобы не уходил никуда...

Подведенный итог

Настя не застала Дмитриева в своей комнате. Он при первом же появлении Куделинского убежал за Кобылкиным, сообщившим ему, где его можно найти в случае необходимости.

– Ахти, беда! – растерялась Настя. – И Дашка, как на грех, со двора ушла. Одна я, совсем одна!.. Дворников разве позвать? Да нет, не смею... Пойти стать за дверью. Может, понадоблюсь.

Когда Настя вернулась на свой наблюдательный пост, говорила опять графиня.

Настя заглянула в замочную скважину и несколько успокоилась. Софья сидела на кровати; против нее, шагах в двух, стоял мертвенно-бледный Куделинский; в некотором отдалении, скрестив на груди руки и пристально следя за каждым движением Станислава, стоял Марич.

– Да, ты отдал меня другому, – говорила молодая женщина, – и этот другой своей нежно-

стью, своей бескорыстной любовью разбудил мое сердце. Я любила его уже тогда, когда под твоим влиянием мне казалось, что я его презираю. Я для него была жизнью, а для тебя – жалкой игрушкой... Что ты на меня так смотришь? Я тебя не боюсь. Что ты мне можешь сделать? Убить меня? Не посмеешь: ты убиваешь только из-за угла...

– Софья, – глухо произнес Куделинский, – я тебя слушал долго...

– И можешь теперь убираться вон.

– Что? – прохрипел Станислав.

– Вон, говорю, убирайся, и чтобы я больше тебя не видела!

– Ого, как энергично! – засмеялся Марич. – Молодец, барыня! Так-то хоть и нашему брату в пору.

Его никто не слушал.

– Ты забыла, кажется, – стараясь быть спокойным, проговорил Куделинский, – что я и ты неразрывно связаны кровью Козодоева. Ты меня гонишь – я уйду, но мы встретимся и сядем бок о бок на скамью подсудимых.

– Старая штука! – презрительно рассмеялась графиня, в которой при овладевшем ею

возбуждении проснулось дитя столичных улиц. – Да ты скажи, что тебе от меня нужно?

– Я люблю тебя. Может быть, ты и права, говоря, что я хотел сделать тебя только своим орудием. Но это было прежде, это было давно... Вернее всего, что тогда я сам не знал, какое у меня к тебе чувство. Но теперь я знаю... я знаю, что люблю тебя... Софья, Соня, милая, я – сильный человек – гляди! – Куделинский упал на колени и пополз к кровати. – Я сложился перед тобой, я – твой раб.

«Вспомнил, что я ему говорил, будто сильные натуры любят, когда им подчиняются, – подумал Марич. – Интересно, поймает он на эту удочку бабенку, или нет?»

– Я – раб твой, – выкрикнул Куделинский, – ничтожный, презренный раб! Приказывай, повелевай!.. Все исполню, все будет, как ты скажешь... Я буду молиться на тебя... Я люблю, люблю тебя, Софья, не гони же меня...

Станислав не замечал, что по его щекам текли слезы. Он жадным взором смотрел на молодую женщину, гадливо отстранявшуюся от него.

«Однако или он искренен, – подумал Вла-

димир Васильевич, – или это великий актер... Посмотрим, что барынька скажет».

– Софья! – голосом, полным отчаяния, выкрикнул Куделинский. – Твое спасение в моих руках. Одно твое слово – и я сейчас, прямо от тебя, пойду и всю вину, всю муку приму на себя...

– Да ведь ты уже решил это сделать, – перебила его Софья, – или та сцена, которой ты, было, поразил меня, была особого рода драматическим представлением?

– Нет, Соня, я был и тогда искренен, и теперь я искренен.

– Тогда искренен, теперь искренен, – засмеялась графиня, – когда же ты не лгал?

– Молодец! – одобрил ее Марич. – Ловко поддела...

– И тогда, и теперь, Соня! Но после того как я сказал тебе тогда, мне стало жаль себя... Ведь каторга так ужасна!

– Ну, тебе там не бывать, – буркнул Владимир Васильевич и, сунув руку под сюртук, опять что-то ощупал там.

– Каторга ужасна, ужаснее смерти! – продолжал Куделинский. – Я стал думать, нельзя

ли как-нибудь устроить все это по-другому...

– Ага! Что я вам, барыня, говорил? – на этот раз уже громко сказал Марич. – Моя правда.

– Молчать! – загремел на него Станислав, вскакивая с колен. – Убью!

– Попробуй, – насмешливо кинул ему Владимир Васильевич.

Куделинский рванулся было к нему, но сейчас же снова кинулся к Софье.

– Соня, неужели ты оттолкнешь меня? Ведь я не верю в эту твою любовь к Нейгофу... Да и жив ли он? Да и можно ли любить таких, как Нейгоф? Ты – стойкая, сильная, а он... Не верю, не хочу верить!.. Соня, слово, одно только слово! Умоляю...

Он протянул к ней руки.

– Подите прочь! – звенящим голосом бросила ему в лицо молодая женщина. – Я не верю вам! Мне противна вся эта разыгранная вами сейчас комедия. От вас ускользнули нейгофские миллионы, и вы унижаетесь передо мной, потому что только я одна могла бы вернуть их вам... Прочь от меня, жалкий, презренный человек!

– Ах, так! – кинулся к Софье Куделинский.

– Прочь! Марич, ко мне! – закричала графиня. – Помогите, помогите!

– Лишнее это, – схватил Станислава за руки Владимир Васильевич. – Вспомни, ведь это – женщина.

Из груди Куделинского вырвался яростный крик. Он схватил низкорослого Марича, приподнял его и ударил о пол. Но Марич, падая, увлек его за собой. Они схватились на полу у камина. Софья с ужасом глядела на борющихся.

– Помогите, помогите, люди добрые! – раздавался во дворе отчаянный вопль Насти. – Убивают, режут!..

Вдруг Куделинский вскрикнул.

– Ничего, пустая царапина, – сейчас же дико засмеялся он и, приподняв за волосы голову ослабевшего в борьбе Марича, изо всех сил ударил ее о выступ камина.

Рука несчастного разжалась, послышался звон, и на медный предкаминный лист скатился небольшой окровавленный кинжал.

Куделинский был уже на ногах.

– Нейгоф или я? – схватил он за руку потрясенную Софью.

– Прочь, подлый убийца! – крикнула та. – Помогите, помогите!

– Нейгоф или я? – в правой руке Станислава блеснул револьвер.

В квартиру с парадного хода уже ломились люди. Вопли Насти раздавались где-то совсем далеко.

– Нейгоф или я? – повторил обезумевший Куделинский.

– Будь ты проклят! – крикнула Софья.

Раздался резкий звук выстрела, за ним еще, а вслед за этим послышался отчаянный вопль; облако порохового дыма окутало жертву Куделинского и его самого.

– Где? Кто? – прозвучало в этот момент несколько голосов вломившихся в квартиру дворников и швейцаров.

– Вот, вот он, окаянный! – указала Настя, и сильные руки схватили убийцу.

Станислав не сопротивлялся.

– Бей его, проклятого! – крикнул кто-то из дворников.

В воздухе мелькнули кулаки.

– Стой, как вы смее! – раздался властный, строгий голос. – Не смей! Прочь все!

Это вбежал в квартиру графини Кобылкин в сопровождении Афоньки.

Дворники, и раньше слышавшие от Дмитриева, что этот их жилец – человек не простой, смутились и отступили.

– Что же? Мы со всем нашим удовольствием, – послышался смущенный говор, – мы всегда стараемся...

– Да он, убивец-то, – крикнул тот, который крепко держал Куделинского за руки, – на ногах не стоит... Ишь, валится...

– Бегите в участок! Докторов скорее, в соседнем доме есть, – распорядился Мефодий Кириллович и только тогда склонился над уже лежавшим на полу Куделинским.

Глаза Станислава были широко раскрыты, но неподвижны. В них отражалось скорее изумление, чем испуг. Губы были сжаты, ни одного звука не вырывалось изо рта. Сюртук на Куделинском был смочен кровью, а когда Мефодий Кириллович отвернул его воротник, – то увидел на левом плече ранку. Он еще раз потрогал Куделинского, пощупал пульс и поднялся, качая головой.

– Ничего не понимаю, – прошептал он.

До слуха Кобылкина донесся слабый стон. Он повернулся и увидел на постели залитую кровью Софью.

– Доктор, вот доктор! – раздались голоса, и набившаяся в квартиру толпа расступилась, пропуская приведенного дворником врача.

– Крови-то! Тел-то сколько! – остановился тот в изумлении.

– Скорее, доктор, – заторопил его Кобылкин, – тут раненая женщина...

– Перевязку бы да в больницу, – склонился над графией врач. – Пошлите в аптеку, нужно остановить кровь. Да еще бы когонибудь, не могу же я один.

– Послано уже. А вот и полиция.

– Что здесь такое? – тревожно спросил вбежавший полицейский. – А, Мефодий Кириллович! Давно вас не было видно, – сразу же узнал он Кобылкина. – Вы здесь, – значит, все благополучно. Что такое?

– Драма-с, милый вы мой, драма с, поставленная на сей сцене великим драматургом – судьбой.

– Какая тут драма? – возразил полицейский. – Тут целое кровопролитие.

– Финальное-с, драгоценнейший, как и всегда в такого рода пьесах бывает...

– Эй, кто видел, не уходи! – крикнул пристав. – Поставить городских, лишний народ вон... из-за чего? – обратился он к Кобылкину.

Тот пристально посмотрел на него и отчетливо произнес:

– Любовь и ревность.

Суматоха увеличивалась, хотя квартира графини была очищена от лишнего народа. Около жертв уже хлопотали несколько докторов.

– Что, милейший эскулап, – подошел Мефодий Кириллович к знакомому полицейскому врачу, – есть ли живые?

– Тот, – указал врач на Марича, – кончается. Еще бы, пробит висок... страшный удар!

– А этот? – кивнул Кобылкин в сторону Куделинского.

– Этот? – поглядел на него врач. – Этот мертв. Рана пустяшная, царапина, а все-таки мертв... Посторонитесь-ка, – взял он за плечо Кобылкина, – пропустите...

Мимо них пронесли на носилках стонавшую Софью.

– А эта? – тихо спросил Мефодий Кириллович.

– Тоже опасна, – последовал ответ, – но надежда есть... Раны в голову и в грудь, однако сердце, кажется, не тронуту... Какая красавица!.. И не жаль было кому-то из этих несчастных убить такую прелесть.

Кобылкин ничего не ответил. В квартире появились прокурор и следователь; началось предварительное следствие, во время которого несчастный Марич умер.

– Да, – прошептал Мефодий Кириллович, взглядывая на трупы, – итог подведен, только, кажется, не такой, какого ожидали эти несчастные.

XLIII

Вместо эпилога

Время летит вперед незаметно; промелькнула, как сон, весна, пронеслась и карикатура южных зим – чахлое петербургское лето.

В один из августовских дней на скамеечке Летнего сада сидел с блаженным выражением на лице Мефодий Кириллович Кобылкин. Рядом с ним восседал одетый по-барски, – то есть в шляпе-котелке, светлом пальто и брюках навывпуск, Афоня Дмитриев. Перед ними на площадке, у памятника дедушке Крылову резвилась, кричала, шумела детвора.

– Вот, Афонюшка, – сказал Мефодий Кириллович, – взгляни ты, друг милый, на них, на малых. Расшумелись-то как детишки, разрезвились! Ружицы все веселые, довольные, глазенки блещут, как уголечки, глядишь на них – не нарадуешься... А ты подумай, что было бы, если бы дано было нам, людям, предвидение? Ведь жизнь противна была бы, жить не стоило бы, если бы можно было в будущее заглянуть да увидеть, что, быть может, вот из

этого краснощекого пузана отчаянный вор выйдет, а из этого, с мечтательной рожицей, – зверь-убийца, а этот третий, что такой серьезный да важный, наглейшим мошенником будет... Эх, дети, дети! На радость вы родителям, на утешение даетесь, а много ли вас на родительскую радость-то выходит? Если бы подсчитать, так половина на половину не пришлось бы...

– Вот в том-то дело и состоит, – авторитетно заметил Афанасий, – что «если бы да кабы»... Недаром, поди, эти слова человечеству сказаны. Истина-с.

– Верно, друг мой милый, – добродушно рассмеялся старик, поглядывая на самодовольно улыбавшегося парня, – верно твое слово – истина!

– А вы извольте обратить внимание, – произнес Афанасий, – кажется, знакомый вам господин идут, смотрят на вас и издали улыбаются.

– Ба-ба-ба, – даже встал со скамейки Кобылкин, – «дикий доктор»!

– Уж и «дикий», – рассмеялся тот, подходя к старику. – Где вы пропадали?

– Да я к себе на родину, в Могилевскую губернию, ездил.

– То-то мы так давно не видели нашего неумомимого Шерлока Холмса. Хорошо съездили?

– Превосходно-с!

– По делам ездили или так, прокатиться?

– И так, и этак, и не так, и не этак... Выберите, что хотите.

– Вас не поймешь.

– Подумайте, вот и поймете. Афонюшка! Благорастворение воздухов-то какое! Солнышко светит, птички поют, пароходики на Неве посвистывают.

– Прекраснейшая во всех смыслах природа, – глубокомысленно ответил Дмитриев.

– А ты сидишь на одном месте... Нет бы ходить, бегать, прыгать...

– А и взаправду, Мефодий Кириллович, – парень сообразил, что Кобылкину хочется побыть с доктором наедине, – пойду для моциона променад сделать. Вы здесь будете?

– Здесь, здесь... Промнешься и приходи за мной.

– Это кто же? – заинтересовался Анфим

Гаврилович.

– А это, так сказать, – правая моя рука... Умница парень, сметлив, шельма, и расторопен... Я его к своему делу приучаю, думаю, толк будет.

– Из такого-то?

– А чем плох?.. Это теперь возгордился, после того как я стал его своим помощником величать... Иностранные слова вызубрил, истины изрекает, а так парень – золото... цены нет. Ведь мы с ним нейгофское дело по косточкам разобрали.

– Да, – вспомнил Барановский, – что с этим живым покойником?

– А вы разве не знаете?

– Откуда же мне знать? Ведь в тот день, как я вам его показал, к вечеру его у меня уже не было. Ушел, потом непонятную записку прислал и как в воду канул... Ну-ка, поведайте дела минувших дней.

– Очень хочется? – лукаво спросил старик.

– Еще бы! Верно, все над судьбой вашего графчика старались... все по-хорошему устраивали?

– А вы-то разве не интересуетесь?

– Как же мне его судьбой не интересовать-ся? Принял я, так сказать, этого Нейгофа из объятий могилы... Потом историю слышал, глухо, правда, но все-таки слышал: в жену его кто-то стрелял...

Кобылкин вздохнул и поглядел вверх, на безоблачное голубое небо.

– Я никаких подробностей не знаю, – продолжал Барановский, – и в газетах было мало об этом написано.

– А разве Нейгоф сам ничего не говорил вам?

– Говорил... в общих чертах об этом козодоевском деле. А больше что же? Я на вечернюю визитацию ушел, вернулся – его у меня уже не было.

Мефодий Кириллович вздохнул.

– Пожалуй, вам-то пару слов сказать можно, – произнес он, – только между нами: никому ни гугу... Не будете скромны, я от всего откажусь и вас же самих вам же в глаза высмею.

– Ого! – улыбнулся Барановский. – Значит, тайна?

– Да еще какая тайна-то! – словно обрадо-

вался Кобылкин. – Двуногая!

– Какая какая?

– Двуногая, эскулапище! Сиречь граф Михаил Андреевич Нейгоф.

– Вот-вот – про него-то!

– А что же мне про него? Был Нейгоф, да весь вышел, помер и похоронен.

– Да вы что, смеетесь?

– Нет, зачем же? А я думал, что вы сообразительнее... Говорю вам: граф Нейгоф помер. Где это видано, чтобы мертвых с погоста носили?

– Да ведь он же выбрался.

– Фу ты, непонятливый какой! Так что же с ним делать-то, с выбравшимся? Подумайте, какая катавасия пошла бы, если этого несчастного опять в список живых внести. Да еще и удалось ли бы это – бабушка надвое сказала. Ведь свидетелей, которые подтвердили бы, что это граф Михаил Андреевич Нейгоф, нет. Таких же, которые под клятвой скажут, что это – босяк Минька Гусар, без числа. Каково положение, а? Я тут участие принял, к московскому родственнику, благо он к нам на берега прибыл, заявился. Умнеющая, надо

сказать, особа! Я его сиятельству детально все обстоятельства дела доложил и покорнейше просил войти в положение своего несчастного родственника. Граф Федор Петрович сперва не хотел мне верить, тогда я привез к нему племянничка. Конечно, сейчас же признали, обняли его, облобызали и воскликнули: «О, как ты несчастен, последний в роду Нейгофов!» Тогда я взял на себя смелость доложить его сиятельству – уж в какую тут я опасную игру сыграл, – что Михайло-то Андреевич, быть может, и не последний Нейгоф, ибо после него осталась вдова, с коей он в законном супружестве в течение полутора месяцев состоял... Смекаете, эскулапище, куда я гнул тогда? – подтолкнул Барановского Кобылкин. – Да и не в том одном моя смелость была.

– Говорил мне что-то Нейгоф об этой женщине, – заметил доктор, – плакал, уверял, что, несмотря ни на что, любит ее.

– Погодите, погодите, – перебил его Мефодий Кириллович, – о жене речь потом будет. Дайте с одним кончить. На чем, бишь, я остановился? Да! Его сиятельство, вот как и вы теперь, мысль мою уразумели и изволили спро-

сильно о супруге племянника. А тут вот какой казус вышел. Вам рассказывал Михайла Андреевич, как эту самую Софью Шульц, теперешнюю графиню Нейгоф, трое дошлых господ к кровавому козодоевскому делу пришили?

– Рассказывал.

– Так вот один из этих господ, может, и фамилию слышали, – Куделинский, всем этим делам зачинщик и хороводчик, узнав, что супруг графини жив, преисполнился яркой ревности и в отвергшую его графиню Софью Карловну выстрелил, а перед этим он успел проломить висок своему соучастнику, коллеге вашему – доктору Маричу, состоявшему в этой шайке и кинувшемуся на защиту жертвы. Но Марич, когда они барахтались, ткнул его ножичком, а ножичек-то был обмазан каким-то снадобьем, и которое вошло в кровь...

– Узнаю, что это такое; смертельный яд... кураре, – перебил Барановский, – действует на окончание нервов поперечно полосатой мускулатуры, – то есть произвольных мышц... три, четыре, много – пять минут, и паралич, и смерть...

– Должно быть... К несчастью, этот Марич минут на десять опоздал... Поторопись он – меньше было бы беды... Куделинский успел дважды выстрелить в графиню.

– Раны тяжелые?

– Тяжелые, но не смертельные, хотя одна для всякой молодой красивой женщины очень неприятная: глаз попорчен и лицо обезображено... Прежней красоты и в помине нет... Всю эту историю я откровенно рассказал графу Федору Петровичу. Они рассердились изволили, закипятились, запетушились, страсть что такое. А с Михаилом-то Андреевичем что тут сделалось! Заплакал, застонал: «Дайте мне ее, – кричит, – дайте! Люблю я ее, жить без нее не могу», – волосы на себе рвет. Старый граф сейчас племянника успокаивать: «Люби ее, несчастный, – кричит и сам плачет, – все тебе могу устроить!» Насилу успокоили они племянника, бежать хотел тот к супруге – нет, не пустили... Все обещали уладить. Потом граф меня позвал, и долгий-предолгий разговор имели. Решили так: ожидается дитя, и дитя наизаконнейшее, так, стало быть, Михаилу Андреевичу в графском виде

можно и не существовать. Граф решил поселить племянника и его супругу у себя в самом большом поместье, графиня как бы хозяйка, а он – ну, вроде управителя и под другим именем. И это граф Федор Петрович взялись все обделать. Вот, восхитительный мой, как случилось, что граф Михаил Андреевич Нейгоф помер, и на свете его нет, а есть вместо него Михаил Андреевич фон Штраль, немецкий барон. Граф же Федор Петрович – добрая душа! – все так обставили, что графиня в чистоте осталась. Да и за что было обвинять ее? Подлинные виновники в козодоевском деле сами с собой расправились, а она ни при чем была.

– Так как же дело-то кончилось? – спросил Барановский.

– Что же дело? Дело кончилось само собой: свелось все на почву неразделенной любви, оскорбленного чувства, огнепылающей ревности; тут оно и потухло само собой... Пошли кое-какие смутные слухи, да граф Федор Петрович сумели пресечь их в самом корне... Что за человек, – в который раз восхитился Кобылкин, – пожалуй можно, что не удостои-

лись видеть: вельможа до мозга костей, родовитость в каждом словечке, в каждой жестике видна, мановением приказывает, улыбкой сердца покоряет.

Мефодий Кириллович умолк, потом вдруг добродушно рассмеялся.

– Чему это вы? – спросил Анфим Гаврилович.

– Да как же, помилуйте, смешно... Как сверзили меня тогда с поезда... Ах, да, вы ведь не знаете еще о моих приключениях! – и Кобылкин с юмором рассказал Барановскому о тех страшных минутах, когда его жизнь, успех его дела висели на волоске.

– Помилуйте, – возмутился Анфим Гаврилович, с интересом слушавший его рассказ, – что тут смешного?

– Да как же, – залился беззвучным смехом Мефодий Кириллович, – ведь этот несчастный Квель расшибся. Сперва меня, а потом и его дорожный сторож подобрал и укрыл, я-то благополучно отделался... только ушибся, а Квель нет: расшибся, бедняга, да только, на свое несчастье, не до моментальной смерти... Мучился и вот, умирая, узнал меня и как ни

слаб был, а все-таки успел сообщить обо всем козодоевском деле. Тут я, старый пес, узнал, что кое в чем ошибся. Я, видите ли, в квартире Козодоева, когда осматривал ее, нашел пепел от трубки, недокуренную сигару и сломанную папиросу. Один человек трояко не курит, стало быть, было трое чужих, так как – я расспросил прислугу – Козодоев оказался некурящим. Да к тому же я нашел обрывочек кружева с женского платья. Вот и создалось у меня мнение, что действовало четверо убийц. Я даже стихи по этому поводу сочинил. «Даль туманная видна, трое, трое и одна», – запел Кобылкин. – Вот мы как! На лире бряцаем, даже по поводу уголовных сюжетов. Да, о чем я хотел? Квель умер. Ну, там, конечно, объявили, что неизвестного звания человек, неизвестно с какого поезда и так далее, как в таких случаях полагается. А я-то этим и воспользовался. Росту я с Квелем одинакового: оба мы коротышки, загримировался я под него, бороду нацепил и ну вокруг да около того дома, где графиня жила, похаживать – впечатление хотел произвести. И добился своего: бедная Софьюшка как-то увидела меня в об-

разе Квеля, а затем, когда мы друзьями стали, рассказывала, что страху я и и какого наде- лал.

– И что же теперь с этими людьми? – спросил Анфим Гаврилович.

– С Софьей и Михаилом? Живут в имении графа, я туда и провожать их ездил, устраивал и любовался. Он ее до безумия любит, невзирая на-то, что она обезображена, ну и она тоже его обожает. Голубки... счастливы...

– Но положение теперешнего фон Штраля совершенно не легальное; ведь есть же люди, которые знают о спасении графа Нейгофа.

– А кто, позвольте спросить? – возразил Кобылкин. – Ежели я, так это – могила. Вы теперь знаете?.. Вам никто не поверит, если болтать начнете... Кто еще? Настя, графинина горничная, так она за моего Афонюшку замуж вышла, а он – парень высокой честности. Потом кто? Есть некий Коноплянкин, хозяин чайной; тот не пикнет, ибо я такое на него рыбе слово знаю, чтобы молчал, а я умру – Афонюшка будет его в руках держать... Золоторотцы есть: Козелок, Метла да Зуй, так они вряд ли что соображают. Кстати, Михаил Ан-

дреевич через меня все деньги им отдал, которые с ним в гробу были... Вот пьянствовали-то, доложу вам!.. Коноплянкин тут нажил... – Кобылкин умолк, потом кротко улыбнулся и сказал: – Голубки, Софья-то с Михаилом, не надышатся друг на друга, – и, склонившись к Барановскому, с таинственно плутоватым видом добавил: – И счастье их благословило: со дня на день дитя ждут!..

Дочь Рагуила

I

Долгожданная свадьба

Окна парадного зала кухмистерской, излюбленной богатым петербургским купечеством, были ярко освещены. С улицы через них были ясно видны фигуры разряженных гостей. К подъезду-то и дело подкатывали и собственные экипажи, и лихачи извозчики. Грузный швейцар, стоявший у подъезда, потный от суеты, едва успевал распахивать двери новым гостям.

Было уже близко к вечеру. Начинало темнеть, сероватая мгла окутывала столпившихся у подъезда кухмистерской людей.

В кухмистерской должны были происходить свадебный обед, а затем вечер, которыми начинали свою брачную жизнь только что обвенчавшиеся Вера Петровна и Евгений Степанович Гардины. Именно их прибытия ожидала с большим нетерпением толпа лю-

бопытных.

Из церкви после венчания молодые отправились к родителям Веры Петровны, чтобы принять благословение, и с минуты на минуту должны были приехать к собравшимся на их торжество гостям.

Свадьбы всегда возбуждают любопытство. Даже совершенно незнакомые молодым люди обыкновенно останавливаются и с нетерпением ожидают, когда, наконец, появится обвенчавшаяся парочка. Да это и понятно. Редко кто из молодых не бывает счастлив во время свадьбы. Это счастье отражается на их лицах и невольно передается всем, кто видит молодую пару, делая их и себя радостными и просветленными.

Однако в этот раз было что-то другое, мало походившее на обычное настроение. В толпе любопытных у подъезда чувствовалось мрачное напряжение. Говорили тихо, никто не смеялся, оживленных лиц не было.

– Долгонько не едут! – сказала какая-то топтавшаяся уже больше часа у подъезда чиновница своей соседке.

– Давно пора бы! – ответила та. – Порядоч-

но у родителей задержались.

– Уж не случилось ли опять чего?

– А что? Ведь все может быть!

– Нет. Ежели что вышло бы, слух пошел бы.

– Венчанье-то благополучно прошло. Была я в церкви-то. Свадьба, можно сказать, во всех отношениях замечательная.

– Чего замечательнее! Столько раз девушка к венцу собиралась, а все выйти замуж не могла. Это который жених-то? Я уж и со счета сбилась.

– Шестой, говорят.

– Ну вот. Пять раз у Веры Петровны свадьба расходилась.

– Зато теперь уже крепко окрутились. Теперь никак не раскрутишься, честной венец принявши... Это кто такой?

К кухмистерской лихо подскакал дорогой рысак, запряженный в дрожки. С них соскочил и быстро прошел в подъезд пожилой брюнет с красивым, но неприятным лицом. Новый гость был высок и плотен, бобровая шинель ловко сидела на его широких плечах. Он сбросил ее на руки кинувшегося ему на-

встречу швейцару и остался в прекрасно сидевшем фраке.

Толпа всегда хорошо осведомлена обо всем, что касается предмета ее любопытства. Едва только чиновница у подъезда поинтересовалась, кто этот брюнет, как сейчас же узнала, что это – Иван Афанасьевич Юрьевский, богатый коммерсант из новых, что он приходится близким родственником семейству новобрачной, но никем из своей среды не любим именно за те новшества, которые он ввел в свое торговое дело.

– Барин он, а не купец! – толковали в толпе. – За границей бывал, всякого там духа чужого нахватался и у себя заграничные порядки завел, вот его и не любят. Не по стаду баран выходит.

– Женатый или холостой? – слышался вопрос.

– Холостой! Сколько невест было, от всех нос воротит. Станный он какой-то, угрюмый. Ни чтобы он побесился, как наши купцы бешутся, ни чтобы он побывал где. Только у родителей Веры, вот теперешней молодухи-то, и бывал.

– Вот оно что! А не присватывался?
– Нет, нельзя – родство не допускает.
– Близкие, кровные, стало быть?
– Выходит, что так. Веру-то Петровну он в пеленках знал. А то пара ничего была бы. К капиталу капитал. Чего другого, а этого добра не занимать.

Влияние капитала сказалось, как только Юрьевский вошел в зал кухмистерской, где уже собрались почти все приглашенные на свадьбу. На улице утверждали, что его никто не любит, здесь же встречали заискивающими улыбками, поклонами, рукопожатиями. Юрьевский на все это отвечал совершенно равнодушно, словно стараясь отделаться от всех знаков внимания. Поздоровавшись с одним за руку, с другими только кивком головы, он сейчас же отошел к окну и уставился в него бессмысленно-диким взглядом.

Появление этого человека словно парализовало собравшихся. Сами собою стихли шум, говор и смех. А между тем Юрьевский не делал и не говорил ничего такого, что могло бы вызвать подобную обстановку. Он, не глядя ни на кого в зале, стоял у окна и смотрел на

освещенную электрическими фонарями улицу.

Несколько минут прошло, прежде чем рассеялось непонятно-тревожное настроение. Гости разбились на группы, и среди них пошел разговор на самую интересную для всех тему: о только что обвенчавшихся молодых.

– Храбрый Евгений-то! – сказал пожилой осанистый купец. – Право, храбрый. Другой на его месте за семь верст такую невесту обегал бы.

– И впрямь есть чего испугаться. Подумать только – пять раз свадьба расходилась!

– Да ведь как расходилась-то? Середин – третий жених – без вести пропал, Марков – пятый – под поезд свалился, Антонов – четвертый – под канун свадьбы зарезался, а первые двое в Сибири.

– Н-да! Судьба.

– Именно судьба. Что же иное? Каково Вере-то бедной, а? Пять женихов и ни одного мужа!

– Зато теперь крепко. Исайя возликовал, и конец всему делу. Окрутилась Вера.

– Что же из этого? – то девушкой остава-

лась, а теперь вдовой останется. Сказано: судьба.

Разговор прервался. Высказанное предположение о том, что и на этот раз нельзя утверждать, что все кончится благополучно, привело разговаривавших в смущение.

– Вдовой может остаться! – пронеслось шепотом по залу.

И все невольно почувствовали беспокойство.

– Не едут! Так долго! Уж не случилось ли чего-либо? – говорили гости. – Неужели опять что-нибудь?

Иван Афанасьевич стоял по-прежнему у окна, не спуская глаз с улицы. До его слуха доносились все эти толки и опасения, но он оставался бесстрастно-холоден. Только раз, когда перечисляли прежних женихов новообрачной, на губах Юрьевского зазмеилась злая улыбка, исказившая его красивое лицо.

Вдруг он вздрогнул. С улицы, несмотря на зимние рамы, донесся стук каретных колес и рокот толпы, в то же мгновение по залу пронесся громкий говор:

– Приехали! Молодые приехали! Слава бо-

гу!

Вера Петровна вошла под руку со своим сияющим от счастья молодым супругом. За ними шли отец и мать молодой: Петр Матвеевич и Анна Михайловна Пастины – и другие близкие родственники новобрачной; у Евгения Степановича таковых не имелось – он был сирота. Оркестр при появлении счастливой молодой четы заиграл туш. Еще несколько мгновений, и к новобрачным потянулись десятки рук с бокалами шампанского. Отовсюду раздавались пожелания, самые светлые, самые хорошие, молодые смущенно улыбались, благодарили, и оба покраснелись, когда раздалось традиционное: «Горько, горько!» – и им пришлось поцеловаться.

Вера Петровна была молода – ей только что пошел девятнадцатый год. У нее было круглое лицо с приятными чертами, голубыми, как васильки, глазами и алыми губками. Золотистые, слегка подвитые у лба волосы непокорно выбивались из-под венчального убора. Смущение, вызванное новизною положения, разукрасило щеки молодой женщины ярким румянцем, и это вместе с молодостью

делало ее привлекательной.

Евгений Степанович, «молодой князь», был старше своей подруги жизни на два года, но молоджавость придавала ему вид даже не юноши, а мальчика. Так же смущенно, как и Вера Петровна, он отвечал на поздравления, не зная, куда девать глаза, что говорить. Когда крикнули «Горько!», юный супруг растерялся, позабыл, что ему нужно делать, и только тогда нагнулся с поцелуем к зардевшейся жене, когда разудалая сваха сама показала ему пример.

– Славная пара! – произнес один из гостей, любуясь молодыми. – Словно один для другого сотворены.

– В дом берут Евгения? – спросил сосед.

– В дом. Ведь он – круглый сирота.

– Так оно и лучше будет: ведь Вера одна у Петра Матвеевича и Анны Михайловны.

– Одна, да и сами они в преклонных годах.

– Так. Дай им Бог совет да любовь! Гардин тоже не бедняк.

– Какое бедняк! Отец-покойник оставил столько, что не прожить вовек, да и у Пастинных тоже немало. Молодые-то во всем ровня.

Судьба-то, видно, знает, что делает: пятерых убрала, а вот шестой подошел.

– Видно, и в самом деле, чему быть, того не миновать.

– Бог с ними. Только счастливы были бы. Глядите-ка, Юрьевский... Чего это он последним-то с поздравлением подходит? Ему первым быть.

Действительно, к молодой чете подходил Иван Афанасьевич. Он шел так легко, будто скользил по паркету. Это была обычная походка Юрьевского. Издали казалось, что он подкрадывается, как подкрадывается кошка или тигр к своим жертвам. Бокал в руке Ивана Афанасьевича слегка дрожал.

– Ну, Вера, – сказал он глухим голосом, – теперь и я.

Молодая, удивленно взглянув на него, сказала:

– Так поздно?.. Последним, крестный...

– Что ты, деточка, и последние могут быть первыми.

– Ты и в церкви не подошел ко мне.

– Там других было много около тебя. Зачем же?

– Перестань, крестный, ты опять злишься.

– Нет. На что же? Ведь все в порядке вещей, все как следует. Позвольте и с вами, – протянул он бокал Гардину, – вот так, пейте до дна.

– А вы, Иван Афанасьевич, даже и поздравить нас не хотите со вступлением в новую жизнь? – сказал тот, чокаясь с Юрьевским.

– Новая жизнь, новая! – и Юрьевский вдруг громко расхохотался. – Да что вы, юнейший! Новая! Где это вы нашли новое на свете? Да и есть ли оно, ваше новое? Все старо, юноша, все! Меняются только формы, а сущность остается старою. Ничто не вечно, но и не ново. Разве вы сегодня не такой же, как вчера? Скажите мне...

– Нет, не такой же, Иван Афанасьевич, – весело отозвался молодой, – сегодня и вчера далеко друг от друга, очень далеки.

– Вы думаете? Но, поверьте мне, завтра к сегодня чаще всего ближе, чем мы ожидаем.

– Что ты хочешь сказать этим, крестный? – встревожилась Вера Петровна.

– Только-то, что «вчера» – далекое известное, «сегодня» – близкое известное, а около

этого близкого, совсем вплотную, но не с ним, а с нами, совершенно неизвестное «завтра». Каждая неизвестность что-нибудь да таит. Все меняется, оставаясь в своей сущности прежним. Живой сегодня – завтра труп. Смерть около...

– Кто говорит на свадьбе о трупах, о смерти? – раздался около разговаривающих веселый молодой голос.

Юрьевский быстро обернулся. Перед ним стоял высокий молодой человек с симпатичной наружностью, выразившей энергию и силу воли. Это был один из шаферов Гардина – Николай Васильевич Твердов, богатый юноша, путешествующий по чужим краям и ненадолго вернувшийся на родину.

– Кто говорит о трупах, о смерти? – повторил он.

– Я! – холодно ответил Юрьевский.

– Гм... Вы, очевидно, мрачно настроены. Всякая свадьба – это праздник будущей жизни. Союз двух людей – это жизнь, жизнь будущая, светлая, радостная. Итак, да здравствует жизнь! Пойдем, и будем пить за нее. Руку, молодая княгиня! Руку, молодой князь! Идем

пить за жизнь, она так светла, так хороша, что мрак смерти не затмит ее сияния!

Твердов с этими словами подхватил под руки молодых супругов и, не обращая ни малейшего внимания на Юрьевского, повел их к столу.

Гнев исказил лицо Ивана Афанасьевича. Казалось, он готов был броситься на дерзкого смельчака, но как раз в это время подошел отец молодой.

– И охота тебе, батюшка Иван Афанасьевич, пугать ребят! – ласково сетуя, заговорил он. – Нашел время о смерти да о разных там трупах говорить... Пойдем-ка! Верушу только напугал. Сам знаешь, какая она несчастная. Три года, а пятеро, кто только присватывался к ней, вон как кончали... Поневоле напугается.

Юрьевский взглянул на Пастина.

– Да, ты прав, Петр Матвеевич, тысячу раз прав. Зачем говорить о том, что неизбежно, что стоит около нас? Пойдем, выпьем! Хочешь, я примирюсь с этим молокососом? Хочешь, я поклонюсь ему, хочешь, я буду просить у него прощения? Ха-ха-ха!.. Я буду про-

свить прощения!

– И не нужно ничего этого, роднуша, вовсе не нужно, – засуетился Пастин, – а пойти – пойдём. Ведь ты у нас известный... Ты не в нас, не в родню... Ишь, каким тебя заграницы-то сделали!

Но последние слова Петр Матвеевич выкрикивал уже вслед Юрьевскому. Тот своей скользкой, словно крадущейся походкой уже подходил к Гардину.

– Слово, молодой человек, одно слово, – глухо заговорил он. – Отойдём немного... возьмем бокал... Так, вот сюда... Я не хочу, чтобы вы думали обо мне дурно. Простите старика. Мне на своем веку приходилось видеть столько всяких неожиданностей, что я разочаровался в будущем и во всем неизвестном.

Говоря так, он отвлек Евгения Степановича от стола, за который уже начали усаживаться гости. Тот слушал его, смущенно улыбаясь.

– Да помилуйте, Иван Афанасьевич, – сказал он, инстинктивно потупляясь под диким взглядом Юрьевского, – за что же прощение?..

Какое там...

– Нет, я начал говорить и кончу. Поставьте свой бокал на этот стол, – указал Юрьевский на маленький столик в уголке зала. К нему он подвел Гардина и заставил поставить бокал рядом со своим. – Я сперва скажу, а потом мы выпьем с вами. Выпьем за все, что вы хотите. Пусть эти бокалы, – с этим словом Юрьевский протянул над бокалами обе руки, как бы указывая на них, – будут пусты, пусть исчезнет, как эта золотистая влага, все, что составляет горечь жизни. Этот выскочка говорил, что нужно пить за жизнь, пусть! А мы выпьем за см... просто выпьем. Жизнь хороша, очень хороша, но есть еще лучшее состояние для человека. Это – нирвана. Знаете ли вы, молодой человек, что такое нирвана? Нирвана – это восторг. Счастлив пребывающий в ней. Так выпьем же за ваше счастье...

– Евгений Степанович! Иди к столу, тебя ждут, – раздался оклик Пастина.

– Ну, скорее же, мой молодой друг! – подтолкнул Юрьевский Гардина. – Выпьем!

Он стоял, пронизывая взором молодого Гардина. Тот, дрожа, взял бокал.

– Желаю быть здоровым, Иван Афанасьевич! – проговорил он и отпил из бокала.

– Весь, весь до дна, по русскому обычаю, зла не оставлять, – дрожащим голосом говорил Юрьевский.

– Не могу... У шампанского какой-то горьковатый привкус, – проговорил Гардин.

– Терпите, зато вас скоро ждет дивная сладость, сладость ни с чем не сравнимая. Вспомните о нирване...

Опять раздалась оклики – молодого настойчиво звали к столу. Он поставил не допитый на четверть бокал и умоляюще взглянул на Юрьевского.

– Простите, Иван Афанасьевич, – сказал он, – меня зовут.

– Идите же, идите скорее!.. Спешите, каждый миг дорог... Ха-ха-ха! – чуть не выкрикнул Юрьевский.

Его лицо, до этого смертельно бледное, покрылось каплями холодного пота, он весь дрожал. Но такое состояние продолжалось всего несколько мгновений. Гардин отошел. Юрьевский поставил свой бокал рядом с его недопитым, вынул платок и отер пот. Потом

он взял со стола бокал и спокойно пошел с ним к столу. Ему, как наиболее почетному гостю, было отведено место напротив новобрачных, но Иван Афанасьевич сел так, что его заслонило какое-то декоративное растение, стоявшее на столе. Бокал, принесенный с собою, Юрьевский поставил в стороне на виду и все время следил, чтобы никто к нему не притронулся.

II

Ужасная развязка

Обед начался и пошел с большим оживлением. Гости с каждым бокалом вина становились все веселее. Всякая натянутость и сомнения исчезли. Молодая очень мило осваивалась со своими новыми обязанностями, сама накладывала на тарелку супругу кушанья, наливала в бокал шампанское. Она тоже оживилась и вся сияла радостью и счастьем. Забыты были недавние страхи. Свершилось, наконец, – то, что еще недавно было полно смертельного ужаса. И он, этот юноша, дрожавший под взглядом Юрьевского, тоже чув-

ствовал себя спокойным, радостным, и теперь мрачные пожелания Ивана Афанасьевича уже не пугали его.

«Угрюмый человек этот Юрьевский, – думал Гардин, – говорят, он немного того... свихнувшись... Что же, мы теперь – родственники. Будем с Верою беречь его. Он любит Веру... Мне все это говорят... Только что это мне так не по себе?.. Холодно что-то... Верно, в церкви на сквозняке продуло...»

Как всегда, в конце обеда начались тосты. Пили за молодых, за их счастье, кричали «горько», пили за родителей новобрачной, за гостей, присутствующих и отсутствующих, потом стали пить кто за кого хотел. Тосты и пожелания пошли без всякого порядка.

Вдруг поднялся Иван Афанасьевич, и разом все примолкли. Нелюдность и угрюмость этого человека были известны каждому; никогда никто не слышал, чтобы он помногу и подолгу говорил, и потому его речь была встречена гостями с изумлением.

Иван Афанасьевич говорил глухо, отрывисто, так что казалось, будто звуки вылетают из какой-то пропасти. Его лицо при этом бы-

ло безжизненно и своим выражением не дополняло того, что представляли слова. Юрьевский как будто говорил что-то давным-давно затверженное наизусть, что-то такое, чего он и сам не чувствовал, не сознавал.

– Говорят, тут вот против меня счастливицы, – отрывисто произносил Иван Афанасьевич. – Соглашаюсь, что, может быть, это и так. Я знал ее, – указал он на Веру Петровну, – с колыбели, поэтому могу говорить, имею право говорить. Я – старик, она – дитя. Ее жизнь вся прошла предо мною. Она счастлива. Гм!.. В чем счастье? Не в том ли, чтобы посидеть вот в этом даже не совсем красивом уборе на голове, с этими грубо подделанными под природу якобы цветами? Не в том ли, что кругом все кланяются, поздравляют, высказывают всякие там пожелания, исполнение которых прямо невозможно? Все это – дым, мираж и рассеется, как только наступит жалкая действительность. Счастье в том, чтобы принадлежать другому? Нет, это – не счастье, это – обман, скрывающий грубую действительность. Но что же тогда? Где же счастье? Да оно в вечных грезах, создающих человеку

царство, в котором он – всемогущий повелитель. Он, человек, один в этом своем царстве, населенном призраками-грезами, и горе тому, кто осмелится против воли властелина ворваться в его владения. Ему нет пощады! Лучше да погибнет разбивающий кумиры, чем падет кумир!

– Что он такое говорит? – тихо спросил у своего соседа Твердов, сидевший неподалеку от Юрьевского. – Ведь это бред какой-то!

– Что поделать, – так же тихо ответил тот. – Богатый родственник... Вера Петровна – единственная его наследница, все состояние он по духовной после себя ей оставляет, вот и слушают, вот вам и почтение... Как же иначе?

– Сумасшедший он, что ли? – переспросил Твердов, пожав плечами.

– Кто его знает? Говорят, есть малость. Заучился или переучился... что-то в этом роде... Но слушайте, слушайте...

– О, мое царство, царство, созданное мною! – восклицал Юрьевский. – Я ревниво оберегал тебя от любого вторжения. Мои кумиры должны быть целы. Пусть погибнут земля, солнце, звезды, все, но, пока суще-

ствую я, мое царство должно оставаться нерушимым. Я – его владыка, я – его единственный защитник, и горе тому, кто осмелится приблизиться к нему!

Он смолк, переводя дыхание.

– Что-то мудреное говоришь ты, Иван Афанасьевич, – робко произнес Петр Матвеевич, – совсем нашему разуму не под стать. Мы – люди серые, неученые, а ты в разных заграницах бывал, всякое видел, уж прости ты нас...

Эти слова как будто привели в себя Юрьевского.

– Да, да, ты прав, Петр, прав, – упавшим голосом произнес он, – я не-то, совсем не-то хотел сказать... Но что? Ах, да! Ну, нет, все равно, не нужно... Да! Твое счастье, Вера! Не такое, как ты думаешь, а такое, какое я в своем воображении создал для тебя. Твое счастье, голубка моя, нежная, любимая! Верь, я уже позаботился о том, чтобы ты была счастлива.

– Это он про духовную, – шепнул Твердову сосед.

Тот хотел что-то ответить, но в этот момент раздался звон разбитого стекла. Это Юрьевский схватил со стола недопитый бо-

кал и с силой бросил его на пол.

Эта выходка никого не привела в изумление.

– Молодец, Иван Афанасьевич! – слышались восклицания. – Говорил что-то несуразное, а закончил по-русски... На свадьбах всегда стекла бьют.

Юрьевский между тем вышел из-за стола и подошел к Вере.

– Прощай, ухожу! – проговорил он.

– Куда, крестный, зачем? Разве вы хотите обидеть меня?

– Я? Тебя, которой отдан каждый мой помысел? Нет, дитя, нет! Я не хочу мешать. Ты думаешь, что в эти минуты ты счастлива? Ну, хорошо, думай так! Ты думаешь, что ты ушла из моего царства, из того именно, где ты царишь полновластно, а я, его владыка, как жалкий раб, валяюсь у твоих ног? Но ты вернешься... знаю, вернешься. Ты придешь и займешь свой престол... Ты не можешь уйти, я не отпущу тебя.

– Право, крестный, я не знаю, про что вы? – теряясь и бледнея, проговорила Вера.

– Так, так... Прости больному, бедному,

одинокому старику... Прости, до свидания!..

Юрьевский говорил при полной тишине. Все были удивлены его бессвязным бредом, а потому вздохнули с облегчением, когда Юрьевский покинул зал.

– Ну уж! Всю душу вымотал! – обратился к Петру Матвеевичу его сосед. – О чем это он говорил-то? О каком-то царстве?

– Бог его знает, – махнул тот рукой, – всегда он вот в таком положении.

– Полечиться бы.

– Да как к нему подступиться-то?

– А что? Тебе, Петр Матвеевич, разве трудно? Вот уже сколько времени он только у тебя одного и бывает... Больше ведь никуда ни ногой.

– Верушу любит... Спасибо ему за это... А все-таки жалко человека... вздор мелет.

– Нет, простите меня, Петр Матвеевич, – вмешался прислушивавшийся к разговору Твердов, – ваш родственник – несомненный маньяк, но смысл в его словах есть.

– Какой уже там?.. Не-то бред, не-то дурачится.

– Не говорите! – с убеждением заметил

Твердов. – Я согласен, что это – бред, но бред, принявший вполне определенные формы. Ваш мрачный родственник живет во власти одной идеи, всецело под влиянием своей мечты о каком-то одному ему видимом царстве. Я видал таких людей. Одни из них безобидны, другие прямо опасны.

– Ну, про Ивана Афанасьевича сказать нечего – добр и ласков. Верушу-то он как любит!

– Еще бы! Ведь она – царица его царства.

К Твердову подошел Гардин и взял его под руку.

– Что с тобой? – взглянул на него Николай Васильевич. – Ты сам не свой, бледный как полотно.

– Не знаю, Коля, что-то не по себе.

– Вероятно, здесь есть какая-нибудь комната. Пошел бы прилег, отдохнул...

– Нет, не нужно, еще напугаешь... Не надо, Коля... Как-нибудь... пройдет... На сквозняк попал, вот и все. Пройдемся-ка лучше... Скоро танцы...

Они пошли.

– Фу, какой мрачный человек этот Юрьев-

ский, – как будто через силу проговорил Гардин. – Перед обедом он отвел меня и говорил о том, что меня ждет нирвана. Что это такое? Я не понимаю этого слова, но он говорил так, что я невольно перепугался... Давеча он о трупе говорил, а теперь о какой-то нирване. Потом за обедом грозил кому-то и на меня все так страшно смотрел... Фу, пойдём скорее к Вере, музыканты начинают... Пойдём скорее!

Они поспешно пошли через зал к молодой, сидевшей со своими подругами. В тот самый момент, когда оркестр сыграл ритуурнель к кадрили, Гардин, бывший на середине зала, вдруг пошатнулся. Твердов удержал его от падения, приняв на руки, но, взглянув ему в лицо, вскрикнул:

– Помогите, он умирает!

В этом крике, раздавшемся среди всеобщего веселья, было столько ужаса, что сразу же все словно онемели, и только находившийся на хорах оркестр продолжал веселый мотив.

А Николай Васильевич медленно опускал на паркет трепетавшее в предсмертных судорогах тело Гардина. В том, что он умирает, не могло быть сомнения: его лицо потемнело от

прилива крови, грудь высоко вздымалась, словно ему не хватало воздуха, рот был широко открыт.

Прошло несколько мгновений, и вслед за тем по залу пролетел новый вопль, пронзительно-ужасный, в звуках которого выливалась тяжелая душевная мука. Это вскрикнула понявшая, наконец, в чем дело, Вера Петровна. С протянутыми руками, с широко раскрытыми от ужаса глазами она кинулась к тому, кто только что был ее супругом, хотя пока только по имени. При ее вопле смолк, наконец, оркестр, и в зале несколько мгновений стояла мертвая тишина.

Вера Петровна застыла около лежащего на паркете мужа, голову которого поддерживал Твердов, и обезумевшим взглядом смотрела на него, словно не понимая, что происходит. Гардин был еще жив; пальцы его рук судорожно шевелились, царапая паркет. Ужас, овладевший всеми, был так велик, что забыли даже позвать доктора и опомнились только тогда, когда он сам явился, добытый откуда-то прислугою кухмистерской. С его появлением все как будто оживились. Явилась на-

дежда, что, может быть, несчастного удастся спасти.

Евгения Степановича, все еще живого, подняли и перенесли на диван в соседний с залом маленький кабинет. Кто-то взял под руку Веру Петровну и осторожно повел ее туда же. Бедняжка пошла, но, видимо, не соображала даже, куда и зачем ее ведут.

Только когда она скрылась за портьерой, отделявшей кабинет от зала, все оставшиеся в последнем оживились, заволновались, заговорили. Оказалось, что многие ожидали, что молодому Гардину не избежать участи своих предшественников.

В зале оставались только посторонние. Старики Пастины, несчастная новобрачная, ближайшие родственники, доктор и еще кое-кто из более близких людей были около умирающего. Из кабинета не доносилось никаких звуков; там было все тихо, как будто не в этой тесной комнате разыгрывался последний акт ужасной, загадочной драмы.

Твердов, помогавший нести Евгения Степановича, как только уложил его, сейчас же вышел и теперь в зале дожидался, чем завер-

шится вся эта катастрофа.

Когда он вышел из-за портьеры, его сейчас же окружили любопытные, заметившие, что только он был с Гардиным, когда с ним неожиданно началась предсмертная агония. Благодаря этому Николай Васильевич стал предметом всеобщего любопытства, с ним заговаривали, его спрашивали. Молодой человек был так потрясен, что даже не замечал своего исключительного положения в больше любопытствующей, чем угнетенной внезапной катастрофой толпе.

– Да что же это такое? – восклицал он. – Скажите, господа! Я здесь почти новый человек. Я слышал, что это не первый жених Веры Петровны, трагически кончающий жизнь.

– Какой же первый! – хихикнул кто-то. – Шестой уже!

– Шестой? Что же это? Уж не дочь ли ветхозаветного Рагуила – Вера Петровна? С той что-то подобное случилось, но ведь тогда все это возможно было.

– А вот видите, и теперь-то же случается. Но позвольте, пожалуйста, вы были как раз около Евгения Степановича, когда с ним при-

ключилось это. Что же? Говорил он что-нибудь?

Толпа гостей теснее окружила Николая Васильевича в ожидании самых интересных подробностей. Твердов огляделся, и почему-то ему в глаза бросился один из наиболее любопытствующих. Это был среднего роста полный господин, с гладко выбритым лицом, до того подвижным, что выражение его ежесекундно менялось, так что казалось, что этот человек постоянно гримасничает. Однако в его пронизательных глазах светились острый ум и хитрость, да и сама внешность, несмотря на необыкновенную подвижность физиономии, отражала несокрушимую энергию и волю. Он молча пристально смотрел на Твердова, казалось, вникая не только в то, что он говорил, но даже в малейшие оттенки его голоса.

– Так что же заметили вы, добрейший? – раздался снова настойчивый возглас.

– Что я заметил? Да ничего особенного! – с раздражением ответил Твердов. – Ну, понятно, человек был взволнован. Дело обычное. Потом этот мрачный Юрьевский со своей

нирваной расстроил его. Женя увидал в его словах какие-то угрозы.

– С какой нирваной? – быстро спросил Твердова бритый господин. – Господин Юрьевский произнес странный тост, но он говорил более о себе... я не слышал ничего о нирване.

– Ах, да... ведь это не за столом было, – вспомнил Николай Васильевич и хотел рассказать о своем последнем разговоре с Гардиным, но как раз в это время из-за портьеры вышел полицейский офицер и, обращаясь ко всем, громко сказал:

– Господа! Гардин умер.

– Умер? – кинулся к нему Твердов. – А Вера Петровна?

– Не знаю, – сказал полицейский, пожав плечами. – На нее словно столбняк какой-то нашел. Она не плачет, не убивается, а молчит, как онемелая... в лице ни кровинки. Еще бы! Такой ужас, и не в первый раз. Ее с доктором повезли домой. Что будет дальше? Мать и отца мы тоже отпустили.

– И она пошла спокойно?

– Совершенно! Я уже докладывал вам, что

она в каком-то непонятном столбняке. Пережить такое потрясение, притом в такой день... Господа! Вы все были очевидцами этого печального события. Просил бы вас сказать ваши фамилии. Послано за следователем, и он, вероятно, сейчас прибудет. Пожалуйста, не расходитесь, иногда малейшее указание открывает следы.

– Как? Разве заподозрено преступление? – воскликнул Николай Васильевич.

– Как сказать? Все может быть... следствие покажет.

Твердов покачал головой. Он знал Гардина с детства, хотя в последнее время они разошлись и встречались редко. Твердов – богатый молодой человек и в России бывал редко, проводя почти все время в путешествиях, а Евгений Степанович никуда далее ближайших окрестностей Петербурга не ездил. Но Николай Васильевич знал его как доброго, всем без исключения симпатичного юношу, никому не делавшего зла. Он был совершенно незлобив, не имел врагов, корыстных выгод его смерть никому не могла принести, так что Твердов был уверен, что преступления в

данном случае быть не могло.

Зал между тем опустел. Приглашение полицейского офицера подействовало в обратную сторону – после просьбы остаться большинство сейчас же разошлось.

«Моя хата, дескать, с краю, ничего не знаю. Вмешиваться – тягать будут, лучше уйти».

Остались немногие. Одни из них не могли преодолеть свое любопытство, другие искренне желали принести пользу своими показаниями. Да, собственно говоря, все знали одно и то же: человек был за минуту жив, здоров, весел, счастлив, но вдруг упал и умер.

В конце зала, огни которого почти все были потушены, поставили стол для судебного следователя. Стало томительно-мрачно.

Твердов решил остаться и дать показания. Он считал это необходимым потому, что был около несчастного Евгения Степановича в последние мгновения его жизни. Припоминая мельчайшие подробности, предшествовавшие трагедии, он большими шагами расхаживал по залу, не замечая, что следом за ним ходит и тот бритый господин, которого он заметил ранее.

Поворачиваясь, он столкнулся с ним лицом к лицу.

– Виноват-с! – произнес тот и отступил, но так, что Николаю Васильевичу никаким образом нельзя было обойти его и волей-неволей пришлось остановиться. – Виноват-с, – повторил незнакомец, – маленький вопрос имею к вам. Прошу минуту. Позвольте представиться. Кобылкин я. Преотвратительная, смею сказать, фамилия, но что же поделать? Так я буду Кобылкин, Мефодий Кириллович. Изволили запомнить? Мефодий Кириллович.

Он с особым оттенком произнес свою фамилию, как будто она должна была быть известна всем и каждому, но Николаю Васильевичу она решительно ничего не говорила.

– Очень рад, – равнодушно произнес тот, – чем могу служить?

– Так вот, Кобылкин Мефодий я... Не слышали?

– Нет, не приходилось. Не имел чести.

– Тем лучше! Какая же честь? Так вот, осмеливаюсь просить я рассказать мне про нирвану-то, про нирваночку-то эту самую, которую высокопочтеннейший Иван Афанасье-

вич пугал покойного Евгения Степановича.

– Но почему это так интересуется вас?

– Я люблю, признаться сказать, вникать во всякое дело, до тонкостей его доходить. А тут такой случай... ах, какой ужасный случай!

Теперь он пропустил мимо себя Твердова и семенил, покачиваясь всем корпусом, рядом с ним.

Николаю Васильевичу и самому хотелось припомнить подробности последнего разговора с несчастным Гардиным, и он поспешил удовлетворить любопытство Кобылкина.

– Вот оно что? – воскликнул тот, когда Твердов кончил свой рассказ. – Нирвана, небытие... об этом, если не ошибаюсь, индийские брамины проповедуют. Ну и, доложу вам, умнейшая голова наш почтеннейший Иван Афанасьевич! Все-то он знает, до всего доходит, во все вникает. А вы тоже совершенно справедливо изволили назвать бедняжечку Веру Петровну дочерью Рагуила. Точь-в-точь ветхозаветная история в наши дни повторяется. А как ловко господин Юрьевский бокальчик-то об пол хватил... вдребезги весь. Для молодых это хорошо: к богатству, если на

свадьбе да на новоселье посуду бьют. Взял и разбил, со злом разбил: в бокале-то еще на четверть, а нет и более, шампанского оставалось. Вот, кажется, на этом самом месте?

С этими словами он подвел Николая Васильевича как раз к тому месту, где во время обеда стоял стул Юрьевского.

– Не помню, – с некоторой досадой отозвался Твердов, которому начинало надоедать бормотанье Кобылкина. Он видел в нем просто любопытного человека, но вдруг ему пришло на ум новое соображение. – Вы не из газеты? – спросил он у Кобылкина.

– То есть вы хотите сказать, не репортер ли я? Если угодно, пожалуй, и так. Но прежде всего я – Кобылкин, Мефодий...

«Да что это он ко мне со своей фамилией пристает?» – с новой досадой подумал Твердов и только для того, чтобы сказать что-нибудь, спросил:

– Не приехал следователь-то еще? Долгонько, однако!

– А вы спешите? – затараторил Кобылкин. – Так с Богом... У меня пристав знакомый! Хотите, попрошу? Вы оставите свою

карточку – вот и все. Что вам здесь томиться?
Угодно, могу услужить.

Волнения этого дня так утомили Твердова, что он едва держался на ногах. Поэтому он обрадовался предложению своего неожиданно знакомого.

– Пожалуйста, если можно! – сказал он.

– Моментально... пройдемте вон туда. Через секунду все покончим, и отправляйтесь домой...

Он взял под руку Николая Васильевича и, тараторя без умолку, пошел с ним отыскивать знакомого пристава.

– А что, можно мне, как вы думаете, к Жене пройти? – спросил Твердов, когда они проходили мимо портьеры, прикрывавшей проход в кабинет, где лежало тело Гардина.

Теперь проход туда уже охранялся городо-
вым.

– К покойничку? Отчего же нельзя? Только стоит ли? Знаете, батенька, с нервами шутить нечего. Еще сниться будет! После, при честном погребении... А теперь покойничек-то лежит себе – хе-хе-хе! – в нирване этой самой... Вот уж, доложу вам, преоригинальная первая

брачная ночь!.. Не ходите, голубчик, – вдруг совсем задушевым тоном заговорил Мефодий Кириллович, – не портите себе впечатление...

Он ловко провел Твердова мимо городских и, подойдя к полицейскому приставу, сидевшему в выжидательной позе у стола, что-то шепнул ему. Тот взглянул на Николая Васильевича и утвердительно кивнул головой.

– Пожалуйста, пожалуйста! – приветливо заговорил он. – Вы – лицо известное. Следовательно допросит вас у себя в кабинете. Карточку можно с адресом...

Твердов был отпущен. Когда он вышел из кухмистерской, у подъезда все еще стояла толпа. Ему показалось, будто при слабом свете уличного фонаря он увидел бледное лицо Юрьевского с его диким взглядом.

«Э, черт! Что это я? Галлюцинировать, что ли, начал?» – подумал Николай Васильевич и, сев в поданный ему экипаж, отправился прямо домой.

III

Неожиданное предложение

Николай Васильевич Твердов, человек ко-
чевой, жил в гостинице, занимал номер
в три комнаты. Плохо спалось ему в эту ночь.
Чуть ли не в первый раз в жизни им вдруг
овладело чувство суеверного страха. Николай
Васильевич порывался уйти куда-нибудь на
люди, чтобы только не быть одному, но в то
же время сказывалась усталость, и его тянуло
в постель. Но как только он ложился и закры-
вал глаза, ему начинало чудиться, что перед
ним стоит несчастный Гардин, грустно улы-
бается ему и кивает головой. Твердов откры-
вал глаза, и образ покойного приятеля все
еще продолжал грезиться ему и наяву. Ло-
жась в постель, он приказал, чтобы в его
спальне было как можно больше света. Но и
свет был не в силах рассеять галлюцинации.
Гардин в его воображении вдруг сменился
Юрьевским, и Николай Васильевич ясно слы-
шал его глухой голос, все говоривший что-то
о нирване, о своем царстве. И вдруг голос

смолк, и в ушах Твердова совершенно отчетливо раздался звон разбитого бокала.

Так прошла вся ночь, и Твердов задремал почти под утро.

Стук в дверь заставил Николая Васильевича проснуться. Вошел слуга и доложил, что какой-то господин хочет непременно видеть его.

– Кто такой? – раздраженно спросил Твердов. – Как фамилия?

– Не говорят. Объясняют, что они вам известны.

– Проси в кабинет! И одеваться!

Выйдя через некоторое время из спальни, Твердов, к своему великому удивлению, увидел, что ранним гостем у него был не кто иной, как Мефодий Кириллович Кобылкин.

– Не ожидали в такую рань? Хе-хе-хе! – поднялся тот с места при входе хозяина. – Уж как хотите, извиняйте... я все по поводу вчерашнего случая.

– Очень приятно, прошу вас садиться, – ледяным голосом ответил Твердов. – Чем могу служить?

– Многим, молодой человек, безмерно мно-

гим, – выразительным тоном ответил гость, – да не мне, старику.

– Кому же тогда? Чему я обязан столь приятным знакомством?

– Чему обязаны? – ответил тот. – Да все вчерашнему прискорбному событию, а кому вы послужить можете, так я это сейчас доложу вам: Фемиде, сиречь правосудию человеческому, послужить вы можете, вот-с кому.

– Да кто же вы тогда? – вскричал пораженный этим объяснением Твердов.

– Кобылкин, Мефодий, сын Кириллов, – было ответом.

Тут только словно озарило Николая Васильевича. Ведь это имя гремело не только в Петербурге и в России, но даже и за границей. Про Кобылкина ходили рассказы, похожие на легенды. Говорили, что для него не существует никаких тайн, что самые запутанные преступления раскрывались им с непостижимой скоростью. И теперь этот человек с самым смиренным видом сидел перед Николаем Васильевичем.

– Простите, пожалуйста, – заговорил Твердов, – я удивлялся вчера, что вы так подчерк-

нута называли свою фамилию, но, поверьте, вчера мои мысли были так далеки от всего окружавшего меня, что я даже и сообразить не мог, кого я вижу перед собою. Вас ли не знать, хотя бы по фамилии! Я не раз бывал в Лондоне, – а там ваше дело поставлено на высокую ступень, – но и там отзывались о вас чуть ли не как о гении... Еще раз простите...

– И прощать-то мне вас нечего, Николай Васильевич, – задушевно-ласковым тоном ответил Кобылкин. – Ничем вы предо мною не провинились. Да вовсе и не в том дело. Я пришел к вам с некоторым проектом, потому пришел, что человек вы смелый да решительный. Вот и надумал я просить вашей помощи.

– Готов служить, распоряжайтесь мною, как вам угодно.

– За обещание спасибо великое. А в чем мне нужна помощь ваша, сейчас скажу. Вы никуда не торопитесь?

– Нет, нет... Пожалуйста, я весь ваш... Не могу ли предложить чего-нибудь?

– Чайку бы! Смерть люблю беседовать за чайком, а наша беседа будет продолжительной. Говорить мне много придется.

Твердов позвонил и приказал подать чай.

– Так вот, Николай Васильевич, в чем мое дело-то, – заговорил Кобылкин, когда чай был подан. – Видите ли, старик я, и много, ух как много видал на своем веку! Только одного никогда не видал, – вероятно, и вы тоже, – чтобы случайности совпадали... Представьте себе, сидим мы, а на нас вдруг обрушивается потолок, и мы остаемся целы и невредимы. Потолок поправляют, мы приходим и садимся, и он опять на нас валится, и опять мы без царапинки даже. Не может быть такого совпадения случайностей. А вчерашняя смерть... ведь она, так или иначе, шестая, и все при одних и тех же обстоятельствах... Является жених, слаживается дело, назначается свадьба, и вдруг жениха нет, словно ветер их всех сметает с лица земли. Уж не в самом ли деле эта девушка – ветхозаветная девица, которой «изгнанник Неба и земли» препятствовал вступить в законный брак? Так ведь и в-то время нашлось средство честию попросить этого «изгнанника» убраться подальше, а мы... сидим сложа руки да ахаем. Тьфу ты! Обидно просто...

– Простите, я вас перебью, – остановил его Твердов. – Что с Верой Петровной?

– Слава богу, пришла в себя, убивается, плачет. Да это ничего! Слезы девичьи что роса: взойдет солнце и высушит. Поплачет-поплачет, похоронят этого беднягу Гардина, а его вдовушка, которая ему и супругою-то не была, подыщет нового жениха, а с тем опять что-нибудь вроде вчерашнего. Вот тут что хотите, – то и делайте! Посудите сами, добрейший мой, что выходит: миленькая, хорошенькая барышня, единственная дочка очень состоятельных родителей, крестница и уже объявленная наследница миллионера. Понятно, женихов тьма-тьмуца, выбирай любого. Ну, о первых двух и говорить не буду – старая история, да и рассказ затянется. Начну прямо с третьего. Раз барышне неудача, два – неудача. Ну, что же, это бывает. Является третий жених, милый юноша, прекрасно образованный, хорошей семьи, тихий, кроткий. Середин его звали. Познакомились семьями, понравились все друг другу. Дальше, как и везде бывает: взгляды, вздохи, робкие полупризнания, потом свиданьице и предложение руки

и сердца. Девушка ликует. Неужели же и в третий раз неудача? Быть того не может! Хорошо. Родители согласны, свадьба назначена, приданое сшито. Вдруг жених исчезает бесследно! Даже сказать нельзя, что в воду канул, – выплыл бы тогда где-нибудь. Родители плачут, невеста плачет. Что поделаешь! А тут подвертывается четвертый жених – Иван Михайлович Антонов. Откровенно скажу: не по невесте он был, – то, что называется купчик серый. Этот прямо на капитал льстился и открыто об этом говорил: «Мне бы только в карман заполучить, и никакой судьбы я не боюсь. Слава Тебе, Господи! Пудовиком крещусь, из кочерги какой угодно вензель выгну». И действительно, детина был рослый, в плечах – косая сажень, грудь – колесом, а мускулами на руках бечевки рвал. Из медведей медведь. Вера-то Петровна и идти за него не хотела, плакала все, да потом согласилась. После Середина женихи чураться ее стали. За Антоновым без числа глаз следило. Заприметили, что барышню Пастину судьба преследует, ну и любопытство, что с этим геркулесом станется. А он только знай себе подсмеивает-

ся и в ус не дует. «Мне на вашу судьбу наплевать! Я ее во как! – бахвалится Иван Михайлович, а сам свой пудовый кулачище трясет. – Ученые люди говорят, будто судьба-то – индейка, так я ей курицыну мамашу покажу!» Ну и наплевал, ну и показал! В канун свадьбы Антонов мальчишник справил. Перепились все там, как водится, его пьяного домой привезли, на постель сунули; он захрапел, богатырским сном заснул, а наутро уже не на постели, а на полу валяется. Горло от уха до уха перерезано, бритва тут же, а на постели записка: «В смерти моей прошу никого не винить».

– И записка его, этого Антонова, рукой написана? – спросил Николай Васильевич, заинтересованный рассказом Кобылкина.

– Его, его! Даже смерть, как он всегда писал, через «ять» написана...

– Но ведь вскрытием могли же определить, убийство тут или самоубийство? Наука же определяет признаки этого...

– Ничего не определили. И так, и сяк. Я забегал посмотреть. Кинулось одно мне в глаза: рана на горле очень уж аккуратна была, буд-

то хирург какой над нею поработал. Я тогда высказал свои соображения, да презрели мои слова. Дело прекратили – и конец всему. Но я с тех пор стал подумывать: «Что же за девица такая несчастная? Кто бы ей руку с сердцем ни предложил, всякий с курьерским поездом на тот свет отправляется». Начал я приглядывать, примечать. За Пастиными следил – добрые, хорошие люди, и девочка-то умница-разумница. А тут пятый жених подвернулся, Сергей Васильевич Марков, военный. Тоже храбрость показать хотел. Этот все говорил, что ничего не боится, потому что в настоящих боях на войне участвовал. Думаю я, что он тоже на капитал льстился, только, как человек воспитанный, свои намерения игрой в любовь прикрыть сумел. Как свадьбу назначили – и этот на тот свет убрался. Летнее время было. Ехал этот Марков к невесте на дачу, вышел на площадку и очутился под поездом. Но тут хотя кто-нибудь видел. Крестный папаша барышни Пастиной ехал...

- Юрьевский? – вскрикнул Твердов.
- Он самый. Он и тревогу поднял.
- Скажите, что он за человек?

Кобылкин как-то особенно взглянул на своего собеседника и медленно произнес:

– А вы почему меня о нем спросили?

– Удивил он меня вчера... Бред его... Большой он.

– Ну, как я могу это сказать? Я не психиатр. Юрьевский – человек богатый, совершенно одинокий, живет в собственном особняке с двумя слугами, занимается какими-то таинственными науками. Может быть, учение браминов о нирване исследует, кто его там знает, а может, черной магией занимается. Только мне кажется, что свою крестницу он без ума любит... чуть ли не больше, чем следует. А вы напрасно его вчерашний спич бредом называете: смысл в нем есть, и большой.

– Вот и я-то же самое вчера говорил, – заметил Николай Васильевич, – но мы отвлекаемся. Что же?

– Дальше-то что? Похоронили и пятого беднягу. Женихи от заколдованной девицы все разбежались. И в самом деле, какое их положение? Никому жизнь не надоела. За одну только честь побыть неделю-другую женихом – не супругом, хотя бы и незаконным, а

только женихом – расплачиваться жизнью никто не будет. Цена высока, не по цене товар. Однако вот шестой-то все-таки нашелся. Хороший, добрый, сердечный юноша. Как я только узнал, возликовал. Ну, думаю, теперь ты, такой-сякой «изгнанник Неба и земли», – а кто же, как не он, женихов Пастиной морил? – от меня не отвертись. Посмотрим, чья возьмет! Как только Гардин покончил с Пастиным, стал женихом современной дочери Рагуила, я его, незаметно для него самого, самым бдительным надзором окружил. Самые смышленные, самые опытные из моих молодцов были к нему приставлены, за каждым его шагом смотрели, буквально глаз не спускали.

– Все-таки конец один и тот же.

– Увы, тот же, но с некоторой и очень характерной разницей. Неужели вы из моего рассказа не увидели ее?

– Представьте, нет. Что же?

– А-то, что все предшественники бедного Гардина до свадьбы на тот свет отправлялись, а он – в день своего венчания. Те все дальше женихов не шли, а этот супругом умер. Стало

быть, мой присмотр на что-нибудь и пригодился. Не будь его, Гардин умер бы раньше. Ну какое же тут совпадение случайностей!

Твердов был поражен этим выводом.

– Но позвольте, ведь вы указываете этим, что совершались преступления?

– Ничего пока не знаю, – ответил Кобылкин, пожав плечами.

– Погодите! Ваши агенты зорко следили за каждым шагом покойного Гардина? Так? И когда, в какой момент окончился этот надзор?

– Он и не кончался. В кухмистерскую явился я сам, как вы изволите знать.

– И вы ничего подозрительного не заметили?

– Решительно ничего такого, что бросалось бы в глаза.

– Ничего не понимаю! До прибытия молодых к свадебному столу за Гардиным следили ваши агенты? Его смерть произошла в то самое время, когда наблюдали за ним вы? Да? Стало быть, – то, что привело к смерти этого беднягу юношу, совершено уже после вступления его в зал этой кухмистерской?

– Все может быть, и ничего не может быть.

Этот ответ Кобылкина не на шутку рассердил Николая Васильевича.

– Но у вас-то есть какие-нибудь соображения, свои собственные выводы?

– Вот об этом позвольте мне умолчать до поры до времени, – улыбнулся Кобылкин.

– Тогда о какой же моей помощи вы, черт возьми, говорили? – вспыхнул Твердов. – Чего вы от меня хотите?

– Да немногого, черт возьми: я хочу, чтобы вы явились Товием для современной дочери Рагуила, другими словами, хочу, чтобы вы посватались за Веру Пастину-Гардину и стали ее женихом. Только и всего.

Твердов опешил, услышав слова Кобылкина.

– Как это стать ее женихом? – с заметным недоумением спросил он, взглядывая на Мефодия Кирилловича.

– Очень просто, – было ответом. – Явитесь к Пастиным, поухаживайте за молоденькой несчастной вдовушкой и потом предложите ей руку и сердце.

– Но ведь это значит, что я должен женить-

ся на ней?

– А уже это как хотите, мой молодой друг, – с улыбкой проговорил Кобылкин. – Отчего же и не честным пирком да за свадебку? Оба вы – люди молодые, красивые, чем же друг другу не пара? Очень рад буду, если поженитесь...

– Вы изволите насмехаться надо мною, господин Кобылкин! – резко проговорил Твердов. – Я принимаю ваши слова как насмешку.

– И напрасно. Я говорю совершенно серьезно.

– Не могу этому верить. Вы только что битый час рассказывали мне всякие ужасы, от которых у нервного человека волосы должны были бы дыбом встать, а теперь сами же предлагаете мне сознательно разделить участь этих несчастных Середина, Антонова, Маркова и моего бедного приятеля Гардина. Что же это, как не насмешка?

– Да нисколько же, добрейший мой Николай Васильевич, – заговорил Кобылкин, и его голос вдруг стал таким кротким, что прямо проникал в душу собеседника. – Прежде чем прийти с подобным, сам я это понимаю, неожиданным предложением, мне необходи-

мо было добыть о вас кое-какие сведения. И вот я узнал, что вы – смелый и решительный человек. Чего же мне лучшего желать? Вы, при малейшем желании со своей стороны, легко поможете мне открыть тайну, непроницаемой завесой окружающую шесть весьма печальных случаев. Неужели вам самому не улыбается перспектива проникнуть в непроглядную тьму этой тайны, побороться с таинственным незнакомцем, изображающим в данном случае «изгнанника Неба и земли»? Неужели, наконец, вы откажете молоденькому, ни в чем не повинному существу, этой бедняжке Вере Петровне, в своей помощи? Ведь ясно, что кто-то чрезвычайно могущественный препятствует ей познать великое счастье жены и матери. Вот этого таинственного «кого-то» я должен найти, а найти его я могу только с помощью вас или кого-нибудь другого, равного вам по положению. Женитесь вы на Вере Петровне или нет, – а отчего бы и не жениться? – это ваше личное дело, я же предлагаю вам только одно: стать ее женихом, – то есть, другими словами, искусственно создать ту обстановку, в которой со-

вершались все события, рассказанные мною вам в течение битого часа. Я ведь нарочно так подробно говорил вам о них и даже разоткровенничался по поводу бедного Гардина. Припомните, я рассказал вам, что за Гардиным был учрежден внимательнейший тайный надзор, и только благодаря ему, бедному молодому человеку удалось обвенчаться с этой злополучной бедняжкой. Но покойный юноша даже и не знал об этом надзоре. При всей моей опытности на этот раз я попал впросак. Я думал, что раз Исаяя возликовал, преследования судьбы – будем пока так называть эту таинственную силу, которая мешает Пастинной стать женою, – кончены. Ан нет! Оказывается, что таинственный «кто-то» именно этого и не хочет. Ведь не погиб же Гардин сегодня, когда он стал бы фактическим супругом Пастинной, а погиб вчера, когда эта бедняжка Вера хотя и изменила свою фамилию, но фактически осталась барышней Пастинной. Вот тут уже для меня является маленькая, крохотная задоринка. Я не мог предложить Гардину так вот, как предлагаю вам, стать своим помощником, союзником в деле

раскрытия этой тайны: для этого бедняга не был достаточно образован. Вы же – совсем другое дело.

– Очень благодарен вам за такое мнение о моей незначительной особе, – иронически улыбаясь, перебил Мефодия Кирилловича Твердов, – но все-таки, откровенно сознаюсь, я предпочитаю свое теперешнее положение той нирване, в которую погрузился Евгений Степанович.

– Вот видите, вы о нирване-то помните, а меня дослушать не хотите! Уж пожалейте старика: выслушайте до конца. Я уже сказал о надзоре за Гардиным. Теперь несомненно, что были многие обстоятельства, которые, в силу самого положения действующих лиц, остались незаметными для наблюдавших, а для самого наблюдаемого являлись совершенно естественными и потому не привлекали к себе его внимания. Между тем именно эти обстоятельства и привели к столь печальному исходу, свидетелями которого мы все были вчера. Не скрою от вас, я начинаю уже подзревать. Я уже вижу не кое-что, а даже многое в крошечной тьме этой тайны. Только не мо-

гу же я действовать без проверки. Мало ли что мне во сне приснится! Вот я и хотел бы, чтобы вы явились поверочным фактором того, до чего я дошел путем некоторых соображений. Согласитесь вы – и с этого же мгновения, ради вашей безопасности, над вами будет установлен надзор, еще более бдительный, чем над бедным Гардиным. Вы же в свою очередь будете внимательно и зорко наблюдать за всем, что будет происходить в период вашего жениховства, и будете сообщать свои наблюдения мне. Понимаете?

– Да, – ответил Твердов. – Но почему ваше внимание остановилось на мне? Ведь у вас есть люди опытные, более меня наблюдательные.

– Вы хотите сказать, отчего я не откомандирую к Вере Петровне в качестве жениха кого-либо из своих помощников? Да по двум соображениям. Очевидно, наш противник очень могуществен; он легко узнает общественное положение подобного нового жениха, и будет действовать по-другому, соответственно именно с этим обстоятельством. – то же общественное положение помешает тому или дру-

гому моему молодцу войти в дом Пастиных. Положим, роль жениха, я уверен, будет сыграна великолепно, но каково будет положение девушки, ее родителей, родных, знакомых, когда, в конце концов, так или иначе исполнив свою роль, жених откланяется, заявляя, что все эти тайные свидания, робкие поцелуи, нежные записочки – а без них и прочего какое уж жениховство – были не следствием какого-либо сердечного чувства, а просто-напросто исполнялись по предписанию начальства. Что, сердечнейший, скажете?

– Мне кажется, вы правы, – пожал плечами Твердов.

– Конечно же! Ведь это поразит и угнетет молодую особу куда более, чем трагическая смерть ее нареченных. Вы же – человек одного с нею круга. Если вы, по окончании своей миссии, откланяетесь, – то что же из этого? Мало ли свадеб расходуется? Если же честным пирком да и за свадебку, то – хе-хе-хе – зовите не зовите, а и в храме, и на пиру гостем буду и на крестины вашего первенца потом тоже без всякого зова приду... Так? По рукам?

Николай Васильевич задумался.

– А не лучше ли будет, добрейший Мефодий Кириллович, – сказал он, наконец, – предупредить обо всем этом, – то есть о моем фиктивном жениховстве, Веру Петровну и Петра Матвеевича?

– Боже вас упаси от этого! Ни слова, ни звука, иначе все, все пропадет. Даже и в том случае, если вы откажете в своей помощи правосудию, слугою которого я имею честь быть, я покорнейше прошу вас никогда, ни при каких обстоятельствах не говорить и даже не упоминать не только о теперешней нашей беседе, но и о том, что вы когда-либо видели меня. Но я вижу, хе-хе-хе, что вы уже согласны; из вашего вопроса вижу. Быть бычку на веревочке, а мне, старику, пировать где-нибудь в уголке на веселой свадьбе, – рассмеялся Кобылкин. – По рукам, родной?

– Только без этого, без свадьбы, – сопротивлялся, но уже слабо Твердов.

Кобылкин лукаво прищурился.

– А уж это вы там как хотите. А отчего бы, в самом деле? Люди молодые... Ваш прообраз, Товий Товитыч, прекрасную партию с дочкой почтеннейшего Рагуила сделал. Вам же отче-

го бы не последовать его примеру? Впрочем, ваше дело, ваше дело. Супругом – как хотите, а уже женихом-то будьте! Моей старой головой вам об этом сама ее высокопревосходительство госпожа Фемида земно кланяется, – и Кобылкин поклонился Твердову. – Ну, что же, родной? – сказал он. – Надумали? По рукам?

– Знаете ли, откровенно говоря, вы заинтересовали меня, – задумчиво ответил Твердов. – Я никогда не был искателем приключений, но вот сейчас, обдумав положение, вижу, что могу принести некоторую пользу этим добрым, хорошим людям, которые теперь уверены, что их преследует судьба. Ведь они загнаны ею вконец. Вот ради них я и готов отдать себя в полное ваше распоряжение.

– И прекрасно! – даже подпрыгнул в кресле Кобылкин. – Я ни на одно мгновение не сомневался в вашем благородстве.

– Постойте! Когда мы, так сказать, снимем с бедных Пастиных гнет этой судьбы и Вера Петровна, наконец, будет счастлива, став женою и матерью, – то мне будет наградой сознание того, что своим счастьем она обязана

мне. Чего это вы так смотрите? – с неудовольствием произнес он, заметив, что Кобылкин, опять лукаво прищурясь, глядит на него. – Чего вы?

– Да так, – ответил тот. – Припоминаю поговорку: «С огнем играть – обжечься». Впрочем, молодой мой друг, некоторые ожоги вместо боли великое счастье человеку приносят.

– Оставьте! Вы опять... Уверю вас, никакого чувства, кроме жалости, у меня к этой несчастной девушке нет.

– Да верю я вам, голубчик, верю! Доживем, все увидим... Ну, спасибо, великое русское спасибо вам за ваше согласие... Теперь мы этой самой судьбе вдвоем такую кузькину мать пропишем, что она навек перестанет безобразничать.

– Теперь скажите, – перебил его Твердов, – что я должен делать?

– Пока ничего... Или нет, вот что. Вы один живете?

– Один.

– Гм... Ваши средства, кажется, позволяют вам своего собственного слугу, камердинера что ли, иметь. Не позволите ли порекомендо-

вать? Хо-о-роший у меня человек есть на примете! Довольны были бы... право!

– А-а, понимаю! Что же? Пошлите, я с удовольствием возьму вашего человека.

– Прекрасно. Ну-с, вы спрашиваете, что делать? Да как вам сказать? Хорошо бы общество подготовить к вашему будущему предложению руки и сердца нашей бедняжке вдовушке. Вы ведь вхожи в дом к Пастиным?

– Да, я принят у них.

– Ну, начните бывать у них; сперва пореже, потом почаще, а там фрак, букет и все прочее, что жениху полагается. Впрочем, действуйте сами, вам с горы виднее.

– Но с вами я буду видеться?

– Несомненно! Как же иначе? Вот черкните записочку и передадите своему камердинеру, тому, которого вы по моей рекомендации возьмете, он уже доставит. Итак, мы поладили. Так я поспешу, бедняга мой ждет не дождется, когда я его на место пристрою. Так чем скорее, тем лучше. Лечу! До свиданья... Руку, благородный союзник, и смело вперед!

Твердов проводил своего незваного гостя, приказал подать себе завтрак и задумался.

«Очевидно, этот Кобылкин уже что-то знает, – размышлял он, – он что-то пронюхал, но пока еще ни в чем не уверен и не решается действовать сам. Ну что же? Игра опасная. Перспектива быть зарезанным, сброшенным с поезда, пропасть без вести не из приятных... Да что я? Откуда я знаю, что это – чьи-то преступления? Антонов мог сам зарезаться, Марков – жертва своей неосторожности, Середин мог утонуть, мало ли что? Но Гардин, Гардин... Все-таки что-то или, вернее, кто-то тут есть... Эх, была не была! Эта Верочка такая миленькая, свеженькая... Я глаз не спускал с нее весь вчерашний вечер, залюбовался просто и даже Гардину завидовать начал. Да что это я? – рассмеялся про себя Твердов. – Уж не в самом ли деле?.. А чудака этот Кобылкин!.. Дочь Рагуила. Товий, между ними демон какой-то, демона побоку, и – Исайя, ликуй... Ну, авось до этого не дойдет. А прав Кобылкин, тут не судьба, а если и судьба, – то в образе двуногого зверя действует».

Размышления Николая Васильевича были прерваны появлением слуги.

– Вас спрашивает какой-то человек, – доло-

жил он.

– Кто? – спросил Твердов.

– Не могу знать, простой какой-то, говорит: по рекомендации.

– А, знаю, зовите! – приказал Николай Васильевич.

В кабинет вошел мужчина, крепкого сложения, с маловыразительным, но приятным лицом.

«Мой телохранитель», – подумал Твердов и спросил:

– Вы по рекомендации?

– Так точно! Прослышал, что вашей милости камердинер требуется.

– Собственно говоря, не камердинер, – ответил Твердов, думавший в то же время: «Ну что мне с ним говорить? К чему эта комедия?» – а человек, который был бы при мне постоянно и соединял бы в себе сразу несколько обязанностей. Можете вы?

– Точно так. Мне говорили, что у вас место хорошее.

– Прекрасно! А ваши условия?

– Помилуйте! Столько времени без места... Что положите, за все буду благодарен. Не из-

вольте беспокоиться.

«Зачем это он? – думал Николай Васильевич. – Но все-таки, надо сознаться, ловко играет свою роль – любому актеру впору. Что-то дальше будет? А пока попробую испытать его».

Он с улыбкой принялся разглядывать стоявшего перед ним человека. Тот был невозмутим.

– Как вас зовут? – спросил Твердов.

– Василий Андреев, по фамилии Савчук.

– Малоросс?

– Так точно... из Черниговской...

– Так, так... А скажите, Василий, я как будто вас где-то видал? Да, да, вот где! – и Николай Васильевич назвал фамилию кухмистра, у которого происходил так трагически закончившийся накануне свадебный бал.

– Все может быть, ваша милость, – невозмутимо ответил Савчук, – я вчера там по вольному найму прислуживал. Что делать, кормиться нужно.

– Ага, стало быть, я прав! Так, так...

Николай Васильевич не видал этого человека в числе слуг кухмистерской и сказал на-

обум, но это убедило его, что перед ним человек, посланный Кобылкиным.

– Так, так, – повторил он. – Ну, когда же вы, Василий, можете начать вашу службу у меня?

– Когда прикажете, барин, каждую секунду, вот хотя бы сейчас.

– Как это так? Вы ведь будете жить у меня?

– Так точно. Лицо, рекомендующее меня вам, уверило меня, что я поступлю непременно. Я имел смелость забрать все пожитки и явиться сюда с ними.

– Вот как! Очень хорошо! Ну, тогда с Богом! В добрый час! – произнес Твердов, а сам подумал: «Скоро же действует Кобылкин! Правду сказать: кажется, я уже под надежной охраной».

IV Пари

Савчук в несколько минут устроился у Твердова так, как будто жил у него долгие годы. Николай Васильевич следил за ним и только удивлялся расторопности этого человека. Не прошло и четверти часа, как он уже явился и сказал:

– Осмелюсь предложить, Николай Васильевич, вы изволили сказать мне, чтобы я был около вас безотлучно, – то есть я понял это так, что коли вы меня в глухую полночь потребуете, так я и тогда должен предстать перед вами.

– Так, так. Ну и что же?

– Рядом помещеньице для меня есть; номерочек крохотный и дверью с вашим апартаментом – с гостиной вашей – сообщается. Очень недорогой. Не разрешите ли?

– Это очень хорошо будет! Пожалуйста, пожалуйста, устраивайтесь, а я сейчас уезжаю.

– Когда изволите вернуться?

– Не знаю, право... Вы можете распоря-

даться обедом, чаем – всем, что вам угодно, я сделаю распоряжение. Даже, – взглянул Твердов на часы, – вы совершенно свободны до семи часов вечера. Я не вернусь ранее этого времени... Теперь помогите одеться.

Василий оказался камердинером на редкость. Туалет прошел так, что у Твердова не возникло повода быть недовольным своим новым слугой.

Перед уходом он спросил у Савчука, есть ли у него паспорт. Тот показал ему документ, в подлинности которого можно было не сомневаться, только от наблюдательного Николая Васильевича не укрылось-то, что документ выдан в тот же день, когда к нему явился Савчук. Все это успокоительно подействовало на Твердова.

«Так, так, это хорошо, – соображал он. – Под такой охраной не страшно».

Твердов прежде всего хотел отправиться в больницу, куда было отвезено для вскрытия тело несчастного Евгения Степановича, но раздумал и поехал в ресторан, где надеялся встретить приятелей, бывших с ним накануне на злополучной свадьбе. Он не ошибся. По-

что все молодые люди, которые были вчера, собрались здесь, в большом отдельном кабинете. Разговоры вертелись около внезапной смерти Гардина и вообще печального события накануне. Твердова, очевидно, поджидали с нетерпением.

– А, наконец-то! Вот и он! – раздались восклицания. – Приехал! Куда вчера скрылся?

Николай Васильевич поздоровался со всеми и уселся за уставленный приборами стол.

– Завтракать не буду, – объявил он, – завтракал уже, вина выпью. Ну, что нового в газетах?

– Шум и вопли. Целыми столбцами так и жарят. Еще бы, тема-то какая! Жених номер шесть и с тем же, как у своих предшественников, результатом.

– Но вскрытие, – допытывался Твердов, – вскрытие-то что показало? Да погодите, господа, не все разом. Скажи ты, Петр Александрович, – обернулся он к ближайшему своему соседу. – Ты естественником был, лучше других можешь объяснить нам, что и как.

Петр Александрович Масленцев отпил из бокала, крякнул и с видом авторитета объ-

ЯВИЛ:

– Вскрытие решительно ничего не показало. Будут произведены всевозможные анализы, согласно предписаниям судебной медицины, но, я полагаю, ничего открыто не будет. Есть яды, действующие моментально и не оставляющие после себя в организме никаких следов. Например, кураре...

– Ну, это ты уж оставь, естественник, – перебил его Твердов. – Кураре действует, попадая в кровь непосредственно, а внутрь его хоть ведрами лей – ничего не будет.

Масленцев смутился, но сейчас же оправился:

– А кто знает? Может быть, Евгения укололи. Только нет, тут преступления быть не может.

– Какое там преступление! – заговорили кругом. – Ведь если преступление, – то кто же тогда из нас преступник? Чужих никого не было, все свои, все друг другу знакомые.

– Постойте, – остановил говоривших Твердов, – а кто это был такой среднего роста, полный, начисто бритый, еще глаза так во все стороны бегают? Заметили? Кажется, Дмит-

рий Константинович, – обратился к одному из молодых людей Твердов, – он с тобой рядом сидел за столом. Кто это?

– Право, не знаю, – пожимая плечами, ответил Дмитриев, – никогда не видал. Господин очень приветливый, смешил, все шуточками да прибауточками разговаривал, анекдоты рассказывал. Только я его не знаю. Может быть, Филиппов знает.

– Нет его, приедет – спросим... Только вряд ли он знает: он у Александра Александровича еще вчера спрашивал, кто это такой.

– Так вот, други милые, – заметил Николай Васильевич, – как же это вы говорите, что все свои были? Нашелся-таки среди своих чужой, да такой еще, которого никто из нас не знает.

– Так неужели он – убийца? – крикнул за всех Дмитриев.

– Ну вот, сейчас же и убийца, – совершенно спокойно ответил Твердов. – Ничего я такого не думаю. А сердце-то все-таки не на месте... Оттуда, из зала-то, я прямо, никуда не заезжая, домой поехал и всю ночь до рассвета продумал о вчерашнем печальном событии.

– Ну и что же? – спросил Александр Алек-

сандрович, до сих пор не обращавшийся к Твердову. – Что ты надумал?

– Да я пришел к тому же заключению, что и все. Преступление ли тут, убийство или что-нибудь иное, совершившееся при участии человеческой воли, – я не знаю, и знать не хочу. Это – не мое дело. Фемида с повязкой на глазах, но у нее есть кому глядеть за нее в оба. Так пусть она и глядит. Я же склонен думать, что тут действует судьба, рок – ну, все, что вам только угодно, кроме человека. Я так это, дорогие мои друзья, и принимаю. Довольны вы? Ну, давайте голосовать ваше удовольствие.

– Шутишь ты все, а шутки неуместны, – заговорил только что явившийся к компании высокий худощавый брюнет с тонкими «китайскими» усами.

– А, это ты, Ваня! – протягивая ему руку, воскликнул Твердов. – Господа, слышали вы? Иван Иванович Филиппов, наш милейший друг, говорит, что я шучу, а между тем я серьезен.

– Да полно! Где твоя серьезность-то? – возразил Филиппов. – Ведь ты только подумай, в

каком ужасном положении теперь Верочка.

– Что же ужасного в ее положении?

– Как что? Ведь после вчерашнего она на весь свой век должна остаться в старых девах или вдовушках. Замужем ей не бывать никогда.

– Это почему?

– Да кому же своя жизнь не дорога? Кто поручится, что жених номер семь не последует примеру шестерых своих предшественников? Налицо факты. Веру и так обегали, а теперь как от чумы от нее бегать будут.

– Экий трус народ пошел! – подтрунивал Твердов.

– Трус-то не трус, а согласись сам, что береженого Бог бережет. Примеры налицо, – вступился Александр Александрович.

– Так вы, господа, уверены, что Вера Петровна не найдет себе седьмого жениха?

– Не найдет, по крайней мере, из числа тех, кто знает историю шести предшествовавших женихов, – заметил осторожный Дмитрий Константинович. – Я, например, не польстился бы на такую невесту, хотя бы она была красавицей.

– И я, и я! – закричали остальные.

Николай Васильевич был очень доволен, что встретил такой единодушный протест со стороны своих приятелей, и громче всех крикнул:

– А я вам, черт возьми, говорю, что седьмой жених для Веры найдется, и даже из числа тех, кто знает ее печальную историю! Понимаете, седьмой жених!

– Нет, нет и нет! – раздались голоса.

– Я говорю: да!

– Пари! – выступил Иван Иванович, самый самостоятельный после Твердова среди собравшихся.

– Идет! – ответил тот. – На дюжину шампанского!

– Согласен. Господа, будьте свидетелями, что я и Твердов держим пари. Но в течение какого срока? – обратился Филиппов к Николаю Васильевичу.

– Назначай сам, – ответил тот, небрежно играя лежавшим перед ним на столе ножом.

– Хорошо. Итак, мы держим пари, что если в течение трех лет... нет, мало: в течение десяти лет, считая от сегодняшнего дня...

– Постой, – поддразнил его Твердов, – десять лет мало, клади одиннадцать.

– Ты смеешься, но будь по-твоему, шампанское все равно мое, и мы через одиннадцать лет разопьем его вместе. Докончим же: я и Твердов держим пари между собою, и все вы – свидетели тому, что если до истечения одиннадцати лет, начиная с сегодняшнего дня, найдется какой бы-то ни было мужчина – все равно, старый или молодой, но вполне осведомленный о судьбе шести людей, бывших женихами Веры Петровны, и изъявит желание предложить ей свою руку и сердце, – то я считаю себя проигравшим и ставлю двенадцать бутылок шампанского.

– Какой марки? – засмеялся Твердов.

– Ты шутишь, а я серьезно.

– Серьезно? Неужели? Быть не может! – представился испуганным Николай Васильевич.

– Вполне. Впрочем, выставив дюжину шампанского, нужно наказать тебя за легкомыслие. Ты можешь отказаться от нашего пари.

– Ан, погоди! – крикнул Твердов. – Господа,

вы все были свидетелями нашего пари?

– Все, все! Ты, конечно, проиграл!

– Нет, вы жестоко ошибаетесь! Я говорю, что пари уже по прошествии пяти минут, а не только одиннадцати лет, выиграно мною, так как я заявляю о своем желании предложить Вере Петровне Гардиной руку и сердце и во что бы-то ни стало добьюсь, чтобы в самом непродолжительном времени стать ее женихом. Сегодня же, сейчас же я зову всех, кто здесь есть, на предстоящую в ближайшем будущем свадьбу с этой современной дочерью Рагуила. Что, Ваня? Прикажи подать шампанского. Пари выиграно.

Все притихли, пока Николай Васильевич говорил, отчеканивая каждое слово. Молчание продолжалось и после того, как он кончил говорить и совершенно спокойно сел на свое место.

– Ты как же это, Твердов? – первым пришел в себя Иван Иванович. – Серьезно? Что же, жизнь, что ли, тебе надоела?

– Это уже совсем другое дело. Пока я страстно желаю только одного: чтобы ты приказал подать шампанское. Не ожидал, дружи-

ще?

– Откажись, Николай, – подошел к нему Дмитриев. – Смешно испытывать судьбу, ведь ты – не мальчик, чтобы, играя с огнем, забыть, что огонь жжется.

– Как раз сегодня слышал это мудрое изречение. Именно потому, что я – не мальчик, я и имею право играть с огнем как мне угодно.

– Нет, Коля, плюнь ты на это дело! Ну что тебе? Филиппов шутил сам... Разве возможно такое пари?

– Откажись, Николай! – заговорили все остальные. – Не стоит эта несчастная того, чтобы из-за нее рисковать жизнью!

– Ну, это дело вкуса, – холодно возразил Твердов. – Я ни за что не откажусь. Даже если бы Филиппов сейчас заявил, что берет им же предложенное пари назад, я все-таки стану женихом Веры Петровны. Да неужели же эта хорошенькая девочка не стоит того, чтобы ради нее пойти всякой судьбе наперекор? Судьба! Да я – господин своей судьбы, а не она властна надо мною.

Николай Васильевич улыбался. Он и не отдавал себе отчета, что в нем разгоралась жаж-

да новых, неизведанных впечатлений. Пожалуй, и без участия Кобылкина этот смельчак, подзадоренный товарищами, кинул бы вызов жестокой судьбе. Кроме того, кто из людей равнодушно относится к восхищению, вызываемому своею особой? А тут Твердов уже теперь видел, что все эти его приятели, сами по себе люди заурядные, с ничтожными желаниями, мелкими порывами, смотрят на него как на героя, восхищаются им и немедленно разнесут весть о его безумном, как всем им казалось, поступке, так что на долгое время он станет героем. И внимание, и интерес к нему не ослабеют до тех пор, пока не закончится все это приключение.

– Видите ли, дорогие мои друзья, – заговорил он, – для меня ясно, что вы считаете эту мою выходку безумною.

– Да уж, дружески говоря, умного-то в ней совсем мало, – заметил Иван Иванович.

– Может быть, Ваня, не спорю, – с улыбкой продолжал Твердов, – а только вот что: болтаюсь по свету, я искренне возненавидел-то, что называется человеческим миром. Право, тишь, гладь да Божья благодать очень скуч-

ны. Жизнь без сучка, без задоринки ровно ничего не стоит. – то ли дело – буря, борьба! Вот когда человек живет полной жизнью! Борься и во что бы-то ни стало добиваться победы – это главное условие настоящей жизни. Благодаря родителям, я освобожден от необходимости бороться за существование, талантов у меня никаких нет, способности кое-какие, а силы много и дерзости тоже запас большой. Вот я и бросаю судьбе вызов. Делай, дескать, со мной, что только угодно, а я все-таки пойду на тебя. Погибну в борьбе – туда мне и дорога. Слабосильные все обречены на жалкое существование, а я предпочитаю ему смерть. Вот почему, продумав всю ночь над вчерашним печальным событием, сегодня я совершенно сознательно пришел к мысли, что должен бросить судьбе вызов. Не предложи мне Иван Иванович пари, я все равно объявил бы вам сегодня о своем решении. Только это вышло бы не так театрально, как сейчас, а результат был бы тот же. Итак, други мои милые, пусть несут нам искрометную влагу. Выпьем первый бокал за всякую борьбу, так как она – смысл жизни, второй – за мою личную

борьбу с этой судьбой, преследующей всех тех, кто приближается к миленькой и несчастной девочке, а третий – за мою победу! Ура, братцы!

– Ур-р-а!

Николай Васильевич был немного бледен, но улыбался и пожимал руки приятелям.

V

На панихиде

Когда Веру Петровну с ее злополучно окончившегося брачного вечера привезли под родительский кров, – то и у Петра Матвеевича, и у Анны Михайловны была только одна мысль – как бы вместо одной жертвы этого дня не стало двух. Вера Петровна превратилась в какого-то живого автомата. Она не плакала, ничем не выражала своего горя и ужаса, но словно застыла в том именно положении, в каком застала ее неожиданная смерть Евгения Степановича. Она в эти часы была необыкновенно послушна, позволила раздеть себя даже без слова, но, когда хотели снять с нее венчальную фату, запротестовала:

– Нет, нет, этого нельзя! Ведь еще наш свадебный бал не кончился. Как же я сниму фату? Я еще хочу танцевать!

Так и не позволила она снять с себя венчального убора.

К Вере Петровне были приглашены лучшие доктора. Осмотрев ее, они заявили, что пока еще нельзя ничего сказать. Потрясение было так сильно, что только будущее могло показать, какой оно может иметь исход.

Однако некоторые успокоительные средства все-таки подействовали. Вера Петровна погрузилась в такой глубокий сон, что не почувствовала, как с нее сняли фату и уложили в постель.

Мать и отец всю ночь просидели у постели дочери, с ужасом ожидая ее пробуждения. Они даже не вспоминали о том, что произошло на свадьбе. Тут перед ними лежало их единственное детище, родное, любимое, а тот, кто так трагически покончил счеты с жизнью, все-таки был им чужой, и как ни ужасна была его участь, но менее близка их сердцу, чем участь их дочери.

– Господи! – шептали дрожащие уста-то од-

ного, – то другого старика. – Заступи, спаси, помилуй Верушу! Не дай погибнуть ей! Твоя Святая воля над нами, но Ты многомилостив! Ты – Бог! Ты видишь наши сердца, нашу тоску. Будь же к нам милостив... отдай нам дочь!

Это обращение к Творцу укрепляло их дух, вселяло в простые сердца надежду, поднимало бодрость.

Забрезжило серенькое утро. Вдруг Петр Матвеевич встрепенулся и слегка толкнул жену, кивком головы показывая на дочь.

Вера Петровна открыла глаза и с удивлением посмотрела вокруг. Ее взор остановился сперва на матери, потом на отце. Затем она быстро поднялась и села на кровати.

Петр Матвеевич и Анна Михайловна, затаив дыхание, смотрели на дочь.

– Папочка, мамочка моя милая, родимая! – послышался стон. – Да за что же это нам все посылается? Выше сил испытание... За что? За что? Помню ведь я, помню все... О, какой ужас! – и судорожные рыдания огласили комнату.

Лица стариков засветились радостью.

«Спасена! – пронеслась в их головах

мысль. – Плачет! Помнит все! Пришла в себя! Господи, слава Тебе!»

Старушка мать подсела к дочери.

– Плачь, болезная, плачь! – залепетала она. – Слезы помогают горю, сердце облегчают. Плачь же! Я с тобой, я около тебя!

Петр Матвеевич взял руку дочери.

– Будь покорна, дочка, – заговорил он, едва сдерживая слезы. – Всемогущий промысел неисповедимыми путями ведет человека в его жизни. Никто не может знать, что должно совершиться впереди, никто не знает, зачем посылаются человеку беды и несчастья. Наша жизнь не в нашей воле.

– Но ведь ужас-то, ужас какой! – застонала Вера. Ведь из-за меня гибнет шестой человек! Я – их погубительница! Я виновата в их лютой смерти!

– Не думай так, Верушка, – робко сказала Анна Михайловна, – молись, и с молитвою все пройдет.

– Подумать не могу! – воскликнула Вера. – Только что мой Женя был жив, здоров, весел, радостен, и вдруг... О, о! Ведь помню же я все и никогда не забуду. Его последний взгляд...

Какой ужас был в нем, словно он проклинал меня... Мамочка, папа! – вскочила Вера Петровна на ноги. – Скорее одеваться! Пойдемте, к нему пойдемте!.. Где он, всеми оставленный, холодный, одинокий, лежит?! Пойду к нему и заплачу... Может быть, его душа услышит мое горе, и простит он меня, свою погубительницу!..

Еле-еле удержали бедняжку. Она так и рвалась к праху покойного Евгения Степановича. Но в ее поступках все было осмысленно. Разум вернулся, Вера Петровна была спасена.

Петр Матвеевич послал за докторами, те явились и поздравили его со спасением дочери. Потрясение было ужасно, но здоровый организм превозмог недуг, и за Веру Петровну нечего было опасаться.

Но как она изменилась за это время! Румянец исчез с ее щек, лицо осунулось, нос заострился, глаза впали и потеряли свой молодой, веселый блеск. Осталась только тень прежней хорошенькой Верочки, на которую заглядывались молодые люди.

Так прошло утро. В десятом часу к Пастиным явился Юрьевский.

– Что с Верой? – спросил он у вышедшего к нему Петра Матвеевича, и в его голосе слышалось неподдельное беспокойство. – Узнал я сейчас, что беда у вас.

– Не говори, Иван Афанасьевич! – схватился Пастин руками за голову. – Такое дело, что ума не приложу. Ай, бедная, бедная!

– А все вы, – ответил Юрьевский, – замуж да замуж! На что Вере муж? Судьбу испытываете, пяти смертей мало вам было, еще шестая понадобилась. Ох, люди! Ясно ведь все. Ну, на что? На что?

– Не век же Верочке сидеть в старых девах? На что же мы ее растили, берегли, холили?..

– Чтобы первому встречному ее отдать, ради этого? Ну, что же? Отдавайте, ищите нового жениха!

– Какой уж тут жених! Все теперь от нас бегать будут, никого и калачом не заманишь.

– Так-то оно лучше... Конечно, жаль этого Гардина как человека, – сказал Юрьевский, – но я радуюсь за Веру.

– Чего радоваться-то? – с досадой возразил Петр Матвеевич. – Тоже нашел радость! Поди, притчей во языцех мы теперь на весь Питер

стали. Только и разговора что о нас. Газеты-то, поди, на все лады расписывают.

– Из газет я обо всех ваших приключениях и узнал, – подчеркнуто произнес Юрьевский.

Теперь он был совсем другой, чем во время брачного пира. Никаких признаков ненормальности не было заметно ни в его разговоре, ни в обращении. Даже взгляд его бесцветных глаз не был так дик и бессмыслен, как накануне.

– Уехал я от вас вчера, – продолжал он, – вот, я думаю, удивились-то все. А не мог я быть там. Предчувствие так вот и захватило меня. Смотрю я на сияющую физиономию этого Гардина, и мне как будто шепчет кто: «Снедь червей! Достояние могилы! Радуеться ты, а смерть за тобой!» Я и уехал.

– Дивились там тебе, Иван Афанасьевич: ты что-то такое несуразное молол, – заметил Пастин.

– Не несуразное, как ты называешь, а для вас непонятное, – наставительно сказал Юрьевский. – Но не будем об этом. Слушай, Петр: неужели ты и теперь не внемлешь указаниям судьбы, и опять пойдут эти сватов-

ство, жениханье, свадьба? Не довольно ли?

– Перестань, пожалуйста! – с сердцем воскликнул Пастин. – Тут на руках такое дело! Посмотрим еще, что будет. Теперь этого так не оставят. Следствие ведь идет, а там суд да дело.

– Ничем все кончится, – равнодушно заметил Юрьевский. – Ведь ясно, что тут судьба, а не люди действуют. Что найдут? Ничего. Смерть, как сегодня я в газетах прочитал, последовала от неизвестных причин. Это подтверждено вскрытием трупа. Кого же винить будут? Тебя, меня, Сидора, Кузьму? Брось думать! Я пройду к Вере... да вот и она сама!

– Крестный, милый крестный! – и Вера Петровна кинулась к Юрьевскому. – Ай, зачем ты вчера говорил, зачем ты словно пророчил? Сбылись твои слова, и как скоро сбылись!

– Перестань, деточка, печалиться, перестань убиваться, – заговорил дрожащим голосом Юрьевский, нежно обнимая Веру. – Будь добра и мужественна. Помни, около тебя есть искренне любящий тебя человек. Про себя говорю. Никакие Гардины так тебя любить не будут, как я тебя люблю. Горюешь ты теперь,

плачешь, убиваешься, а все по пустякам. Ну, умер этот Гардин, стало быть, так суждено, Бог с ним. Забудь о нем, забудь обо всем мире. Помни, что вчера я говорил: у меня есть свое собственное царство, великое царство; я – его повелитель, и ты – его царица. Что же, что не от мира сего мое царство, но оно беспрекословно покорно мне, ты уйти из него хотела, моя царица, желая оставить свой престол, и вот опять ты на нем. Не уходи же, останься! Скажи, чего ты хочешь? Повелевай, приказывай – все у тебя будет, все явится...

– Ну, опять ты поехал! – безнадежно махнул рукой Петр Матвеевич. – Опять про какое-то царство... И так Верочка не в себе, а он тут со своим дурацким бредом... До него ли теперь всем нам!

Но остановить Юрьевского Пастин побоялся. Это сделала сама Вера Петровна.

– погоди, крестный, погоди, – сказала она. – После об этом, после... Теперь... Папочка, когда панихида?

– В час, – ответил Петр Матвеевич, довольный тем, что Вера не захотела слушать бред богача крестного. – Раньше невозможно.

– Так мы поедем туда... Непременно поедем.

– Вера! – остановил ее опомнившийся Юрьевский. – Труп ничего не нужно...

– Нет! – воскликнула Вера Петровна. – Нет, Женя для меня еще не мертвый! Я вижу его, чувствую около себя, вот тут, близко. Тело его умерло, но душа жива. Я хочу к нему, я поеду. Похоронят его – не знаю, что будет, а теперь я хочу быть с ним, хочу молиться за него, плакать над ним. Я поеду, и никто не остановит меня.

– Да Бог с тобою, дочка! – воскликнул Петр Матвеевич. – Никто тебя и не останавливает... Какая бы ты там ни была, а все-таки ты – жена покойному.

– Не смей так говорить, безумец! – прервал его дикий крик Юрьевского. – Какая она жена этому несчастному? Никогда она его женой не была! Слышишь, никогда!

Иван Афанасьевич был ужасен. Лицо его исказилось от гнева, потемнело, губы дрожали, он пригнулся, словно кошка или тигр, готовящийся к прыжку.

Пастин и Вера с изумлением смотрели на

него.

– Какая она жена! – чуть не кричал Юрьевский. – Он – труп, добыча червей, а она – царица в моем царстве. Кто, кроме верного раба, смеет приблизиться к царице, бросить на нее свой оскверняющий взор? Никто! Гибель ждет дерзкого. Это говорю я... Ах, что это я? О чем? – вдруг моментально пришел в себя Иван Афанасьевич. – Вера, Вера моя! Прости старика! Знаю – ты горюешь, несчастна, но только теперь... Твое горе пройдет, а я один, всегда один... пожалей же меня, любимая, счастье мое, радость, мечта моя...

– Да что ты, крестный! – подошла к нему не на шутку перепуганная Вера Петровна. – Полно, успокойся, милый! Нездоров ты. Все мы тебя жалеем, любим. Ты – добрый, хороший, странный немного, только и всего.

– Любите все, сожалеете? Да? – воскликнул Юрьевский. – А ты... ты-то меня любишь?

– Люблю, крестный, очень люблю, – просто ответила Вера Петровна. – Как мне тебя не любить? Но прости, крестный, успокойся! Мне и так тяжело, не огорчай меня... Прости! Ты на панихиду приедешь? Приезжай! Слы-

шишь, крестный, я так хочу.

Лицо Ивана Афанасьевича снова исказилось.

– Хорошо, приеду, – глухо ответил он. – А ты, кум, прости меня: явился я, наговорил вам несуразного, как ты называешь... Прости, сам знаю, что не время для таких разговоров.

Петр Матвеевич уже давно привык к подобным резким переходам Юрьевского от того, что ему казалось сумасшедшим бредом, к вполне разумному выражению мысли, и поэтому равнодушно ответил:

– Чего там! От слова ничего не сделается. Пугаешь только иной раз ты. Ну да мы привыкли к тебе... Знаем тебя, слава богу, столько лет!

– И спасибо тебе! Спасибо и тебе, Вера! Поцелуй старика и иди: знаю, нужно так. Не для тебя, для людей нужно, чтобы худого не говорили.

Он уехал.

Посещение крестного принесло Вере Петровне некоторую пользу. Оно отвлекло от обуревавших ее мрачных мыслей. На душе у нее было по-прежнему тяжело, но все-таки

она сознавала необходимость примириться со случившимся и на панихиду в больничную часовню, где лежало тело Евгения Степановича, отправилась спокойная, по крайней мере, с виду.

Мрачная, высокая, со сводами комната едва могла вместить всех собравшихся на панихиду. Те, кто был вчера на свадьбе Гардина, сошлись теперь помолиться за упокой его души. Великая тайна смерти сравняла всех, и у гроба Евгения Степановича стояли люди, искренне жалевшие его, хотя к этому чувству примешивалась немалая доля любопытства, вызванного внезапной кончиной.

Евгений Степанович, в погребальном уборе, лежал в гробу, поставленном у стенного образа, на невысоком катафалке. На его застывшем лице не отражалось никаких следов мук. Смерть застала его внезапно и, казалось, в последние мгновения вызвала в умирающем более недоумения, чем ужаса.

Увидав гроб, Вера Петровна, приехавшая с родителями, с рыданиями кинулась к нему, охватила голову покойника и осыпала ее поцелуями.

– Женя, мой Женя, страдалец невинный! – слышался ее лепет. – За что? За что? Тебя ли я вижу?.. Ты ли это, ненаглядный мой?

Насилу ее отвели от гроба. Тишина все время стояла полная. Все разделяли горе молодой вдовы, ужас ее положения.

– Крепка, однако, – перешептывались все-таки в далеких уголках часовни.

– Н-да... Плачет только.

– Слезами, значит, вся скорбь выходит. Оно лучше. Что же поделать? Обмороками не воскресишь. Смерть подходит, ждать никого не будет. А все-таки жалко молодую. В такой час преставился!

– Да... Жить бы да радоваться, а тут вот.

Перед началом панихиды, когда священник готовился произнести обычные вступительные слова, в часовне вдруг раздался крик.

«Что? Как?» – только и разобрали слышавшие.

Все с удивлением обернулись в ту сторону, откуда раздались эти слова.

Юрьевский сдержал свое слово и приехал на панихиду. Он пробрался в самый отдален-

ный угол часовни и стоял там, опустив голову, ни на кого не глядя, да, пожалуй, и не видя ничего из того, что происходило кругом.

Около него вдруг очутился Мефодий Кириллович Кобылкин, пробившийся через толпу и сумевший занять местечко бок о бок с мрачным богачом. Сперва он только осматривался, потом вдруг обратился к Ивану Афанасьевичу со словами:

– Вот она, эта самая нирвана, о которой вы вчера говорить изволили.

Тот очнулся от своих дум, искоса взглянул на соседа и ничего не ответил.

Кобылкин несколько не смутился.

– Именно, доложу я вам, самая настоящая нирвана, – продолжал он, видимо всеми силами стараясь завязать разговор. – Небытие! Блаженное состояние! Жил человек, волновался, жаждал, боролся, а теперь ручки сложены и лежит себе покойно, ничего знать не хочет. Правы вы были вчера, десять тысяч раз правы были. Я, слушая вас вчера, так и думал: «Глубокий философ этот господин! Тонко в самую суть нашего жизненного бытия проникнуть изволил». А верно, нирвана-то эта са-

мая – хорошая штука! Люди ею не брезгают, а так в нее и прут. Вот один только-только в нее забрался с руками, с ногами, а на его место уже другой целится.

Юрьевский при этих словах встрепенулся.

– Вы кто такой? – глухо спросил он.

– А я, извольте ли видеть, покойничка родственник дальний буду. Вот привелось-то! Вчера – на свадьбе, сегодня – на панихиде. Ничего не поделаешь. Одно говорю: человек я простой, а про нирвану все-таки понимаю. Ведь эта Пастина дочка – несчастная для женихов невеста: шестеро из-за нее отправились в эту нирвану, а вот теперь седьмой находится.

– Что? Как? Кто такой? – крикнул Юрьевский, объятый порывом яростного гнева.

Этот крик и нарушил тишину.

Все бывшие в часовне с недоумением смотрели на Юрьевского, не понимая, в чем дело, что с ним. Вера Петровна тоже услышала этот крик и взглянула в ту сторону.

«Крестный? – промелькнула у нее мысль. – Что с ним?»

Но беспорядок, вызванный Юрьевским,

продолжался только мгновение. Ивана Афанасьевича все знали, все были уверены, что он ненормальный, и даже не удивились его выходке.

«Бредит опять! Заучился барин!» – подумали почти все присутствующие и успокоились, тем более что и Юрьевский, опомнившись, успокоился почти так же быстро, как вспыхнул, казалось, беспричинным гневом.

Кобылкин словно только и ждал этой вспышки. Он засуетился около Юрьевского, заглядывая ему в лицо.

– Что с вами, почтеннейший? – бросал он слова. – Чего испугались? Действительно, такая обстановка на какие угодно нервы подействует. Гроб, жертва... ну, положим, судьбы, рыдающая вдова, удрученные старики, пение... это, как хотите, кого угодно расшевелит. А тут – еще один в гробу покоится, а рядом другой в такой же гроб смотрит. Расстроишься, доложу вам, совсем расстроишься!

– Кто? – отрывисто спросил Юрьевский.

– Вы про кого изволите спрашивать?

– О ком вы говорили как о женихе Веры?

– А, вот вы про кого!.. Так вот видите, там, у

стены, молодой такой, красивый. Твердов по фамилии... Шафером вчера у покойничка был. Так вот он. «Я, – говорит, – уже давно пылаю страстью к Вере Петровне, не хотел только у приятеля отбивать. А теперь, так как она вполне свободна, немедленно свои руку и сердце предложу, а на судьбу мне наплевать». Но что с вами, почтеннейший?

Словно какая-то сила сдвинула Юрьевского с того места, где он стоял. Не обращая внимания на окружающих, он вдруг пошел по направлению к Твердову. Перед ним расступались – так ужасен был его вид; казалось, что идет не живой человек, а призрак, выходец из преисподней. Лицо Юрьевского было бледно, без кровинки, рот полуоткрыт, губы искривлены отвратительной улыбкой, взгляд был бессмысленно-дик.

Твердов, заметивший Юрьевского и почувствовавший на себе его взгляд, невольно задрожал. Его сердце тревожно забилося; он понял, что этот человек идет к нему.

В двух шагах от Николая Васильевича Юрьевский остановился, как бы в изумлении огляделся кругом, взглянул зачем-то на пото-

лок, потом на гроб с телом Гардина, вздрогнул, еще раз устремил взгляд на Твердова и затем повернул к выходу. Через мгновение его уже не было в часовне.

– Опомнился! – пронесся тихий шепот.

Все, бывшие свидетелями этой непонятной сцены, вздохнули с облегчением. Прерванная панихида продолжалась.

VI

Седьмой жених

Прошло две недели после описанных выше событий. Несчастливого Гардина похоронили, и все стало входить в обычную колею. Так уже устроено человечество. Ужас – только тогда и ужас, когда он перед глазами, когда же исчезает его непосредственное впечатление, – то мало-помалу испаряется даже и память о нем. Так было и в этом случае. Не то чтобы была забыта трагическая кончина несчастного Евгения Степановича, нет, никто в семье Пастиных без слез не мог вспомнить о нем, но не так остра была горечь утраты. Вера Петровна примирилась со своей участью.

Она носила траур по покойному супругу, называла себя не иначе как Гардиной, но все-таки молодость брала свое. Она теперь и плакать стала реже, а иногда, как луч солнца после грозовой тучи, на ее лице появлялась улыбка.

Да и в самом деле несчастный Евгений Степанович не мог быть так близок, чтобы память о нем была для нее святыней. Ведь как бы страстно и пылко ни любили друг друга мужчина и женщина, прочная связь, неразрывные цепи Гименея сковывают их не в момент брачного обряда, а долгое время спустя. Иногда нужны целые годы, чтобы супруги перестали быть чужими друг другу, сжились, свыклись и стали действительно одним существом в двух, казалось бы, независимых одна от другой особах. До того же времени хотя и царят между ними с виду незыблемые и мир, и любовь, и блаженство, на самом деле они еще чужды друг другу: нет ни общих интересов, ни привычек, ни вкусов.

Вера Петровна любила, или – вернее – думала, была убеждена, что любит Евгения Степановича, и это чувство жило в ее душе, пока

любимый человек был рядом, перед ее глазами. Но недаром говорят: «С глаз долой, из сердца вон». Да были и другие обстоятельства, содействовавшие этому.

«Спящий в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий!» А как же не пользоваться жизнью молодому, только начинающему жить существу? Ведь в годы юности жизнь так хороша, так отрадна, так привлекательна. Много она сулит неведомого, светлого счастья, дивных радостей, и вряд ли у кого хватило бы духа отказаться от них.

А Вера Петровна была молода. Жизнь улыбалась ей и манила в свою привлекательную даль. Жажда личного счастья захватила ее. Вере хотелось жить, любить и быть любимой.

Все печальные случаи ее короткого прошлого только распаляли в ней жажду счастья и любви и не вызывали ропота на свою судьбу лишь потому, что Вера Петровна, по своей молодости, не умела разобраться ни в своих чувствах, ни в ощущениях.

Когда она в девятый день была на могиле Евгения Степановича, к ней подошел Твердов. Николая Васильевича она знала мало,

больше понаслышке, но все-таки заметила его еще тогда, когда была невестой Гардина, и тогда уже невольно сравнивала со своим нареченным. Евгений Степанович был добрый, простой, наивный, как дитя, но вместе с тем мало развит, почти необразован. Твердов совершенно напротив. Был ли он добр, Вера Петровна не знала, но его нравственное превосходство сразу бросалось в глаза. Твердов отличался хорошими манерами и разносторонним образованием. Путешествия и пребывание за границей расширили его кругозор. Поэтому он невольно обращал на себя внимание в обществе, к которому принадлежали и Пастины с дочерью и покойный Гардин.

А тут Вера Петровна узнала о пари, заключенном Твердовым и Филипповым. Весть об этом разнеслась быстро. Когда хоронили Гардина, — то среди провожавших его только и было разговора что о выходке Николая Васильевича. Весть о пари, переходя из уст в уста, дошла и до Веры Петровны. Та сначала обиделась. И так она, и ее судьба возбуждали толки, а тут еще это пари надолго делало ее притчей во языцех. Но обида скоро прошла.

Молодой вдовушке показалось даже лестным, что находятся люди, которые ради нее не жадеют жизни, идут наперекор судьбе, смело бросая ей вызов.

Смелость всегда действует на женщин обязательно, если же при этом смельчак молод и недурен собой, – то, какое женское сердце не забьется при мысли о нем сильнее. Так и рассердившаяся было на Твердова Вера Петровна очень скоро сменила гнев на милость. Она стала охотно прислушиваться к доходившим до нее рассказам о пари, сама издалека начала спрашивать о нем и его жизни и всегда краснела, когда подмечали ее появившийся к этому человеку интерес.

Твердов действовал тонко и умело. Ему нужно было создать в глазах молодой вдовушки ореол героя, рыцаря, вступившего из-за красавицы в борьбу с драконом, и он выжидал, когда слух о его пари дойдет до Веры Петровны, заинтересует ее и заставит мечтать о неожиданно появившемся «рыцаре».

Все это время он только один раз был у Пастиных – на другой день после панихиды, и то лишь с официальным визитом. В качестве

шафера несчастного Евгения Степановича он явился к его молодой вдове, высказал ей глубокое соболезнование, при этом говорил так душевно-ласково, что Вера Петровна, тогда еще ничего не знавшая о пари, была искренне тронута.

После этого визита Твердов не показывался на глаза молодой вдовушке и даже на поминальном обеде после погребения Гардина сумел так стусеваться, что Вера Петровна не увидела его, хотя и отыскивала глазами среди собравшихся.

Николай Васильевич был прекрасно осведомлен обо всем, что происходило в семье Пастиных. У Савчука оказался там большой «благоприятель» и даже «кум». Еще до несчастья с Гардиным, как рассказывал Николаю Васильевичу Савчук, к Пастиным поступил на место кучера, дворника, слуги – словом, на работу неопределенную, его земляк, Александр Пискарь. Он так поставил себя по отношению к Петру Матвеевичу и Анне Михайловне, что пользовался полным их доверием и был в качестве своего человека посвящен чуть ли не во все семейные дела.

Пискарь всеми своими новостями делился с Савчуком, а тот не замедливал передавать своему барину. Это значительно облегчало Николаю Васильевичу выполнение намеченного им плана. Зная о том, что происходит в семье Пастиных, что говорят там, как относится к нему Вера Петровна, Твердов мог действовать так, как находил для себя более удобным и скорее приближающим его к цели.

Действовал же он, по-видимому, совершенно самостоятельно. По крайней мере, Кобылкин все это время даже на глаза ему не показывался, и в последний раз Николай Васильевич видел его на панихиде в больничной часовне.

На девятый день после кончины Евгения Степановича Твердов поехал на кладбище с решительным намерением начать действовать. Ему хотелось поскорее покончить со всем этим делом, в которое он так неожиданно впутался, и уехать куда-нибудь подальше, но бросить все, не доведя до конца, он теперь ни за что не решился бы. Помимо того, что ему самому хотелось узнать истинные причи-

ны всех «случайностей», происшедших с женихами Веры Петровны, что игра со смертью казалась ему привлекательной, он видел, что приятели уже начали подтрунивать над ним, замечая, что он ничего не предпринимает для выполнения своего пари.

– Сболтнул ты, Николая! – добродушно хлопывая его по плечу, говорил Филиппов. – Ну, да ничего! Я очень рад, что ты одумался... Нам всем было бы прискорбно знать, что мы – виновники твоего несчастья.

Твердов отмалчивался, но эти добродушные замечания действовали на него как шпоры на кавалерийского коня. Только из-за них одних он ни за что на свете не отказался бы от своего фиктивного – Твердов был уверен, что оно именно таким и будет – сватовства к дочери Рагуила.

После панихиды на кладбище он подошел к Вере Петровне и заговорил с нею, делая вид, что не замечает ее смущения. Разговор начался с самых обыденных вещей и с виду не имел никакого значения, но в нем было уже то знаменательно, что имя Евгения Степановича ни разу не упомянулось молодыми

людьми.

Ближе к делу помог перейти старик Пастин.

– Что не видать-то тебя, спорщик заграничный? – сказал он Николаю Васильевичу, когда после панихиды они шли к кладбищенским воротам.

Петр Матвеевич дружил еще с покойным отцом Твердова, самого Николая Васильевича видел в колыбели и относился к нему не как к взрослому молодому человеку, а как только встающему на ноги подростку.

Твердов привык к такому обращению старика и любил, когда тот заговаривал именно таким тоном.

– Какой, Петр Матвеевич, спорщик? – улыбаясь, спросил он и взглянул на Веру Петровну.

Та густо покраснела и потупилась.

– Да уж слышал я какой! – по-прежнему добродушно ответил старик. – Слухом-то земля полнится. Ишь ведь какой Бова-королевич выискался!

– Полноте, какой там Бова-королевич!

– Ну-ну! Вот, видишь ты, хотел было я тебя

звать к себе, а теперь не позову, из-за этого самого заклада вашего не позову... Какое дело выдумал!

– Какое же, Петр Матвеевич?

– А разве хорошо честную мужнюю вдову так порочить? Смеются ведь. Позови я тебя – сейчас толк пойдет – вишь, накинулась... Нет, ты там как хочешь, сердись не сердись, а звать тебя я не буду!

– И не зовите, Петр Матвеевич, сам приеду.

– А возьму да не приму, велю сказать: «Дома нет».

– А я все-таки приду. Вас дома нет – Анна Михайловна дома, Анны Михайловны нет – Вера Петровна... Так, Вера Петровна? Вы не скажете, что вас дома нет, если я приду?

– Если меня и в самом деле не будет... – заикнулась та.

– Нет, нет! Если вас дома не будет, конечно, что же и говорить? А вот если вы дома будете?

Говоря так, Николай Васильевич смеющимися глазами взглянул на молоденькую вдовушку.

Та опять покраснела, смутилась больше

прежнего и пробормотала:

– Дома – милости просим.

– Ну, вот видите, Петр Матвеевич! – весело воскликнул Твердов. – Вера-то Петровна добрее вас. Смотрите же, Вера Петровна, я скоро приеду, да не с визитом, а запросто...

За этими разговорами они не заметили, как вышли за ворота кладбища, где Пастиных ждал экипаж.

Тут они распрощались. Петр Матвеевич с дочерью уехал домой, Твердов же сел на первого попавшегося извозчика и отправился в ресторан завтракать.

«А девочка-то в самом деле миленькая, – размышлял он. – Как к ней этот румянец идет! Вспыхнет, словно заря на небе... пожалуй, и хорошо я делаю, выступая в роли Товия при этой дочери Рагуила... Только что-то будет из всего этого?.. Нужно скорее и смелее идти к цели. Ха-ха-ха! – рассмеялся он про себя. – Седьмым женихом выступаю... Седьмым! Что-то суждено? “Со святыми упокой” или Ис-айево ликование? Та-та-та... Первое-то еще возможно, а от второго – унеси ты мое горе за гороховое поле... А девочка все-таки милень-

кая!»

Он на минуту зажмурил глаза, стараясь вызвать в своем воображении образ Веры Петровны, и даже улыбнулся, когда воображение нарисовало ему ее, смущенную, потупившуюся, раскрасневшуюся.

– Да, скорее, скорее разделаться со всем этим, – прошептал Николай Васильевич, открывая глаза, – а то и в самом деле как бы не быть бычку на веревочке...

Домой он вернулся под сумерки.

Савчук встретил его с загадочной улыбкой.

– Чего ты, Василий? – спросил Твердов.

– Так, ничего, Николай Васильевич, – было ответом, – кум был... Пискарь... так рассказывал...

– Что рассказывал?

– Жениться задумали вы как будто, Николай Васильевич, и вскружили же вы всем голову этим своим пари с господином Филипповым! Пискарь сегодня с кладбища, где и вы быть изволили, Петра Матвеевича вез с дочкой, так они промеж себя разговор имели и вас, как бы жениха, вспоминали... Кум-то слышал и рассказывал...

«Знаю я, какой он тебе кум», – подумал Твердов и сказал:

– Ну, что же они такое говорили?

– Да многое. Сперва Петр Матвеевич как будто сердиться изволили на вас, что ославили вы, дескать, честную вдову, а Вера Петровна все вас защищала. Потом Петр Матвеевич и говорит, что ежели вы с честными намерениями, так он не прочь будет отдать за вас дочку. А сама Вера Петровна все отнекивалась. «Не пойду, – говорит, – потому что смертное несчастье всем женихам принесла, а этот – вы, стало быть, – такой добрый, хороший, милый, что не могу его под такую неприятность, как конец земной жизни, подводить». Тут Петр Матвеевич и говорит: «Да, может быть, на сей раз все хорошо будет», – а Вера Петровна ему в ответ: «Шестеро померли, и седьмому, видимо, злосчастной участи не миновать». А Петр Матвеевич долго-долго все говорил про вас: «Не прочь, дескать, я его своим зятем взять». Господин вы хороший, ласковый и не без капитала. Вера Петровна ни в чем батюшке не перечила и даже поддакивала ему. Так, говоря только про вас одно-

го, до самого дома доехали. Тут Петр Матвеевич говорит: «Посмотрим, может быть, ничего и не выйдет еще. Набрехал парень с пьяных глаз, – это про вас он так-с, простите за выражение, – а теперь очухался, и в кусты. А если Твердов приедет и твоей руки, Верочка, просить будет, так с моей стороны отказа ему не будет, ты же в таком твоём деле как там сама желаешь».

– А Вера Петровна что?

– А та – известно, дело девичье, – то есть что я, тьфу, вдове, – раскраснелась, что маков цвет и отвечает: «Я, батюшка, из вашей воли не выходила никогда и не выйду».

– Ха-ха-ха! – искренне рассмеялся Твердов. – Седьмой жених!.. Не думал, не гадал – женихом стал! А ты что, Василий, думаешь про все это?

– Что же, Николай Васильевич, дело доброе. Женитесь, с Богом. Женитьба каждому человеку предопределена.

– А шесть-то женихов, что на тот свет отправились?

– Что же из того, Николай Васильевич? Изволите знать пословицу: «Суженого и конем

не объедешь»? Так почему вы знать можете, может быть, вы и есть суженый Веры Петровны? Может быть, судьба ее вам приберегала, а другие совались, куда им не следовало.

– Ого, Савчук, да ты – фаталист! – смеясь, воскликнул Николай Васильевич.

– Есть малость, – ответил тот и тоже чему-то засмеялся.

«Что же, ввязался в такое дело, надо кончать его так или иначе, – подумал Твердов. – Жалко будет разочаровывать девочку. Ведь придется же в конце концов сказать ей, что все это сватовство было затеяно только для того, чтобы освободить ее от таинственного “изгнанника Неба и земли”, как говорит почтеннейший русский Лекок; но если это удастся, так пусть она этим довольствуется, а я ей в остальном не слуга. Роль Товия еще туда-сюда, но только не с последствиями. Мне моя свобода дороже».

Николай Васильевич думал так, а какой-то таинственный голос шептал ему: «А девочка-то недурна! Как бы не быть бычку на веревочке!»

Савчук между тем совершенно верно пере-

дал Николаю Васильевичу суть разговора, происходившего между Петром Матвеевичем и Верой Петровной по дороге домой. Пастин все-таки не отказывался от мысли видеть дочь замужем. В глубине своей простой души он тоже был уверен в том, что суженого конем не объедешь, и тоже думал, что судьба сберегает его дочь именно для какого-то, пока еще неизвестного, суженого. Явится он – и судьба прекратит всякие гонения. Да и то сказать, старик видел, что удары судьбы падают не на его любимицу, а на других людей. Мало того, несколько раз он ловил себя на мысли, которую считал для себя недостойной. Из всех женихов Веры Петровны наиболее симпатичным для Петра Матвеевича был третий – Середин. О двух первых он вовсе не думал. Антонов был груб, дерзок, корыстолюбив, и Вера Петровна вряд ли была бы с ним счастлива. Предшественник Гардина был заносчив, смотрел на Пастиных как на людей, которым он делает величайшее одолжение своим сватовством, а это оскорбляло гордость старика. Кроме того, для него было ясно, что этот жених так же, как и Антонов, метил

лишь на приданое, Вера же Петровна отходила на последний план. Наконец, Евгений Степанович казался Пастину слишком уж мямлей, как называл его старик. В супружестве с такими людьми женщины тоже имеют мало шансов быть счастливыми. И вот все эти так или иначе нежелательные претенденты на руку Веры Петровны были устранены самой судьбой. Явился Твердов. Помимо того, что Петр Матвеевич знал его с детства, у него не могло быть никаких побуждений, подобных тем, какие были у его предшественников. По рождению он был ровнею Пастиным, по капиталу – значительно богаче их. Одно не нравилось Петру Матвеевичу: слишком уж оригинальная причина вызвала в Твердове намерение посвататься к Вере Петровне – пари. Как-никак Петр Матвеевич был человеком старого склада и легкого отношения к такому великому делу, как брак, не признавал. Но и с пари он примирился.

Пастин почему-то был уверен, что предложение со стороны Николая Васильевича последует непременно, и стало быть, необходимо будет дать тот или иной ответ. В реше-

тельном ответе со своей стороны Петр Матвеевич не считал себя вольным. Вера была единственной наследницей своего крестного отца, и каждый раз, как только возбуждался вопрос о ее замужестве, Петр Матвеевич отправлялся к Юрьевскому и спрашивал его совета.

Иван Афанасьевич всегда был против замужества крестницы. Это удивляло Пастина, он допытывался о причинах этого сопротивления, но Юрьевский в ответ начинал нести такую околесицу, что Петр Матвеевич не мог найти в ней ни капли здравого смысла.

Впрочем, Юрьевский только раз высказался категорически против. Это было еще с первым женихом.

– Да помилуй, Иван Афанасьевич! – протестовал против упорства Юрьевского Пастин. – Не в солку же мне, в самом деле, девку отдавать? Затем и растил, и холил, и лелеял, чтобы вышла Вера замуж, своим домком обзавелась, а мне со старухой на старости лет внучат принесла... В монастырь ее, что ли?

– Пусть идет в монастырь! – упорствовал Юрьевский.

– А зачем? Да и сама она не пойдет... Девушке жить хочется, а ты – в монастырь! Там и без нее есть, кому спастись да грехи отмаживать.

– Пусть при тебе живет.

– В девичестве?

– Да.

– Нет, ты это оставь! Хуже во сто раз будет. Да разве за теперешним народом углядишь? Уж и не знаю я, кто за такой товар, как дочь, поручится: живо испортится, и только позор на семью падет. Да и то сказать: разве теперь прежние времена? Теперь родителей дети в грош не ставят. Запрети-ка ты ей, поди! Что же, думаешь, не сбежит? С первым встречным сбежит. Так уже лучше как следует, с родительского благословения, честные венцы принять, чем по-нынешнему путаться. Как ты там хочешь, Иван Афанасьевич, в своих капиталах ты волен, лишай крестницу наследства или не лишай, а я Веру все-таки замуж отдам, потому что иначе сбежит.

Юрьевский молчал. Ни слова не добился от него Петр Матвеевич. Так без его согласия и была объявлена Вера Петровна невестой.

Он даже и на сговоре не был, а до свадьбы так же, как и в четырех последующих случаях, не дошло. Впрочем, интересы Веры Петровны не пострадали – Юрьевский составил завещание в ее пользу, а сам стал еще мрачнее и угрюмее, чем до первого сватанья крестницы.

Каждый раз, как только являлся жених, Пастин отпраивлялся к куму и просил его согласия, но каждый раз все кончалось одним и тем же. Юрьевский ни слова не говорил ему, так что поездки Петра Матвеевича приняли формальный характер и походили скорее на извещение о предстоящей свадьбе.

И в этот раз Петр Матвеевич ничего не добился от Юрьевского. Тот выслушал его, не сказал ни слова, а затем дал понять, что желает остаться один.

Старик вернулся домой ни с чем, впрочем, он в этом не сомневался, да и само дело было не слажено, даже, собственно говоря, еще и не начиналось.

Зато Николаю Васильевичу вскоре после посещения Пастиным кума был нанесен визит, которого он и ожидать не мог. К нему явился не кто иной, как сам Иван Афанасье-

вич Юрьевский.

Николай Васильевич был дома и даже еще, лежал в постели, когда к нему в спальню вошел Савчук и каким-то особенным тоном доложил:

– Вас спрашивает крестный отец вашей нареченной.

– Какой нареченной? – не понял Твердов.

– Виноват, простите... Вас спрашивает господин Юрьевский, крестный отец Веры Петровны.

Твердов вздрогнул – этого визита он и ожидать не мог, потому что с Юрьевским даже знаком не был.

– Я его совершенно не знаю, – сказал он. – Что ему нужно от меня?

В душе Твердова еще не изгладилось-то неприятное впечатление, которое произвел на него Юрьевский на свадьбе несчастного Гардина. Это впечатление еще более усилилось дикою выходкой Ивана Афанасьевича во время панихиды. Твердов был уверен, что Юрьевский шел прямо на него и свернул к выходу, только опомнившись и сообразив, что в присутствии людей вряд ли уместны по-

добные выходки.

– Скажи, Василий, что меня нет дома, – произнес он.

– Примите, Николай Васильевич, – проговорил Савчук.

Твердов взглянул на камердинера, тот смотрел на него, словно желал внушить ему, что не принять Юрьевского нельзя.

– Разве это необходимо? – спросил Твердов, забыв, что перед ним стоит слуга.

– Очень, – тихо ответил Савчук.

– Тогда проси. А я оденусь и выйду.

Теперь Твердовым овладело любопытство. Что мог значить столь ранний визит этого страшного и, как казалось, ненормального человека? Вместе с тем он догадывался, что и Юрьевский неспроста явился, и Савчук неспроста не только просил, а в силу известных отношений требовал, чтобы ранний гость был принят.

Наскоро одевшись, Николай Васильевич вышел в гостиную.

Юрьевский тяжело поднялся при его появлении и назвал себя.

– Мы уже отчасти знакомы: ведь я был ша-

фером Гардина на его свадьбе, – ответил, также назвав себя, Твердов. – Прошу садиться. Чем могу служить?

– Я пришел к вам по весьма щекотливому делу, – начал Юрьевский, – по поводу моей крестницы.

– По поводу Веры Петровны?

– Да... Надеюсь, что нас не подслушивают?

– Не думаю... Мы одни... В чем же дело?

Мне кажется, что я к Вере Петровне никакого отношения пока не имею, и, признаюсь, ваши слова для меня странны.

– Да, да, действительно странны... Все, я знаю это, считают меня сумасшедшим, все только и видят мои странности... только странности, только безумие, и больше ничего...

– Позвольте, Иван Афанасьевич, вы сказали, что желаете говорить по поводу Веры Петровны? Так и будем говорить на эту тему... Я, право, не знаю, что говорят о вас, да мне до этого вовсе нет дела... Я слушаю.

Юрьевский несколько мгновений молчал.

– Вы в самом деле хотите жениться на моей крестнице? – он поднял голову и в упор по-

смотрел на Твердова.

– Я никого не посвящал в свои намерения.

– Однако я знаю из вполне достоверного источника, что такие ваши намерения существуют.

– Может быть.

– И вы намерены осуществить их?

– Это – мое, одного меня касающееся дело.

– Не спорю, но обращаюсь к вам, как к несомненно разумному человеку: откажитесь от этой мысли.

– Почему?

– Мне жалко вас, – сказал Юрьевский, замедлившись.

– Очень вам благодарен, но...

– Я знаю, что вы хотите сказать: что вы ни в чьей жалости не нуждаетесь. Так ведь? Но это – другой вопрос. И я уверен в том же. Только все-таки мне жалко вас.

– Но чем же вызвана эта жалость?

– Как чем? Вы так молоды, жизнерадостны, у вас впереди целая жизнь, и вдруг вместо этого саван, гроб, могила... Разве это не ужасно? Разве это не страшит вас?

– Но позвольте, мне кажется, вы, господин

Юрьевский, противоречите сами себе, говорите совершенно иное, чем думаете. Ну разве не вы незадолго до смерти Жени Гардина уверяли его во всех прелестях небытия, нирваны?

– Как! Вы слышали? – вскрикнул Юрьевский.

– Нет, не слышал, но покойный Евгений говорил мне. Он передал мне свой разговор с вами за тем столиком, в отдалении, где вы пили с ним шампанское. К сожалению, Евгений не понимал, что значит слово «нирвана», иначе он не был бы так спокоен после этого разговора. Но что с вами, милейший? Я вижу, вам не по себе. Не прикажете ли воды? Я сейчас распоряджусь!

– Нет, не нужно, ничего не нужно, – задыхаясь, ответил Юрьевский. Он был бледен, но спокоен. – Я действительно говорил этому несчастному о нирване, но разве не имел я на это права? Разве судьба его предшественников не давала этого права?

– Вы полагаете – судьба? – сам не зная, зачем сделал Твердов ударение на последнем слове.

– Да, да, судьба! – закричал Юрьевский. –

Только судьба, и ни что иное. Никто ничего сказать не может. Судьба – и только.

– Пусть будет судьба, если вам это угодно, судьба так судьба, но, конечно, до поры до времени, – улыбнулся Твердов. – Однако мы отвлеклись от нашей первоначальной темы. Какое же отношение имеет ваш визит к моим матримониальным намерениям?

– Да вы-то сами разве не видите, не замечаете, что происходит? Ведь эти люди погибли ни за что ни про что. Вся их вина лишь в том, что они осмелились...

– Приблизиться к повелительнице вашего царства, как вы изволили называть Веру Петровну в своей застольной речи? – перебил его Твердов.

– Как я называю ее, и что она для меня – это мое дело! – ответил Юрьевский. – Но вы-то, умоляю вас, откажитесь от своих видов на нее... Слышите, я, старик, умоляю вас! Денег вам нужно – я дам, сколько хотите... Впрочем, что это я? Ха-ха-ха! – вдруг переменял тон и злобно засмеялся Юрьевский. – Да не все ли равно теперь?.. Ха-ха-ха!

Твердов с удивлением смотрел на него.

Перед ним был совсем другой человек. Юрьевский поднялся и стоял, выпрямившись во весь рост. Его крупная фигура словно еще больше выросла, раздалась. Нервно подергивавшиеся губы, бесцветные глаза с бессмысленно-диким взглядом теперь изобличали в нем ненормального человека. В его хохоте слышалось что-то дьявольское. Твердову стало не по себе. Он припомнил сцену в часовне: теперь Юрьевский был такой же, каким он видел его тогда.

– Нирвана... небытие... стремитесь к нему! – почти выкрикивал Иван Афанасьевич. – Спешите погрузиться в него!.. Неизбежное неизбежно. Блажен, кто может. Жребий брошен. Так нужно... нужно... Я не виноват. Я ни при чем. Да свершится! Прочь с дороги! – крикнул Юрьевский Николаю Васильевичу, хотя тот вовсе не преграждал ему путь, а, встав с кресла, стоял в стороне.

С этим последним окликом Юрьевский словно ослабел, как-то странно сторбился и, не глядя на Твердова, неуверенной походкой направился к двери.

– Господин Юрьевский! – окликнул его Ни-

колай Васильевич, когда странный гость был уже у порога.

Тот остановился, но не оглянулся, а продолжал стоять, понутив голову.

– Вот что я вам скажу, – продолжал Твердов. – Люди-то, пожалуй, и правы. Вам не мешает полечиться, а то ваше дело совсем плохо. Впрочем, это меня не касается. Говорю так только, чтобы расквитаться с вами в чувствах. Вы меня жалеете, а я – вас, стало быть, мы квиты. На этом и покончим. Крестнице же вашей я предложения не делал и ничего ей ни о каких своих чувствах не говорил. А теперь, после нашего разговора, непременно сделаю предложение. Слышите, господин Юрьевский, непременно сделаю и все свои намерения осуществлю. Берегите же царицу своего царства. Объявляю вам, что я похищу ее у вас!

Какое-то рычание раздалось от двери. Юрьевский обернулся, выпрямился, потом пригнулся, как будто для того, чтобы кинуться на Твердова. Его глаза готовы были выскокить из орбит, на губах показалась пена, лицо от прилива крови потемнело.

Николай Васильевич при взгляде на этого бешеного зверя в человеческом образе невольно задрожал.

«А что, если и в самом деле бросится? – мелькнула у него мысль. – Мы одни, убьет!»

Юрьевский, по всей вероятности, действительно кинулся бы на Твердова, но в это мгновение словно из-под земли вырос Савчук.

– Шапочку пожалуйста, ваше степенство, – заговорил он, становясь между Иваном Афанасьевичем и Твердовым. – А вашу шинель я в передней подам.

Неожиданное появление нового лица привело Юрьевского в себя. Он так же, как и тогда, в часовне, встрепенулся, обвел изумленным взглядом комнату, потом схватил из рук Савчука шапку и выскочил из гостиной.

VII

НОВЫЙ ТОВИЙ

Твердов после ухода Юрьевского скорее остался в недоумении, чем был испуган. Однако намерение Ивана Афанасьевича перейти от слов к действиям было столь очевидно, что Николай Васильевич не сразу оправился.

– Маньяк... Сумасшедший, – пробормотал он.

Савчук, спокойный, улыбающийся, был уже около него.

– Сумасшедший-то он – точно, – заговорил он, – а только ох как иногда бывает опасен для нормальных людей их брат... И не потому опасен, что вред какой причинит, – нет. Это бы еще туда-сюда, а вот хитры очень эти господа. Иной так здоровым притвориться сумеет, что больным его никто и не считает, а он потихоньку свои идеи в исполнение приводит.

– А этот несчастный, как на ваш взгляд? – спросил Твердов, переходя с Савчуком на

«вы», словно забыв об их официальных отношениях.

– Кто его знает? – отозвался тот. – Дело тут темное, докторского свидетельства нет, а без этого и судить нельзя. Но так, ни с того ни с сего, тронуть его нельзя. Человек видный, миллионер. Да и причин на-то нет никаких.

– Но вот эти сцены, угрозы?

– Что ж такого. От слов до дела куда как далеко... Ах, да что же это я? – спохватился вдруг он. – Чего это я язык-то распустил?.. Одеваться прикажете? Идете куда или дома будете?

– Иду! – подумав, решительно произнес Твердов. – Так правду вам этот ваш кум, что у Пастиных служит, говорил?

– Пискарь-то? Это о чем же?

– Да что вы? – махнул рукой Николай Васильевич. – Пора эти прятки бросить. Ведь Кобылкин был у меня, и я действую по уговору с ним, так что нам нечего и прятаться.

– Не знаю-с, Николай Васильевич, о чем вы говорить изволите, – твердо ответил Савчук, – о каких прятках и каком таком Кобылкине, а Пискарю я доверяю – он не мог мне лгать или

какую-нибудь там сплетню передавать, не такой он человек.

– Ну, хорошо! Так вот вы и передайте своему, не знаю, как назвать, начальнику, набольшему, что я сейчас же еду сделать предложение этой вдовушке. Говорю я это, предупреждая, чтобы вы и ваши были настороже с этого момента. Я не боюсь за свою жизнь. Теперь я сам хочу, чтобы тайна была раскрыта, и чем скорее, тем лучше. Достаточно было всякой тьмы, необходимо пролить свет на всю эту загадочную историю. Я догадываюсь, что у вашего Кобылкина уже есть в руках нить, по которой он доберется до клубка. Так вот пусть добирается. Чем скорее, тем лучше; мои нервы напряжены, я чувствую, что долго не выдержу, в особенности если будут повторяться вот такие сцены... Слышите, господин Савчук? Передайте же мои слова Кобылкину.

– Слушаю-с, – тихо проговорил Савчук, – будет исполнено, Николай Васильевич.

– И прекрасно... стало быть, скоро конец!

Твердов рассмеялся и тихо запел песенку Гренише из «Корневильских колоколов»:

– «Пльиви, мой челн, по воле волн, куда

судьба влечет тебя!»

Явившись вскоре после этого к Пастиным, он застал там переполох. Глаза Веры Петровны были красны от слез. Петр Матвеевич и Анна Михайловна ходили растерянные.

– Нехорошо, сударь мой! – негодующим тоном встретил его Пастин. – Так плохо, что и не знаю, чем объяснить такое поведение!

– Петр Матвеевич! – воскликнул удивленный Твердов. – Да что с вами? Что случилось?

– А-то, сударь: какие мы ни есть, а все-таки с твоим покойным родителем дружбу водили. За что же порочить честную купеческую семью?

– Вы это про меня? Да? Ничего не понимаю! Ради бога, объясните, в чем дело... Никакой вины не чувствую...

– А ты что сегодня Верочкиному крестному говорил? – переменял старик тон на более милостивый.

– Ах, вот кто тут замешался! – воскликнул Твердов.

– Да, вот кто! Мало того, что по кабакам честное имя треплется, так еще близким родственникам насмешки всякие строить... Те-

бе-то что? Поговорил языком, почесал его о зубы, да и в сторону. А тут Иван Афанасьевич пришел, так и пышет. «Позор, – говорит, – для всех позор, для всей семьи позор...» Грозит, что наследства лишит... А с него станется.

– И все это из-за меня?

– За язык твой!

– В таком случае, Петр Матвеевич, я должен буду просить вас об одном, – решительно сказал Твердов. – Я – не миллионер, но все-таки средства мои более чем приличные. И я во все не желаю, чтобы Вера Петровна теряла что-нибудь из-за меня. Все, что я говорил, как вы выражаетесь «в кабаке», я говорил обдуманно. Я твердо решил, прежде чем обмолвиться хоть одним словом, просить у вас руки вашей дочери, и если не сделал этого, – то лишь потому, что не считал до поры до времени удобным такое предложение. Но теперь господин Юрьевский, который был у меня и разыграл странную сцену, а затем ваши слова заставляют меня сказать вам сейчас же о своих намерениях, которые, как вы сами изволите видеть, честны и благородны, и затем с вашего согласия, если оно последует, повторить

мое предложение Вере Петровне.

– И ты это всерьез? – спросил Пастин, посмотрев на Твердова.

– Как нельзя более. Я все обдумал раньше.

– И не боишься?

– Чего?

– Да вот... Ну, шестеро впереди...

– Вот вы о чем! – улыбнулся Твердов. – Ну, чего же тут бояться? Знаете пословицу: «Двум смертям не бывать, одной не миновать». Я же не из трусливых, да притом еще фаталист по убеждению... Что вы мне ответите?

Петр Матвеевич задумался.

– Не знаю... По правде скажу я тебе – не осуди только старика за откровенность – был у меня с дочерью о тебе как-то тут разговор...

«Пискарь!» – подумал Твердов и спросил:

– И какие же результаты?

– А вот какие: ежели ты и в самом деле не боишься, ежели ты и в самом деле говоришь все это не затем только, чтобы кабацкий заклад взять, так вот тебе моя рука. А если смеешься над стариком да над бедной девочкой, Господь тебе судья! Вот что я тебе скажу.

– Очень рад! – весело сказал Твердов. – По

рукам? Да? А Юрьевский?

– Бог с ним! – махнул рукою Пастин. – Хоть бы век его не знать. Всю душу измочалил... Дикий мужчина!

– Тогда позвольте мне поговорить с Верой Петровной?

– Говори, твое дело... Вера, Верочка!

Вероятно, Вера Петровна слышала кое-что из их разговора, который они вели довольно громко, по крайней мере, на зов отца она явилась смущенная, покрасневшая и такая хорошенькая в этом своем смущении, что Николай Васильевич невольно залюбовался.

«Прелесть девочка! – подумал он. – Жаль будет, пожалуй, разорвать с нею, когда вся эта катавасия кончится».

– Вот, Вера, тут Николай Васильевич слово к тебе имеет, – сказал Петр Матвеевич, – поговори-ка с ним, а я к матери пройду. Будь внимательна, ты теперь сама над собой наболевшая, я твоей воли с тебя не снимаю. Разговор тебя касаться будет, так ты и держи свою линию.

Он вышел, молодые люди остались одни...

В первые мгновения они смущенно молча-

ли. Твердов, расхрабренный было, не знал, с чего начать свои объяснения. В его голове крутилась ядовитая мысль, что перед ним «дочь Рагуила», приближение к которой стоило уже шести жизней. Невольно ему припомнился умирающий Гардин, затем промелькнуло воспоминание о Юрьевском и диких угрозах этого человека. Однако последнее повлияло на Николая Васильевича решающим образом, он встряхнулся, на губах у него заиграла улыбка, и он заговорил спокойным, даже веселым тоном:

– В малом, Вера Петровна, мне нужно сказать многое. Как будто и не время для такого разговора, да чем скорее мы решим этот вопрос, тем лучше для нас обоих. Не так ли? Если так, минуту вашего внимания – и все разрешится. Э, да к чему все эти длинные предисловия! Я без букета, Вера Петровна, и даже в сюртуке, но тем не менее пришел просить вашей руки... прямо, просто, скоро: хотите быть моей женой?

Вера Петровна, до того сидевшая с потупленными глазами, взглянула на Твердова.

– Вы смеетесь, Николай Васильевич? – ска-

зала она.

– Почему?

– Вы сами знаете...

– Опять! Гардин, Середин, Антонов и кто еще? Ну, все равно... Вы про это? Оставьте, их нет, а вы существуете... Что скажете?

– Я ничего не могу сказать... вспомните, как меня окрестили и в газетах, и везде...

– Дочь Ругуила? Ну, что же? Если вы – исполняющая роль ветхозаветной девицы, – то почему мне не выступить в роли Товия? Он разрушил чары и, как вам известно, заставил виновника всех несчастных супружеств Ругуиловой дочери убраться за тридевять земель в Экбатану. Ну, вот и мне, может быть, – то же удастся. Что скажете?

– Нет, нет, Николай Васильевич, зачем вы все это? К чему это ваше предложение?.. Ведь я же знаю, чем оно вызвано. Неужели же я настолько презренна, что надо мною можно смеяться прямо мне в глаза? Ведь если бы не это легкомысленное пари, вы сейчас не были бы здесь.

– Вот и ошиблись, дорогая, очень ошиблись. Да что таить? Ведь, правда. Когда про-

изошло это несчастье на вашей свадьбе, я всю ночь думал о вашей участи и пришел к заключению, что во всем этом есть какая-то загадка. Тогда же я решил, что эту загадку нужно разгадать, и... – Твердов запнулся. Он вспомнил, что Кобылкин упрашивал его молчать о своих истинных намерениях, чтобы не повредить ходу задуманных действий. Поэтому он продолжил: – И я решил, что если все это было только случайностью, я останусь цел и невредим. Почему, вы спросите, я так решил? Да потому что я, по своему глубокому убеждению, верю в предопределение. Чему быть – того не миновать. Кому нужно сгореть, тот не утонет. Мне-то же убеждение или тайные голоса души, врожденный инстинкт подсказывали и подсказывают, что умереть мне суждено не скоро... Много лет я еще проживу на белом свете. Я же верю не только в предопределение, но и в предчувствие, глубоко верю, и вот решил испытать судьбу.

– И только? – с горькой улыбкой спросила Вера Петровна.

– Погодите! Это было сперва. Было – признаюсь, вы верно сказали – мое легкомыслен-

ное пари с Иваном Ивановичем, чувства же в то время не было никакого, простите мне эту откровенность. Я решил поиграть с судьбой – и только. Я ведь не спорил с Филипповым, что вы станете моей женой; я только утверждал, что найдется человек, который, зная все предшествующие обстоятельства, сделает вам предложение. От предложения до свадьбы дистанция огромного размера, всегда можно сделать предложение так, что отказ последует непременно. А я вот этого не хочу. Я много думал, анализировал свое чувство к вам и, наконец, пришел к искреннему убеждению, что не судьбу испытать я хочу, а хочу быть счастливым, и вы можете составить это мое счастье... Повторяю, я говорю все это после долгого размышления и теперь прошу вас ответить на мой вопрос: согласны ли вы стать моей женой?

Николай Васильевич приподнялся с кресла, в котором сидел, и устремил пытливый взор на Веру. Увлечшись ролью, он забыл о своих недавних намерениях сделать только предложение, а затем уклониться от прямого последствия. Он был вполне искренен. Вид

этой вдовы-девушки, угнетенной каким-то таинственным роком, возбудил в его сердце жалость, к тому же он был молод, а перед ним сидела хорошенькая особа, молодость же всегда и везде возьмет свое.

– Что же, Вера Петровна? – спросил он. – Я жду ответа.

Вера Петровна вспыхнула и потупилась.

– Не знаю, что и сказать вам, Николай Васильевич, – чуть слышно произнесла она. – За откровенность вашу большое спасибо, всегда лучше, если все начистоту выходит. А что сказать, что ответить, не знаю.

– Может быть, я не нравлюсь вам?

Вера Петровна потупилась еще более и не сказала ни слова.

– Может быть, – несколько повысил голос Твердое, – вы чувствуете, что не в состоянии полюбить меня?

– Я еще никого не любила, – слышался шепот Веры.

– Как? А Гардин?

– Он только нравился мне. Кроме того, я знала его с детства.

– А те... перед ним?

– Не знаю... Нет, нет!.. Бедный Середин мне нравился, но это был только сон... греза... Проснулась я – и ничего нет.

– А на мой вопрос что вы ответите?

– Не знаю...

Но лицо Веры Петровны выдавало, что она не откровенна; оно вместо нее дало ответ Николаю Васильевичу.

– Милая! Так, значит, я не противен тебе? – кинулся он к молодой женщине. – Ты можешь полюбить меня, ты любишь меня?.. Слово, одно слово! Хоть шепни! – Он схватил руки Гардиной и осыпал их поцелуями. – Что же, зачем ты молчишь? – страстно шептал он. – Ответ!

Он скорее угадал по движению губ, чем услышал, ответ Веры:

– Да!

Мгновение – Вера Петровна была в объятиях Твердова. Она не сопротивлялась, охваченная незнакомым чувством. Твердов был первым в ее жизни человеком, прикасавшимся к ней своим горячим, страстным поцелуем. Середин только промелькнул перед нею. Антонов, грубый, до цинизма откровенный и веч-

но нетрезвый, был ей противен; Гардин, друг детства, к которому она привыкла, как привыкает сестра к брату, не мог пробудить в ней чувство любви. Теперь около нее был молодой, красивый, смелый мужчина. Вера Петровна почувствовала, что теряет голову. Отдавшись внезапному порыву счастья и любви, она отвечала на поцелуи Твердова.

– Любишь? Моя? – шептал тот, едва дыша от волнения.

– Да, да! Твоя! Твоя! – также шепотом ответила Вера.

Вдруг в тот самый момент, когда Вера Петровна и Твердов готовы были забыть весь мир, в комнате раздался глухой истерический хохот.

Николай Васильевич вздрогнул и отшатнулся от Веры. Та тоже пришла в себя и со страхом огляделась.

В дверях гостиной стоял Юрьевский. Он ничего не говорил, но в его лице и диком взгляде было столько злобы, что Твердов невольно задрожал.

Эта сцена продолжалась не более мгновения. Затем Юрьевский вышел так же бесшумно.

но, как и появился.

– Милый, мне страшно! Я боюсь крестного! – прерывающимся голосом заговорила Вера.

Как ей было жаль только что пережитых мгновений любви и счастья! Так они были новы и в-то же время так коротки, что в сердечке молодой женщины вдруг вспыхнула злоба против человека, помешавшего ее счастью длиться без конца.

– Какой страшный мой крестный! – повторяла она. – Как он поглядел на нас!.. Я боюсь, боюсь...

– Разве я не с тобою теперь? – ответил Твердов. – С тобою на всю жизнь... Но, правда, он – ужасный человек. Он действует на нервы. Один его вид... Оставь, успокойся, поцелуй меня, и позовем отца и мать.

Вера Петровна прильнула к Твердову с новым поцелуем и тотчас же отпрянула. За дверьми слышались шаги Петра Матвеевича.

– Ну, что, поладили? – спросил старик, входя в гостиную и всматриваясь в молодых людей.

– Благословите нас, Петр Матвеевич! – решительно произнес Твердов, беря за руку Веру и подводя ее к отцу.

Тот опять посмотрел на них и улыбнулся.

– Скоренько же! – сказал он. – Ну, да что же? Это – уже ваше дело. Старуха-то как рада! «Достойный, – это она про тебя говорит, – молодой человек, не побоялся!» Анна Михайловна, мать, поди-ка сюда! – крикнул он жене.

Через четверть часа все они уже сидели в столовой. Жених и невеста поместились рядом, и пошел разговор о том, что будет дальше.

– Пока, дети, обо всем молчок! – произнес Петр Матвеевич. – Нечего раньше времени людей мучить.

– Я думаю, что обвенчаемся мы потихоньку, – заметил Твердов, – и сейчас же за границу.

– Так, так... Что же, и шести недель ждать не будете?

– А после чего?

– Да после... – и старик запнулся.

– Чего же ждать? – сказал Николай Васильевич. – Покойный Женя, в сущности, нико-

гда не был Вере мужем. Она – моя миленькая женка. Так, Верочка?

– Да, да, милый! – смотря на Твердова счастливыми глазами, ответила Вера, и взгляд ее ясно показывал, что если этому молодому человеку судьба готовит участь его предшественников, – то чувство к нему, память о мгновениях счастья никогда не исчезнут из этой маленькой головки, из этого бедного сердца, жаждавшего любви и только-только познавшего ее.

Николай Васильевич тоже был в каком-то упоении. Все, что было у него ранее, теперь казалось ему ничтожным, пошлым. Это молоденькое существо, так доверчиво ответившее на внезапно охвативший его порыв страсти, стало ему вдруг близким, бесконечно дорогим.

Он чувствовал, что его прямая обязанность защищать и оберегать эту женщину от всех бед и напастей. Николай Васильевич не вспоминал о своих недавних намерениях только сделать предложение, и не больше. Он забыл и о Кобылкине, и о Савчуке, и о Пискаре, но зато вдруг вспомнил о Юрьевском, и опять

невольная дрожь пробежала по его телу.

Вера Петровна как будто прочла его мысли.

– Папа, опять крестный был? – спросила она.

Петр Матвеевич махнул рукой.

– Просто не рад я ему, – сказал он, – кабы знал, никогда его в кумовья не позвал бы... Мудрит-мудрит! Хоть бы прямо говорил, что ему не по сердцу. Так нет, молчит.

– Зачем он был? – спросил Твердов.

– А кто его знает, полоумного? Утром тут был, – насчет тебя, Николай, набаламутил и ушел. Потом опять появился. «Вера, – спрашивает, – где?» – «В гостиной, – говорю, – серьезным делом занята». Он, ни слова не говоря, шасть к вам в гостиную, захохотал чего-то и ушел из дома. Хоть бы совсем никогда не приходил! Бог с ним, с его наследством!

– Я, папа, откажусь от его денег, – проговорила Вера Петровна, – не нужно их нам. Я просто боюсь его.

Твердов не сказал ничего. Ему жалко было портить настроение разговором об этом человеке.

– Вот уже поистине будет, – переменяла тему Анна Михайловна, – что суженого конем не объедешь, если на вашей свадьбе, Николай Васильевич, все слава богу будет.

– Будет, Анна Михайловна, – улыбнулся Твердов, – все благополучно будет, поверьте моему слову.

– Давай-то, Боже, а то ведь покойники все.

Простодушная женщина не подумала о том, что такие соображения вовсе не к месту. Да молодые люди и не слушали ее, они, забыв о прошлом, отдались мечтам о счастливом будущем.

Весь день они говорили и не могли наговориться. Говорили о свадьбе и окончательно решили обвенчаться без всякой огласки и сейчас же уехать за границу. О смерти не думали. Твердов подсмеивался над судьбой и говорил Вере, что, стоит человеку только пожелать чего-нибудь, но пожелать крепко, с непременным решением добиться намеченной цели, и никакая судьба не помешает человеку так или иначе добиться желаемого.

Молодая женщина с восторгом слушала эти речи. Николай Васильевич представлялся

ей героем, сказочным богатырем, витязем прочитанных ею в детстве сказок. Ей вспомнился Георгий-победоносец, поражающий ужасного змея и избавляющий обреченную ему на жертву царицу. Она даже не задумалась над тем, удастся ли ее избраннику победить какого-нибудь таинственного «змея», она была уверена в его победе, и будущее рисовалось ей долгими годами счастливой, без малейшего облачка, жизни.

VIII

Загадочное исчезновение

От невесты Твердов ушел поздно. Ему в этой доброй семье было так хорошо, что он покинул ее с большим сожалением.

Вера вышла проводить его.

– До свиданья, милый, ненаглядный! – сказала она. – Береги себя.

– Я ничего не боюсь! – ответил Николай Васильевич.

– Все-таки береженого Бог бережет... Для меня себя береги, мой любимый, мой единственный!..

Николай Васильевич стал уже спускаться с лестницы, как вдруг Вера окликнула его:

– Постой, постой! Дай мне перекрестить тебя... я тогда спокойна буду!

Наконец Твердов вышел на улицу. Была уже ночь. Тускло мерцали фонари, улица казалась пустынной. Николай Васильевич крикнул стоявшего у подъезда пастинского дома извозчика.

– Куда, барин, прикажете? – отозвался извозчик.

Николай Васильевич вздрогнул.

«Галлюцинация, что ли?» – подумал он, но не придавал этому значения и стал думать, куда ему направиться.

Идти домой не хотелось. Отправиться в ресторан, где в это время обычно собиралась компания друзей, показалось Твердову, после пережитых приятных часов, пошлостью.

«Проедусь по воздуху, – решил он. – Помечтаю, подумаю. Вот она – любовь! И как внезапно!»

Он опомнился. Извозчик стоял, дожидаясь ответа. Твердов оглянулся. У ворот, закутавшись в тулуп, крепким сном спал дворник,

прохожих не было.

– Вези, братец, куда знаешь, по городу прокатиться, – сказал Твердов и сел в сани.

Лошадь – очевидно, не извозчичья кляча, а рысак – так и рванула с ходу. Перед Твердовым замелькали фонари, дома, улицы и площади, но он, погруженный в счастливые думы, даже не замечал их.

Вера Петровна, проводив жениха, вернулась и вдруг почувствовала, что в ней что-то переменялось. Исчезло радужное настроение, светлые грезы сменились каким-то мрачным предчувствием. Она словно поникла, и грусть так ясно отразилась на личике молодой женщины, что даже Петр Матвеевич встревожился не на шутку.

– Что с тобою, Веруша? – нежно спросил он. – то была весела, щебетала, словно птичка, радовалась и вдруг что ночь осенняя стала.

– Не знаю, папочка, – ответила Вера.

– Дело известное, – заметила Анна Михайловна, – невестинское... Что впереди, как впереди – каждая невеста призадумывается.

– Верно, мама. Особенно мне задумываться

приходится, ведь я – в седьмой раз невеста.

– Так что же? И слава богу! Не обсевок, стало быть, какой-нибудь.

– А вдруг прежнее?..

– А ты не горюй, молись! К Казанской Божьей Матери съездим, молебен отслужим, авось Господь и пронесет... Да что ты, в самом деле? Бог с тобою, о чем ты?

По щекам Веры катились слезы.

– Папа! Папочка! – заговорила она. – Родимый мой, если любите меня, если только жалуете...

– Что, Веруша? Что? – заволновался Пастин. – Чего тебе?

– Пошлите узнать, вернулся ли домой Николай, все ли благополучно с ним, тоска меня мучит, гнетет.

– Можно! Сейчас! Пискарь говорил нам как-то, что он – приятель и кум с камердинером твоего нареченного, его и пошлем... Эй, кто там! Пошлите-ка Александра!

– Да он на дежурстве, у ворот. Дворник отлучился, так Пискарь его заменил, – отозвалась на оклик хозяина горничная. – Только дворник сейчас вернется.

– Экий этот Пискарь дотошный! До всякого дела ему надобность есть. Ну, с дежурства позови, пусть съездит к Николаю Васильевичу, узнает, что и как.

– И скажите ему, папочка, чтобы не возвращался, не повидав Коли, – попросила Вера Петровна.

– Ладно. Экая ты! Ну что с ним поделаться может? Ведь столица, не муромские леса!

Вернувшаяся горничная объявила, что Пискаря у ворот нет; она было поискала его, а городской с ближайшего поста сказал ей, что Пискарь с его ведома отлучился куда-то по внезапной надобности и заявил, что и сам не знает, когда возвратится.

– Чудно! Что такое с ним, и понять не могу! – развел руками Пастин. – Верно, что-нибудь срочное... Хоть и недолго он у нас служит, да человек верный. Ума не приложу, как теперь быть?

– Сами, папа, съездите, – умоляла Вера Петровна.

– И-то самому придется, больше делать нечего, – кряхтя, встал старик и пошел одеваться.

Для Веры Петровны потянулись бесконечные, долгие часы ожидания. Время шло, а Петр Матвеевич не возвращался. Часовая стрелка показывала далеко за полночь; начала беспокоиться и Анна Михайловна.

– Эка, старый полуночник, – ворчала она, – чего это он? Уж не молодость ли вспомнил? Любил – было дело! – попутаться, нечего грех таить.

– Да что вы, мама? Как вам на ум такие мысли приходят? – останавливала старушку дочь.

– А что же! Быль молодцу – не укор, – продолжала та. – Вот и теперь, думаю я, пошел отыскивать твоего Николая, если он не дома, так нашел где-либо в компании. Попал к молодым и потрянул стариной. Пожалуй, так и есть.

Но старуха ошибалась. Часовая стрелка показывала половину второго, когда вернулся Петр Матвеевич.

– Что, папа, что? – кинулась к нему Вера Петровна. – Видел?

– Постой, Веруша, дай дух перевести.
– Папочка... Не томите!

– Ну, ну... Приехал я это к нему, – начал рассказывать старик, – спрашиваю, говорят, не возвращался еще...

Вера Петровна тихо вскрикнула.

– Ну, что же из того, что не возвращался? – поспешил заметить старик и продолжал свой рассказ: – Я сейчас это потребовал Николаева камердинера, кума Пискаря. Говорят, и тот ушел, куда – неизвестно, когда вернется – неведомо, вот они, слуги-то нынешние! Положись-ка на них попробуй.

– Так и не нашли нигде Николая? – тихо спросила Вера, и на ее глазах показались слезы.

– Постой! Знал я про кабачок, где они все собираются. Дай, думаю, съезжу, верно, с приятелями хороводится. Ну, поехал, приехал, все налицо, вся честная компания: и Ваня Филиппов тут, и Александр Александров, и Митя, и прочие остальные, все как есть сидят и благодумствуют. Ох, эти мне полуночники! И чего это отцы с матерями смотрят?

Старик, видимо, старался тянуть свой рассказ как можно дольше.

– И что же Коля-то? – волнуясь, спросила

Вера. – С ними он?

– Нет, нашего сокола между ними не было, – с неохотою проговорил Петр Матвеевич. – Спросил: говорят, не бывал, и смеются чему-то.

– Да вы бы, папа, опять к нему.

– Был, опять сказали – не возвращался... Да что мне, в самом деле, всю ночь, что ли, путаться? Эка песчинка! Не бойся, никто не съест, будет цел королевич-то твой!

Старик ворчал, но и у него нехорошо было на душе. Невольно думалось, что и в самом деле не случилось ли чего с Твердовым. Ведь в прошлом были точно такие же неразрешенные загадки, можно было ожидать их повторения.

Вера Петровна тихо плакала, отец ворчал, стараясь прикрыть свое смущение, мать охала и ахала, вдруг охладев к Николаю Васильевичу и коря его непростительным вертопрашеством.

– Прямо от невесты вертопрашничать отпавился! – восклицала она. – Потерпеть не мог. Ну и хорош же! Гусь, одно слово, гусь, и больше никаких. И зачем тогда весь сыр-бор

водить было?

Неспокойную ночь провели все в семье Пастинных.

Наутро Петр Матвеевич сам, не дожидаясь просьб Веры Петровны, решил отправиться к Твердову. Проснувшись, он узнал, что Пискарь еще не возвращался. Это и удивило, и рассердило старика, на кого-кого, а на дотошного малоросса Пастин вполне полагался и поэтому ничем не мог объяснить его загадочное поведение.

В гостинице, где жил Твердов, Пастина ожидал новый сюрприз. Оказалось, что за полчаса до его приезда в гостиницу явился посыльный с визитной карточкой Николая Васильевича и объявил от его имени, что он прислан немедленно расплатиться по счету, так как Твердов должен экстренно уехать из Петербурга. Свой номер он оставлял за собою на месяц и оплачивал его вперед. Камердинеру Савчуку также было прислано, с приложением крупной суммы, уведомление, что Николай Васильевич более в его услугах не нуждается, и он может искать себе место.

– А где же этот камердинер? – спросил Па-

стин. – Повидать бы его.

– Тоже как ушел вчера, так и не возвращался.

Делать было нечего, приходилось уйти.

Пастин отправился домой.

«И этот сбежал! – думал он по дороге с обидой. – Поразмыслил – и на попятную! Ну что я теперь скажу Вере? Эх, бедная, бедная!»

Но ни говорить, ни объяснить дома Петру Матвеевичу ничего не пришлось. Там уже и без него было известно, даже в подтверждении самого Твердова, – то, что старик только предполагал.

В отсутствие Петра Матвеевича пришла телеграмма, данная, судя по штемпелям и пометкам, на Варшавском вокзале. В ней Твердов уведомлял Веру, что, по твердом размышлении, чувствует себя не в силах составить ее счастье и спешит удалиться, дабы не мешать ей быть счастливою с кем-нибудь другим, более достойным.

– Да что же это такое? Да быть этого не может! – восклицал Петр Матвеевич. – Ничего подобного и представить было невозможно!

Однако спорить было бесполезно. Твердов

сбежал – его телеграмма ясно говорила об этом.

Но как все это могло случиться?

IX

Таинственное царство

Николай Васильевич, словно в забытьи, пролетал улицу за улицей на лихаче извозчике, взятом им у пастинского дома. Он был так счастлив, так радостно настроен, что ему было все равно, куда ехать, только бы быть в движении и не оставаться одному. Он не замечал пути, по которому мчался. Сперва улицы были шумны и людны, потом они углубились в какие-то мрачные переулки, и, наконец, на Твердова пахнуло свежим, холодным ветром.

– Куда ты везешь? – крикнул он кучеру.

– По Островам, – последовал ответ.

И опять Николай Васильевич невольно вздрогнул, услышав голос возницы: очень уж знакомым показался он ему.

Однако мечты и грезы снова овладели Твердовым, опять его охватила жажда быст-

рого движения. Легкий морозный ветер обвевал его, забирался под меховую шинель, заставляя кутаться, и это доставляло ему удовольствие. Какая-то нега разливалась по телу. Он давно не был так доволен катаньем, как в этот раз.

«Это хорошо, что на Острова, – размышлял Твердое, – там поужинаю где-нибудь в кабачке и домой, спать, сейчас же спать... “Умереть – уснуть”, – припомнил он слова Гамлета. – А что, – продолжал он думать, – сон – это тоже своего рода нирвана, о которой столько твердил этот несчастный Юрьевский».

Николай Васильевич улыбнулся, припомнив внезапное появление Ивана Афанасьевича.

«Опоздал! – подумал он. – Улетела, братец, твоя царица!.. Чуть бы пораньше, а теперь – тю-тю!..»

И опять ему стало смешно и в-то же время жалко этого странного человека, жившего другой, совершенно обособленной, жизнью, исключительно своими интересами, своими радостями, своими печальями, далекого от всего, что не соприкасалось с его идеей.

«Маньяк, сумасшедший, – подумал Твердов и тут же невольно сравнил себя с Юрьевским: – Я ведь точно так же живу мечтой, тоже создал свое невидимое царство. Но как хорошо, как отрадно жить грезой! Только теперь я начинаю понимать этого несчастного человека. Вера действительно царица его грез. Юрьевский ведь так и назвал ее тогда. А как больно, когда вдруг кто-либо вторгается в твою жизнь, где господствуют грезы! Как тяжело, когда вдруг разрушают иллюзии!.. Не хотелось бы мне испытать это».

Неожиданный толчок заставил Твердова очнуться, прийти в себя. Он огляделся. Нет, не на Острова завез его лихач. Твердов хорошо знал там каждый кустик, тут же было что-то другое, совершенно незнакомое. Он изумленно оглянулся вокруг. По обеим сторонам были видны какие-то строения, в их окнах не светились огни. Было мрачно и пустынно. Одно только небо смотрело на землю бесчисленными глазами-звездами. Где-то далеко слышалась колотушка ночного сторожа.

«Где я? Куда попал? – пронеслось в мозгу Николая Васильевича. – Куда он завез меня?»

Извозчика не было видно, лошадь стояла неподвижно, как вкопанная. Твердова вдруг охватил ужас. Инстинкт подсказывал ему близость какой-то беды, смертельной опасности. Он хотел крикнуть, хотел отстегнуть тяжелую полсть, но вдруг что-то мокрое, липкое и пахучее закрыло его нос и рот. Твердов почувствовал, что теряет сознание...

«Середин, Антонов, Гардин! – промелькнули в голове фамилии его предшественников. – Дочь Рагуила... Товий... и я... я...»

Твердов потерял сознание.

Сколько времени продолжалось это забытьё, Николай Васильевич не знал. Очнувшись, он почувствовал, что ему очень плохо: голова была невыносимо тяжела, сердце учащенно билось, не хватало воздуха, не было сил приподнять отяжелевшие веки.

Так прошло несколько мгновений. Вдруг до слуха Твердова долетели звуки музыки. Слышались мелодическое, ласкающее слух пенье флейты, нежные звуки арфы, рыдание скрипки, и все это сливалось и утопало в звуках чудного хора человеческих голосов.

Сделав над собой усилие, Твердов открыл

глаза и замер в изумлении.

«Сон, дивный сон, или я окончательно сошел с ума!» – пронеслось в его мозгу.

То, что он увидел, в самом деле, могло только присниться. Мягкий, приятный свет разливался вокруг. Роскошные тропические растения окружали его со всех сторон, скрывая дивный оркестр и дивных певцов. Приятная, наводящая сладкую истому теплота разливалась в воздухе, разнося чудные ароматы каких-то цветов. Как только стихли оркестр и певцы, донеслось щебетанье и пенье невидимых птиц. Все это вначале изумило Твердова, но затем испугало. Он хотел приподняться, но не мог: как только он начинал шевелиться, во всем теле чувствовалась невыносимая боль, словно какие-то путы врезались в его тело. Только голова оставалась свободной. В то же время Николай Васильевич почувствовал, что не может издать ни малейшего звука – его рот был закрыт тугой повязкой.

Поняв, что все его усилия освободиться не приведут ни к чему, Николай Васильевич вдруг успокоился. Не все ли равно? Раз борьба невозможна, нечего и силы тратить. Но он по-

прежнему был уверен, что видит все это не наяву, а в странном сне, неизвестно чем навеянным. Однако, с трудом повернув голову, Твердов различил, что лежит не-то на траве, не-то на каких-то растениях.

«Галлюцинация... бред... Да я... я и в самом деле сошел с ума», – подумал он и замер.

Все вдруг разом изменилось. Свет померк и сменился крошечной тьмою. Невидимые певцы, оркестр, птицы – все смолкло.

До слуха Твердова донеслись звуки двух хорошо знакомых ему голосов, заставивших его затаить дыхание. Это были голоса Юрьевского и Веры.

– Царица! – слышался голос Ивана Афанасьевича. – Ты опять в этом дивном царстве. Все здесь тебе послушно, подвластно, все склоняется пред тобой, как склоняюсь я, его повелитель и творец. О, награди же твоего раба, дай ему мгновение светлого счастья, скажи, что ты его любишь!

– Люблю! – произнес нежный голос Веры.

Дрожа от волнения, Николай Васильевич снова стал прислушиваться. Говорил Иван Афанасьевич:

– О, вот счастье, вот неземное счастье! Ты, ты, перед которой я благоговею, любишь... любишь меня?

– Люблю!

– Награда превыше всех моих заслуг. Благодарю! Ты возвращаешь меня к новой жизни, даруешь мне бесконечное блаженство... Так любишь, любишь?

– Люблю!

– Царица! – послышался глухой голос Юрьевского. – Ты – греза, мечта, как и все в моем царстве. И сам я здесь тоже становлюсь не живым существом. Я – дух, бесплотный дух, такой же, как и все. Я – сон, но в оболочке смертного. Одна ты владеешь мной всецело, а потому все покорно тебе здесь, в этом царстве. Эй, подвластные мне грезы и мечты, соберайтесь, сходитесь, слетайтесь отовсюду, начните служение вашей царице, принесите ей жертвы! Я, ваш властелин, приказываю вам! Моя царица! Мой трон пред тобою! Войди же на него, воссядь, а мне позволь лечь на его ступенях, у твоих ног. Все собрались?

– Все, все здесь! – раздался хор всевозможных голосов: детских, старческих, мужских и

женских.

Твердов лежал на своем зеленом ложе не шевелясь. Ему было больно от стягивавших его пут, стало быть, он не спал, но в то же время он не мог понять, что здесь происходит. Ведь все, что он слышал, видел и ощущал, мало походило на действительность.

Мгновенно около него разлился ослепительно-яркий свет, но не свет солнца – слишком уже он был ровен и безжизнен.

«Посмотрим, что будет дальше, – подумал Твердов, отдаваясь теперь любопытству. – Право же, все это становится очень интересным... Но Вера! Здесь! Кто бы мог подумать?.. Непонятно, непостижимо! Однако я не ошибаюсь... Это ее голос... Она... С Юрьевским! Ничего не понимаю, ничего не могу понять... Тут шабаш какой-то! Столько голосов!»

Действительно, голоса неслись отовсюду. Слышались серебристый смех, тихое пение, мужские грубые голоса, даже бряцание, как показалось Твердову, оружия. Все это сливалось в невообразимый хаос звуков.

Вдруг все смолкло.

– Друзья мои, мои рабы! – раздался голос

Юрьевского. – Спасибо вам, вы все опять со мною, несете свой восторг моей царице. Приветствуйте ее!

– Да здравствует царица! – раздались голоса.

– Бесплотны вы, мечты и грезы! – продолжал Иван Афанасьевич. – Но всех вас я создал, вызвал к жизни. Вы живете мною, а я живу лишь ею одной. Но слушайте же: не раз наступал на наше царство враг, не раз началась борьба, и мы всегда побеждали. Вы знаете, враг стремился во что бы-то ни стало овладеть моей царицей, увести ее, отнять у меня. Разве я мог допустить это? С нею исчезла бы моя жизнь. И вот я смело вступал в борьбу и всегда побеждал. Теперь опять началась борьба. Явился дерзкий...

– Смерть ему! – раздалось кругом.

– Вы так сказали. Так слушайте же: я уже взял в плен врага, и он теперь в моей власти.

– Смерть! Смерть ему!

– А ты что скажешь, царица моя?

– Смерть дерзкому! – услышал Твердов голос Веры.

– Пусть будет так! Он умрет, как умерли

другие, но только, прежде чем умереть, пусть он увидит славу своих победителей!

Зеленые кусты вдруг раздвинулись, и перед Твердовым предстала картина, похожая на сказку. Прямо перед ним, на высоком троне, к которому вели несколько ступенек, сидела Вера. На ней был древнегреческий наряд, и вся она сияла бриллиантами и золотыми украшениями. По обе стороны трона неподвижно стояли две фигуры воинов с мечами у бедер. У ног Веры полулежал, прислонив голову к ее коленям, Юрьевский, также в облачении древнего грека, и торжествующе-злобно смотрел в сторону своего врага – Твердова. Более никого не было, но невидимые оркестр и хор по-прежнему исполняли свою дивную мелодию.

Это видение продолжалось несколько секунд. Потом свет опять померк, и наступила тьма.

«Где я? Какая безумная греза поразила мой мозг?» – думал Твердов, а в темноте опять раздался голос Юрьевского:

– Царица, мой пленник будет завтра принесен тебе в жертву! Довольна ли ты? Лю-

бишь ли меня?

– Люблю, люблю! – прозвучал прежний ответ.

Твердов рассердился.

«Что это она заладила: “Люблю, люблю”, – с досадой подумал он, – будто только это слово и знает! Ах, да, она еще слово “смерть” сказала. Чудно! Что все это значит?»

Все стихло. Не слышно было ни звука, ни шороха. Николаю Васильевичу стало страшно. Он заметался, но путы были крепки.

Страх, волнение, загадочность происшедшего повлияли на Твердова: он потерял сознание.

Х

В мире гармонии и красоты

Когда Твердов пришел в себя, вокруг него по-прежнему были тьма и тишина.

«Фу, черт! – выбранился Николай Васильевич. – Да когда же это дьявольское наваждение кончится? Все это начинает надоедать».

Как будто кто-то прочел мысли пленника. Тьма начала рассеиваться, и Николай Васильевич мог разобрать, что теперь он находится не в чудесном саду, а в каком-то другом месте. В наступившем сумраке были видны своды, колонны, это был какой-то храм. Сам Твердов лежал не среди зелени, а на невысоком помосте. Кто-то тронул его за плечо. Сделав усилие, Николай Васильевич повернул голову. Рядом с ним в кресле сидел Юрьевский, в том же самом древнегреческом уборе. Он заговорил, и Твердов ясно слышал каждое его слово.

– Сегодня я принесу тебя в жертву моему божеству, которое ты осмелился оскорбить своей нечистой лаской, – произнес Иван Афа-

насьевич, и Твердов, припомнив все, слышанное раньше, понял, что от последних злоключений его отделяет, по крайней мере, ночь. – Сегодня, скоро. Твои последние мгновения близки. Ты оскорбил божество и смоешь свой поступок кровью. Но будь счастлив: ты не просто умрешь, как умирали другие, а умрешь, созерцая царицу, умрешь во славу ее. Я принесу тебя в жертву, но хочу, чтобы, умирая, ты знал, в чем твое преступление. Радуйся этому, будь счастлив. Другие, кроме одного, точно так же, как и ты, лежавшего на этом жертвеннике, не знали, во имя чего они умирают, ты же будешь знать. Все равно для земли ты уже умер, поэтому ты можешь узнать все. Мертвецы не выдают тайн. Так слушай! За этим занавесом покоится моя царица. После ее пробуждения ты умрешь. Послушай же: теперь будет говорить не жрец богини, не ее раб, а такой же человек, каким был ты, прежде чем попасть в этот великий храм. Я всегда был одиноким человеком, запомни – человеком. Теперь я уже не человек, а дух во плоти, демон. Все человеческое давно стало мне чуждым. Когда я был еще челове-

ком – почему, не знаю, – все люди отшатнулись от меня. Я жил и не знал счастья, любви. Ты возразишь, что это мне только казалось... может быть, пусть так. Но я ощущал это отчуждение, я чувствовал вокруг себя только немую, бездушную пустоту. Вначале я винил только себя, думал, что сам не сумел приблизиться к миру, занять в нем назначенное мне природой место. И это может быть. Я ведь сказал, что с тех самых пор, как только себя помню, я рос в полном одиночестве. Я родился богачом, и люди видели во мне не человека, жаждущего любви, а золотой мешок. Меня окружала подлая лесть, но льстили не мне, превозносили не меня, а золотой мешок. С тех пор я стал презирать людей, отдаляться от них, уходить в себя. Озари меня своим светом в то время чья-либо искренняя ласка, и я остался бы с миром и в мире, но – увы! – этого не произошло... Со временем все шире становилась разделявшая меня и мир пропасть. Я делал попытки к сближению, искал мир. Я побывал почти везде на земном шаре, все видел, но только не находил людей. Я старался познать природу, но и она была бесконечно

далека от меня. Как и в людях, я не видел в природе искренности: она была доступна только золотому мешку. Житель севера мечтает о чудесах, тепле и солнце юга, южанин мечтает о здоровом, укрепляющем силы климате севера, больной ждет от природы исцеления, здоровый – счастья и радостей, но все это доступно для них, если они богаты. А как создается богатство? Богатство одного есть сумма недоеденных кусков, неисполненных желаний многих. Все продается, все покупается – люди, природа, свет солнца, покой ночи – все, все, все! И я убедился в этом и возненавидел мир. Бездна между мною и им стала необъятна. Тогда я решил создать для себя свой мир, где не было бы ни купли, ни продажи, ни подлости, ни лжи, ни зла, где все было бы чисто и свято и царили бы великое добро, гармония и красота.

Юрьевский умолк и задумался. Твердов лежал не дыша, находясь под впечатлением от услышанного. Теперь он кое-что начинал понимать, ему хотелось возразить, сказать что-то, но повязка по-прежнему плотно закрывала ему рот.

Так прошло несколько мгновений. Иван Афанасьевич очнулся и посмотрел вокруг. Взгляд его упал на Твердова, и вдруг лицо Юрьевского озарилось тихой, радостной, счастливой улыбкой.

– И знаешь ли, – заговорил он страстно, – ведь я сумел сделать это. Я создал мир по своему плану, по своему желанию. Как хорош, как чудесен этот мой мир! Все в нем гармонично, дивно-прекрасно, божественно-совершенно, девственно-чисто. Этот мир – мир моих грез. Они населяют его и не испорчены низкой лестью, не знают зла, они – воплощенное добро. По первому моему желанию мое воображение вызывает их, они послушны мне, всегда со мною, и я всегда среди них. Их много, им нет числа. Каждую мысль я воплощаю в образ, и он не проносится, как блеск молнии, а живет со мною, родит другие образы и погибает лишь тогда, когда его существование становится бесцельным. Вот мой мир, вот мое царство! Любой всемогущий король может позавидовать мне. Я – повелитель этого дивного мира грез, созданного мною самим. Сколько божественно-чудного вижу я в

нем! Часто целые великие народы населяют его и живут не для борьбы, не для самоунижения, но для совершенства. В моем мире нет ни ропота, ни возмущений, в нем все – красота, и ничего иного быть не может, потому что все – мое создание, а сам я – слуга лишь красоты и гармонии.

Юрьевский опять на мгновение смолк.

– И вот когда мне удалось создать свой мир, – заговорил он, – вдруг тот, другой, жалкий, ничтожный человеческий мир повлек меня к себе. В этом жалком мире появился ангел. Это была Вера. Я помню-то мгновение, когда я увидел ее впервые. Это была беспомощная кроха материи, кричащий кусок мяса, бессмысленного и ничтожного, но все-таки живого. Красная кожа, сморщенная рожица, бессознательные движения, но в мутных глазах уже светились искорки новой жизни. В них было что-то такое, чего я еще не знал. В этом куске кричащего мяса были заметны следы иного, чем мое, творчества. Я создал бесплотные образы, жившие только при мне и для меня, а тут была греза во плоти, новая жизнь, создать которую я был не в силах,

жизнь живая, но беспомощная, что ждало ее впереди среди этого проклятого земного мира? Муки одиночества, такие же, какие испытал я. Страданье и, как награда за это, могила. Меня тронула эта беспомощность, будущие муки этой новой жизни, и я решил взять ее в свой мир, поселить среди радостных грез. Чем дольше шло время, чем чаще я видел Веру, с которой, чтобы завладеть ею, я вошел в земные отношения – крестил ее, – тем больше росла во мне жажда сделать ее счастливой, даже против ее воли. Понимаешь ли ты меня, умирающий? Я мечтал, что сделаю ее наследницей своего царства, и она будет жить так же, как жил и живу я в мире счастливых грез... Понимаешь ли ты, умирающий, можешь ли ты понять, какое чувство овладело мной, когда этот кусок кричащего мяса после своей недолгой жизни на земле вдруг как-то раз весело, ласково улыбнулся мне, захлопал ладошками и потянулся ко мне своими пухлыми ручонками? Я видел, что это существо обрадовалось моему появлению, и затрепетало. Это была первая искренняя радость, которую вызвал я в смертных, – то, чего я ждал в

течение долгих лет. Искреннее чувство, искренняя ласка. Я не узнавал себя. Я обезумел. Мой мир потускнел, но я справился с собой и сумел восстановить свои владения. Что же? Разве я не должен был вознаградить это существо за те счастье и радость, которые оно мне подарило. И я решил, что награда будет достойной. Я, всемогущий, решил, что это существо, эта девочка, будет при жизни царицей моего царства, а я, в награду за минутное счастье, стану ее верным рабом. Что может быть выше этой награды?

Юрьевский встал и отошел на несколько шагов, но вдруг вернулся и громко, возбужденно заговорил:

– И она стала царицей! Здесь все подвластно ей. Но человеческий мир слишком крепко держит ее в своих оковах и не отпускает ко мне. Проклятый мир! Разве я мало люблю ее? Я люблю ее любовью демона; я никогда не любил, она первая, она последняя. Я, демон, я, царь грез, люблю ее, как простейший из смертных. Но мир сказал ей, что она не может любить меня, потому что между нами преграда, о которой я забыл, хотя сам создал

ее. И она не разделила моей любви, не поняла ее. Мир не отдал ее мне. Зачем она ему? Разве со мной она не была бы так счастлива, как никто? Но мир не только не отдал ее, а даже осмелился вступить со мной в борьбу. Он послал шестерых, чтобы отнять у меня Веру, и все погибли. Ты тоже не думай, что ты жив: ты мертв, как и те, кто шел впереди тебя. Умрет всякий, кто последует за тобой. Я никого из смертных не допущу к ней, моей любви, моей царице. Горе всем, кто осмелится взглянуть на нее. Горе, горе! Я всемогущ! Я – царь, я – повелитель! На этом же жертвеннике лежал такой же, как и ты, юнец, осмелившийся отнять у меня Веру. Я принес его в жертву своему божеству. Как трепетало его тело, когда мой жертвенный нож вскрыл его грудь! Он не сразу умер, а жил со вскрытой грудью, пока не перестало биться сердце. Но он умер счастливым: в последние мгновения он удостоился лицезреть богиню. И ты умрешь, как он, и будешь видеть ее. Ты слышал, она сама осудила тебя на смерть, и я исполняю ее волю! Ты умрешь! Смерть не страшна. Радуйся, а не страшись, через нее путь в nirvanу. Ты

погрузишься в небытие и будешь счастлив, счастливее твоего предшественника, которого я казнил в его логовище. Это я убил Антонова. Я пришел к нему незамеченным и силою своей воли, чарами своего взгляда его, обессилевшего от пьянства, заставил написать записку и перерезать себе горло. Он сам был своим палачом, но судьей был все-таки я. Это я столкнул под поезд следовавшего за ним. О, эта казнь мне удалась! Я верно рассчитал момент, в который он должен был упасть с площадки, чтобы попасть под колеса. Это я казнил Гардина, до которого мне никак не удавалось добраться, прежде чем он успел в глазах людей овладеть моей царицей. Я опустил в его бокал с вином две капли редчайшего японского яда, убивающего и не оставляющего никаких следов. Эта драгоценность всегда со мной. Видишь этот перстень? – Юрьевский поднял правую руку, на указательном пальце которой красовался золотой перстень с крупным бриллиантом. – Стоит только нажать пружину, и он источит драгоценные капли, дающие живущим сладость небытия. И как глупы люди! Они все

приписывают судьбе, они не видали меня, они даже не чувствовали меня. Теперь погибнешь ты – и они даже не узнают, какая участь тебя постигла: я принял меры, для них ты еще жив и будешь жить, для жизни же ты мертв... Ты мертв уже... Но – чу! – слышишь ты, слышишь?

Юрьевский с восторженным лицом повернулся в сторону, откуда доносилось мелодичное пение.

– Царица пробудилась! – закричал он. – Твой час пробил!

Юрьевский повернулся и пошел к занавесу.

Николай Васильевич уже понял, что попал во власть безумца и что спасение невозможно. Он чувствовал себя и в самом деле неживым и безропотно покорился участи, которую считал неизбежной. Помощи ждать было неоткуда. Никакие телохранители не помогли. Оставалось следить за тем, что теперь будет делать страшный безумец.

Юрьевский подошел к занавесу и преклонил колени, потом поднялся, подошел сначала к одному стоявшему сбоку занавеса тре-

ножнику, потом к другому и зажег их. В воздухе сразу распространился дурманящий аромат. После этого он опять преклонил колени перед занавесом и только тогда отдернул его.

Твердов взглянул и увидел Веру, в одежде древнегреческой богини неподвижно сидевшую на троне. По обеим сторонам трона, как и раньше, стояли два воина, но теперь Николаю Васильевичу показалось, что они не так неподвижны, как в первый раз. Однако разглядывать не было времени, все его внимание приковал к себе Юрьевский.

Безумец простер к своему божеству руки и воскликнул:

– Привет тебе, богиня! Твой жрец, твой раб преклоняется пред тобою!

С этими словами Юрьевский распростерся на ступенях трона. Потом он поднялся и, тихо спустившись со ступеней, подошел к Твердову, обошел вокруг и стал лицом к трону.

– Сейчас свершится все! Поругание богини будет смыто кровью нечестивца! – воскликнул он. – Богиня! Царица! Тебе кровавая жертва!

Твердов увидел, как сумасшедший взмах-

нул правой рукой. В ней был длинный нож.

– Я вскрою ему грудь, – продолжал Юрьевский, – обнажу пред тобой его сердце, и ты увидишь, как оно грязно, как оно холодно. В твою честь, царица!

Страшная жажда жизни охватила Твердова. Он забился всем телом, но путы крепко держали его. Нож, как магнит, притягивал его взгляд. Мгновения, пока безумец, размахивая им, придержививал левой рукой несчастного за грудь, показались ему вечностью. Твердов сознавал, что как только опустится эта вооруженная рука, для него все будет кончено.

Однако Юрьевский медлил. Твердов чувствовал, как безумец свободной рукой ощупывает его левую грудь, чтобы нанести удар, который бы не задел сердца.

Но в тот момент, когда безумец готов был опустить нож, Твердов вдруг услышал знакомый голос:

– Те-те-те, всемогущий владыка, поиграли, и довольно: так уже нельзя.

Николай Васильевич по голосу узнал Кобылкина.

Послышался дикий вопль – не человека, а

зверя, у которого вырывают из пасти добычу, – и тотчас же хрипенье, хохот и стук от падения двух тел.

Твердов забился опять, но вдруг стих. Царица оставалась неподвижной, но воины, стоявшие у трона, упали и с громким стуком покатались по ступеням. В это время двое людей, перепрыгивая через них, бросились туда, где слышны были хрипенье, хохот безумца и шум отчаянной борьбы.

Твердов узнал их. Это были Савчук и Пискарь.

Ощущение, что помощь подоспела, что нет больше опасности, радость возвращения к жизни так подействовали на Николая Васильевича, что он опять потерял сознание.

XI

Раскрытая тайна

Твердов очнулся в незнакомой комнате. Он лежал на кровати, пахло лекарствами.

Николай Васильевич повернул голову и увидел перед собой бледное и исхудавшее личико своей невесты.

– Вера! Богиня! Царица! – прошептал он.

– Тише, милый, молчи, молчи!.. Доктор запретил, – сказала Вера Петровна, с нежностью глядя на него.

– Где я? Жив ли?.. Нож, нож... – лепетал Твердов.

– Успокойся, ради меня успокойся! – ответила Вера Петровна. – Все прошло... все благополучно... После узнаешь... Выпей, – и она протянула Твердову стакан с какой-то жидкостью.

Николай Васильевич сделал несколько глотков, и здоровый, живительный сон овладел им.

Спал он долго, а около его постели, не отлучаясь, сидела Вера Петровна. Твердов только

ей был обязан возвращением к жизни, своим выздоровлением. Она так заботливо ухаживала за ним, как не могла бы ухаживать никакая сиделка.

Кобылкин привез его, бесчувственного, в нервной горячке, в дом Пастиных, сдал им больного и, ничего не объясняя, умчался.

Да и не до расспросов было Вере и ее родителям. Перед ними, хотя и без памяти, был тот, которого они более никогда не надеялись увидеть, он возвратился к ним, и это было главное, все остальное в эти часы и первые дни их не интересовало.

Петр Матвеевич созвал лучших докторов столицы. Те долго не могли дать ответ, и все надежды возлагали не столько на науку, сколько на молодость и крепкую натуру больного.

И они не ошиблись. Молодость и сила, а также нежный, заботливый уход Веры сделали свое дело.

Выздоровление шло с замечательной быстротой.

Вместе со здоровьем крепло и его чувство к Вере. — то, что сначала было мимолетной

вспышкой страсти, в эти дни, пока Твердов был прикован к постели, превратилось в настоящую любовь.

Николай Васильевич пытался расспрашивать и Веру, и Петра Матвеевича о подробностях своего избавления, но те говорили, что они сами ничего не знают, и были вполне искренни. Кобылкин упорно скрывался, а когда Пастин все-таки поймал его, сумел отвертеться от всех расспросов, решительно ничего не сказав.

Когда Петр Матвеевич сообщил об этом Твердову, тот понял, что у Мефодия Кирилловича есть на-то своя причина.

Одно только было известно и Пастиным, и всем в столице (впрочем, для Петербурга это прошло незамеченным): Иван Афанасьевич Юрьевский скоропостижно скончался. Ничего такого, что могло бы броситься в глаза, возбудить людское любопытство, в этой смерти не было, поэтому Юрьевского похоронили, поговорили о нем, да и забыли, как будто его никогда и на свете не было.

А между тем в газетных некрологах проскользнула черточка, рисовавшая покойного

с хорошей стороны. Юрьевский оказался благотворителем, каких немного. Он оплачивал учебу детей бедняков, помогал нуждающимся. Причем добро Иван Афанасьевич творил втайне, не рисуясь ни перед кем, не выставляясь напоказ. Это было добро ради добра, а не ради каких-то эгоистических целей. Когда Юрьевского хоронили, за его гробом шла вереница незнакомых людей. Это были облагодетельствованные покойным бедняки.

Вера была единственной наследницей Ивана Афанасьевича, Юрьевский отдал ей все, но с условием, чтобы она некоторые благотворительные дела продолжала и после его смерти.

Твердов понял, что означала эта черта странного характера Юрьевского. Он ненавидел людей, презирал их и сам хотел быть лучше тех, кого ненавидел и презирал.

Николай Васильевич, узнав, что Кобылкин отмалчивается, решил тоже ничего не говорить о событиях памятной ночи. Однако, поправившись, он первым делом поехал к Кобылкину, чтобы поговорить с ним самому.

Мефодий Кириллович встретил его с рас-

простертыми объятиями.

– А, современный Товий! – воскликнул он, спеша навстречу Твердову. – Наконец-то! Похворали? Ничего! Зато как возмужали, похорошели!.. Садитесь, батенька, милости прошу, садитесь! Знаю, хе-хе-хе, зачем пришли, знаю... На свадьбу старика звать? Что, родной, чья правда?

Николай Васильевич улыбнулся.

– Ваша правда, Мефодий Кириллович, ваша, – ответил он. – Надеюсь, не откажете... Ведь эта свадьба – дело ваших рук, вы сосватали.

– Ну уж и я! Много чести старику... Ну, дай бог, дай бог, совет да любовь! Смело теперь судьбу-то мы, хе-хе-хе – побоку... Хорошо без судьбы!.. Я так думаю, что и на крестинах вашего первенца скоро пировать буду. А все-таки, батенька, признайтесь, отпраздновали труса? Дайте-ка посмотреть, не поседели ли?

– Я вот и пришел к вам, добрейший Мефодий Кириллович, просить вас... Все-таки мне пришлось быть, пожалуй, главным действующим лицом этой – уже и не знаю, как назвать, – трагедии, мелодрамы, феерии... Будь-

те добры, посвятите меня в некоторые подробности.

– Что ж, это можно. Только, чур, уговор: не болтать. Впрочем, это не для нас, а в ваших выгодах. Я все прикрыл, все вышло шито-крыто, никакого сора из избы не вынесено. Аминь всему!

– Я так и понял ваше молчание. Ведь у Пастиных до сих пор ничего не знают.

– И прекрасно, что не знают. Ничего особенно такого сверхъестественного нет, а память, и очень неприятная, на всю жизнь осталась бы. Блаженны неведающие... Так рассказать? Да что рассказывать? Сами, поди, о многом догадались?

– Пока только о том, что этот несчастный Юрьевский был душевнобольным.

– Это главное, а отсюда все остальное... Свихнулся он когда-то давным-давно. Ну что же? Зла никому не делал, а добра творил много. Бо-о-льшой благотворитель был! Много людей теперь за упокой его души, даже не скажу – грешной, молится. По-моему, греха нет в том, что он натворил, ибо грех там, где сознание.

– Так неужели он...

– Да ведь вы слышали сами... Он, он судьбой-то был, понимаете ли, все у него хорошо было. В своем загородном домике устроил он себе царство, подвал сырой в зимний сад обратил, да в такой сад, что прелесть просто! Редчайшие растения там были. Просто залюбовался я! Храм он там себе устроил и сам себя при этом храме в жрецы возвел, кадения, курения, моления и все прочее.

– Но ведь не один же он был в этом саду.

– Один-одинешенек... Храм-то красоты и чистой любви.

– Позвольте, я же сам слышал голоса, музыку, пение. Неужели галлюцинации?

– Нет, наяву все слышали.

– Тогда как же?

– Все просто в этом простейшем из миров. Минуту терпения, все сейчас объясню. Так у почтеннейшего владыки новосозданного царства все хорошо шло. Ну, чудит человек – какая же в том беда? А вот когда беда-то пришла: влюбился Юрьевский, влюбился до зарезу, и, вы понимаете, это при больном-то мозге...

– В Веру?

– Да, в свою крестницу. Будь она в других отношениях с ним, может быть, Иван Афанасьевич обвенчался бы с нею и выздоровел, но тут – нет. Хотя он и сумасшедший был, но человеческие взаимоотношения понимал тонко. Понимал он, что брак с крестницей невозможен. Больной же мозг работал и вот выработал такую формулу: ни себе, ни людям. Такая формула была слишком примитивна, тогда тот же больной мозг подсказал владыке царства грез такую обстановку, которая вполне соответствовала бы этому царству. Он воображал себя жрецом божественной красоты и чистой любви и сделал свою крестницу царицей всего этого, а себя – царем при царице. Живое существо из плоти и крови он обратил в бесплотный образ и одухотворил его. Видите, какая штука-то? Для него Вера Петровна была царицей, богиней и всем, что вам угодно. Все обходилось благополучно, пока не пришло время Вере Петровне идти замуж. Тут и началось. Великий жрец царства грез должен был сохранить свою царицу в чистоте и непорочности. Разве мог он допустить, чтобы

кто-нибудь из смертных осквернил ее своим взглядом, помыслом? Она должна была жить грезой, такою, как была для него. Юрьевский представил все так, будто мир, который он ненавидел, борется с ним, желая отнять самое дорогое. Последствия известны. Началось устранение – будем говорить попросту, по-житейски – соперников. Двух удалось устранить легко, а вот троих пришлось отправить на тот свет.

– Но позвольте, мог же он принять и другие меры: убедить Петра Матвеевича, наконец, саму Веру не выходить замуж.

– Так и послушала бы она его! Да притом Юрьевский сам вошел во вкус. Он смотрел на подобные устранения как на жертвоприношения своей богине. Хитры сумасшедшие, ох как хитры! Откуда только что у них берется... Теперь ясно вам, в чем тут суть?

– Да, но вот о том, что касается меня...

– Сейчас доберемся и до вас. Вы знаете, что я сам хотел разведать причины загадочных кончин женихов Веры Петровны. Чутье мне подсказало, что здесь что-то не так. Тут Гардин со сватовством подвернулся. Ну, учредил

я самый бдительный надзор. Решительно ничего, тайна, загадка, уму непостижимо! Говорил я вам, что благодаря этому надзору покойному Евгению Степановичу обвенчаться удалось. Я сумел на свадебный пир пробраться, мои молодцы тоже там были. Чтобы понять, как я нянчился с молодыми, достаточно сказать, что кучер, который их в церковь и из церкви возил, мой подчиненный был... Ну, хорошо, стал я на вечере следить да примечать, что вокруг меня делалось. Все чинно, благородно. Вдруг бац: Юрьевский, приветствуя молодых, о трупах, о смерти заговорил. Совсем к такому торжеству подобные речи не подходят. Точно мне что в нос шибануло. Знаете, как бывает? Сидите вы на чистом воздухе, и вдруг запахами, каких быть в таком месте не должно, откуда-то потянет. Вы невольно в ту сторону повернетесь, откуда такие ароматы несутся. Так вот и со мной. Стал я приглядываться, запоминать. Видел, как Юрьевский «молодого князя» в уголок отвел, говорил о чем-то, жестикулировал, затем к столу с недопитым бокалом вернулся. Потом этот тост, бокал о пол и с пира долой. Стран-

но! Несчастный Гардин тут же вскоре скончался. Да что же такое? Берег я как зеницу ока и не уберег. Ничего понять не могу! «Одряхла, на живодерню пора», – про себя думаю, но тут вы такой толчок моим мыслям дали, что они так и запрыгали, и занавесочки над тайной дочки Рагуила зашевелились.

– Я ничего не понимаю, – сказал Твердов.

– Немудрено! Не до того было. Вы мне передали, что Юрьевский говорил Гардину о близости nirваны, и ваши слова прояснили мне многое. Ночь я думал и еще припомнил. Иван Афанасьевич, разговаривая на свадьбе с Евгением Степановичем, жестикулировал и дважды ладонью руки, будто невзначай, накрывал его бокал. Потом к столу он пошел с недопитым бокалом, только взял не свой, а Гардина. Свой знаменательный тост Иван Афанасьевич произнес, даже не пригубив шампанского, а затем хлопнул бокал о пол. Теперь мне все стало ясно. Юрьевский явился на свадьбу с намерением отравить новобрачного, что и исполнил, причем уничтожил следы своего преступления. Если же он отравил Гардина, очевидно не желая, чтобы тот стал de

facto супругом его крестницы, – то он же, Юрьевский, из тех же самых побуждений, мог быть виновником гибели, смерти и прежних ее женихов.

– Но почему же вы его тогда не схватили? – воскликнул Твердов.

– А какие у меня были доказательства? Ведь-то, что я сейчас сказал, в то время было только предположением, ни на чем, кроме умозаключений, не основанным. Все нужно было проверить. Вас-то я и избрал для этого и надеюсь, что теперь вы на меня за это не в обиде. Ну-с, хорошо! Сговорились мы с вами, а я все-таки предварительную проверочку произвел. Помните, на панихиде-то? Это я Юрьевского подзудил: указал ему на вас, как на нового жениха. Как он тогда на вас двинулся-то! Я даже испугался. «Убьет, – думаю, – сейчас, да и все». Ничего, опомнился, бедняга, все обошлось. Только после этого случая я уже был уверен, что на верном следу. Конец ниточки в руках, по ней до клубка добраться нетрудно. За вами я такой надзор учредил, что, кажется, не только о каждом слове, но о каждом дыхании вашем был осведомлен.

– И все-таки не усмотрели, – усмехнулся Николай Васильевич.

– Ну, нет, позвольте. Я то знаю, о чем вы до сих пор не подозреваете. Вы только знаете, что попали в царство этого Юрьевского, а как попали, даже представить себе не можете.

– Я помню, что вышел из дома Пастиных.

– Счастливый, влюбленный и изволили сесть на извозчика. А извозчик-то кто был, знаете? Сам покойный Иван Афанасьевич Юрьевский. Что-с?

– Позвольте, как же это? Впрочем, голос...

– Точно, что голос! Часа четыре он у подъезда стоял под видом лихача, вас дожидался. Побывал он у Пастиных, еще ваше объяснение чуть ли не на самом интересном месте прервал, успел переодеться и явился под видом лихача к подъезду. Продолжаете думать, что я не усмотрел?

– Но как же?

– А так-с. У вас мой Савчук был, а у Пастиных – мой Пискарь. Им я много обязан выяснением всего этого дела. Юрьевский под видом извозчика у подъезда, а мой Пискарь якобы дворник на дежурстве. Вот на чем Иван

Афанасьевич попался. Все у него предусмотрено было, только об одном он забыл. Ведь когда-нибудь да должны были эти таинственные случаи с женихами одной и той же невесты внимание на себя обратить и соответствующее расследование вызвать. Этого он не предусмотрел, слишком уж был уверен, что все люди глупы, один он – умница-разумница, вот и попался. Он поехал с вами, а Пискарь – за ним. Впрочем, это тоже для проверки только. Как только мне доложили, что Иван Афанасьевич под видом извозчика у подъезда пастинского дома стоит и вас поджидает, я уже знал, куда он вас повезет – в свое царство, а в нем я не раз побывать успел, можно сказать, своим человеком сделался.

– И все-таки никаких мер не приняли!

– Невозможно было. Фактов у меня еще не было.

– А мое похищение?

– Ну, что ж в нем такого, когда цель поступка не ясна?

– Да вы-то знали, зачем он...

– Мало ли что я знал, но кто бы мне поверил? Самого сумасшедшим сочли бы. Экую,

дескать, шехерезаду старый пенъ рассказывает. Вы не извольте забывать, что Юрьевского никто серьезно больным не считал, во внешних своих действиях он был вполне разумен.

– Но этот увоз, переодевание, маскарад?

– Вы хотите знать, как так скоро? Да он уже не раз пробовал увезти вас таким образом, но не удавалось: мои молодцы мешали. И тут не удалось бы, стоило только Пискарю прогнать его от подъезда или быть на ногах, когда вы вышли, а только я уже решил со всей этой историей покончить.

– Ну, а дальше?

– Далее, как и следовало быть. Вы в мечты погрузились и даже не смотрели, куда вас Юрьевский вез. Он же завез вас в свой загородный дом, где у него было царство устроенно, там, прежде чем вы опомнились, он губочку с хлороформом к носу, вот вы и очутились в его власти.

– Неужели же Юрьевский все это один сделал?

– Все один, без малейшего пособничества. У него было двое слуг, но они предусмотрительно были отпущены. Да это еще что! На

другое утро он в гостиницу, где вы проживать изволили, посыльного прислал, чтобы рассчитаться вместо вас и объявить, что вы экстренно выехали, от вашего имени с Варшавского вокзала им же была прислана вашей невесте телеграмма, в которой вы «от ворот поворот» заявляли. Право, нужно быть сумасшедшим, чтобы все так умно проделать. Ведь так вы и пропали бы, как в воду канули: уехал, отмечен, с Варшавского вокзала дал телеграмму, и что там дальше случилось, кто почем знает. Видите, как хитро!

– Да! Это надо признать...

– И все просто. Вам, пожалуй, не отвертеться, если бы не мы. Только мы – я, Савчук и Пискарь, да еще трое молодцов – в царство пробрались и спрятались там. Когда Юрьевский вас в жертву начал приносить, мы тут как тут. Стоп, дескать, машина, задний ход!

– Но что я перенес, что перенес!

– Зато интересно было.

– Да, я, привыкнув к обстановке, испытывал больше любопытства, чем страха.

– Вот то-то и оно! В наш серенький век подобные встряски не лишни.

– Только не дай бог никому оказаться на моем месте!

– Конечно! Поди, ножа-то здорово испугались?

– Да. Но вот что, Мефодий Кириллович, вы должны разъяснить мне. Я дважды в этом, как вы называете, царстве видел Веру.

– И я тоже, – невозмутимо ответил Кобылкин.

– Мало того, что видел, я слышал ее голос.

– И я тоже. Только Вера Петровна была не живая, а кукла.

– Но этого не может быть! Ведь голос...

– Что же из того? Вы музыку, пение слышали еще?

– Слышал... Это что же было?

– Эдиссоновы штучки! Фонографчики, граммофончики, только хорошие, а не такая дрянь, какую теперь продают... Поняли?

– Но ведь это и в самом деле – сказки Шехерезады!

– Верно! Чего на свете не бывает! Подробно при понятых все обзревали, не один я. Хотите, протокол осмотра покажу? И куклу, и инструменты могу показать, как вещественные

доказательства, они были арестованы, только ничего не понадобилось. Жрец-то, – то есть Иван Афанасьевич Юрьевский, отбился от нас, вырвался да перстенок – помните? – с драгоценным ядом, что ему с Гардиным службу сослужил, ко рту. Отнять не успели: ну, понятно, окочурился. Вся эта история закончилась без огласки, единственного виновника решено было схоронить тайно. Только «дело» о нем есть. Да и потом, мы подумали, что завещание покойного, если его объявить сумасшедшим, будет оспорено, а в нем много доброго. Вот вам и все. Можете совершенно спокойно бракосочетаться, теперь вашему счастью никто не помешает.

Николай Васильевич внимательно посмотрел на Кобылкина. Перед ним был обыкновенный человек с добродушным, немолодым лицом, на котором и особого ума не отражалось.

– Как мне благодарить вас, Мефодий Кириллович, – тихо произнес Твердов, – не знаю.

– Не стоит никакой благодарности, – ответил тот, – так сказать, все это по обязанности службы. Жалованьишко – хе-хе-хе – за это по-

лучаем. Благодарить не благодарите, не ругайте только, а то ведь нашу профессию многие любят бранить. Очень рад, что смог удовлетворить ваше вполне понятное любопытство.

Кобылкин встал. Твердов понял, что беседа закончена.

– Я надеюсь, что вы будете на нашей свадьбе? – сказал он.

– Нет, зачем же! Теперь, думаю, все благополучно будет, так что мое присутствие представляется совершенно излишним.

– А я очень прошу вас об этом. Ведь и Вера, и я многим обязаны вам. Я прошу!

– Хорошо-с. Посмотрим, – без прежней приветливости ответил Кобылкин, стоя перед Твердовым в выжидательной позе.

– У меня есть еще одна просьба, – сказал Твердов.

– Готов служить, чем могу, – последовал ответ.

– Мне хотелось бы поблагодарить этих добрых, самоотверженных людей: Савчука и Пискаря.

– Увы-с! Они заняты поручениями, и их те-

перь здесь нет. Имею честь кланяться!

Твердов вышел несколько обиженный таким окончанием их долгого разговора. Но, поразмыслив, понял, что для Кобылкина, Савчука и Пискаря он и окружавшие его были, в сущности, чужими людьми. Когда потребовалось, они заботились о нем больше, чем о себе, даже жертвовали собой, когда же опасность миновала, и все обязанности были выполнены, с ними вместе кончились и личные отношения.

Впрочем, Кобылкин не выдержал своей строго официальной роли. Он не был на свадьбе Николая Васильевича и Веры, но зато их первенец зовет его крестным папой, а дочка – крестница Василия Андреевича Савчука. Теперь Николай Васильевич ждет появления нового жителя нашей планеты, и уговорил Александра Константиновича Пискаря стать его кумом. Это единственное, чем он смог отблагодарить самоотверженных людей, которым был обязан своей жизнью и счастьем.